

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

«НАУКА»

МОСКВА — 1989

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПОЛОМЕ Э. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	РАСТОРГУЕВА В. С.
БУДАГОВ Р. А.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАРДУЛЬ И. Ф.	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВАХЕК И. (ЧССР)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ВИНТЕР В. (ФРГ)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	УОТКИНС К. (США)
ДЖАУКЯН Г. Б.	ФИШЬЯК Я. (ИНР)
ДОМАШНЕВ А. И.	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХЕМП Э. (США)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ШВЕДОВА Н. Ю.
ЗИНДЕР Л. Р.	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРВАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,

редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Гринберг Дж. Х. (Стэнфорд). Предыстория индоевропейской системы гласных в сравнительной и типологической перспективе	5
Винтер В. (Прец). Некоторые мысли об индоевропейских числительных	32
Степанов Ю. С. (Москва). Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках	46
Шмидт К. Х. (Бонн). Относительная хронология и картвельские языки	73
Боголюбов М. Н. (Ленинград). Иранские названия Утренней звезды	88
Оде С. (Амстердам). Сопоставление русской и голландской интонационных систем: перцептивный и лингвистический анализ	92

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Виноградов В. В. Из истории слов	99
Лаптева О. А. (Москва). Мысли Виктора Владимировича Виноградова о социальных и личностных факторах речи в связи с теорией литературного языка	111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Демьянков В. З. (Москва). Теория языка и динамика американской лингвистики на страницах журнала «Language» (к 65-летию основания журнала)	123
---	-----

Рецензии

Алексеев А. А. (Ленинград). <i>Толстой Н. И.</i> История и структура славянских литературных языков	149
Журавлев В. К., Климов Г. А. (Москва). <i>Трубецкой Н. С.</i> Избранные труды по филологии	156
Зубкова Л. Г. (Москва). <i>Маковский М. М.</i> Лингвистическая комбинаторика	158
Шаховский В. И. (Волгоград). <i>Телия В. Н.</i> Коннотативный аспект семантики номинативных единиц	164
Розенберг Я. Я. (Рига). <i>Bergmane A., Blinkena A.</i> Latviešu rakstības attīstība. <i>Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi</i>	166
Моисеев А. И. (Ленинград). <i>Милославский И. Г.</i> Краткая практическая грамматика русского языка	178

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	172
Академик Б. А. Серебренников	174

CONTENTS

Greenberg J. (Stanford). The prehistory of the Indo-European vowel system in comparative and typological perspective; **Winter W.** (Preetz, FRG) Some thoughts about Indo-European numerals; **Stepanov Ju. S.** (Moscow) Counting, names of numbers, alphabetical signs of numbers in the Indo-European languages; **Schmidt K. H.** (Bonn). Relative chronology and the Kartvelian languages; **Bogoljubov M. N.** (Leningrad). Iranian names of the Morning star; **Ode S.** (Amsterdam). Comparison of the Russian and Dutch intonation systems: perceptive and linguistic analysis; **From the history of science:** **Vinogradov V. V.** From the history of words; **Lapteva O. A.** (Moscow). Thoughts of V. V. Vinogradov on social and personal factors in speech in the light of the theory of literary language; **Survey;** **Demjanov V. Z.** (Moscow). Theory of language and dynamics of American linguistics as reflected on the pages of the journal «Language» (To its 65-th anniversary); **Reviews:** **Zuravlev V. K., Klimov G. A.** (Moscow). *N. S. Trubetzkoy*. Selected writings in philology. *N. S. Trubetzkoy*. Opera slavica minora; **Zubkova L. G.** (Moscow). *Makovskij M. M.* Linguistic combinatorics. An essay in topological stratification of language structures; **Rosenberg Ya.** (Riga); *Bergmane A., Blinkena A.* Development of Latvian writing. An investigation in the history of the Latvian literary language; **Moiseev A. I.** (Leningrad) *Miloslavskij I. G.* A short practical grammar of the Russian language; **Saxovskij V. I.** (Volgograd). *Telia V. N.* Connotative aspect of semantics of the nominative units; **Alekseev A. A.** (Leningrad). *Tolstoj N. I.* History and structure of Slavic literary languages; **Scientific life;** Academician B. A. Serebrennikov.

ГРИНБЕРГ Дж. Х.

**ПРЕДЫСТОРИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ
В СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**

В работе Гринберга [1, с. 332], посвященной классификации корейных языков Америки, высказано предположение, что родственные языки наименее крупной из трех выявленных здесь языковых семей, а именно, эскимосско-алеутской, находятся в Северной Азии и Европе¹. Было постулировано наличие обширной группы языков, названной евразийской и предположительно включающей в себя следующие члены: 1) индоевропейский; 2) уральский; 3) юкагирский; 4) алтайский (тюркские, монгольские и тунгусские языки); 5) айну; 6) корейский; 7) японский; 8) нивхский; 9) чукотские языки; 10) эскимосско-алеутские языки. Внутри этой группы отдельные подгруппы составляют уральские и юкагирский, а также айну, корейский и японский.

Под сравнительной перспективой в названии данной статьи имеется в виду использование сравнительно-исторического метода при изучении языков этой евразийской группы, в данном случае — применительно к единому комплексу относящихся сюда проблем. Такие сравнения в определенных случаях приведут к переоценке нынешних представлений о фонологических и грамматических характеристиках праиндоевропейского, точно так же, как открытие хеттского и других анатолийских языков, а также тохарского привело к изменению определенной части наших представлений об индоевропейском, ранее в большинстве пунктов разлежавшихся широким кругом индоевропейцев. В других случаях это либо приведет к подтверждению прежних концепций, либо позволит выбрать одну из конкурирующих теорий. Наибольший же интерес, как мне кажется, представляет то, что это может привести к переоценке наших взглядов относительно тех явлений индоевропейского, которые почти не привлекали к себе внимания и казались маргинальными, но которые станут более понятными в свете новых сравнительных данных. В идеале мы надеемся, что учет внутрigrупповых и внешнеязыковых данных поможет достичь дополняющих друг друга результатов. В данной работе, которая посвящена праиндоевропейской системе гласных, и в частности качественной апофонии, учет внешних данных приведет, по моему мнению, к переоценке внутриязыковых фактов индоевропейского и поможет сделать их более понятными с исторической точки зрения.

Отнесение индоевропейского к евразийской семье ни в коей мере не означает отрицания и его более отдаленных генетических связей. Указание на это отражено в самом названии подготавливаемой мною публикации «Индоевропейский и его ближайшие родственники: евразийская семья». Связь этого тезиса с другими гипотезами, предложенными раз-

¹ Данная статья представляет собой расширенную версию лекции, прочитанной в Стэнфордском летнем лингвистическом институте 28 июля 1987 г.

личными учеными, и особенно представителями влиятельной советской ностратической школы, будет кратко рассмотрена ниже. Более детальное обсуждение этого вопроса дается в готовящейся к публикации работе.

Хотя тезис о родстве евразийской семьи с индоевропейским, о котором говорилось выше, в целом является новым, он вместе с тем не представляет собой столь уж неожиданным. Уже имеется опыт многочисленных, преимущественно попарных, сравнений между языками, входящими в эту семью. Как я неоднократно указывал, начиная с самой ранней своей работы, посвященной классификации африканских языков [2], следует оперировать не отдельными гипотезами родства, а исторической таксономией языков, которая различает реальные группы на различных уровнях. Этот тезис аналогичен понятию таксона в биологии². Так, германские языки или индоевропейские языки являются, согласно современным представлениям, реальными генетическими группами, или таксонами, тогда как группировка, включающая французский, албанский и шведский языки, таковой не является, хотя все эти языки родственны, так как они входят в индоевропейскую семью языков.

Это означает, что несмотря на то, какой бы хорошо изученной ни являлась та или иная языковая группа, было бы методически ошибочным просто искать какую-либо другую группу, с которой эта первая обнаруживает значительное сходство, а затем стараться «доказать их родство», сразу же принявшись за реконструкцию. Большинство общепризнанных языковых семей состоит более чем из двух ветвей, и с самого начала индоевропейских штудий в XIX в. индоевропейцы обнаружили, что наиболее продуктивным является изучение всех установленных групп путем всестороннего и одновременного сопоставления.

Что касается индоевропейского, то со времен Г. Мёллера были затрачены поистине огромные усилия, чтобы доказать его связь с семитским. Сейчас уже ясно, что семитский и индоевропейский, хотя в конечном счете и родственны, не образуют естественной лингвистической единицы, или таксона, в указанном выше смысле. Как результат признания этого факта многие попытки последнего времени были направлены на установление связи индоевропейского с более широкой афразиатской семьей, по отношению к которой семитские языки являются лишь одной из ветвей.

С другой стороны, внутри той группировки, которая определяется здесь в качестве евразийской, наибольшее внимание было сконцентрировано на связи между индоевропейскими и уральскими языками, главным образом благодаря масштабам уральской семьи, ее географической близости к индоевропейским языкам и наличию значительного числа специалистов, проделавших существенный объем сравнительной работы. Как и другие ученые, я считаю, что имеются основания *prima facie* для признания более близкой связи индоевропейских языков с уральскими, чем с афразиатскими. Если такой вывод справедлив, то сразу же возникает вопрос, какие другие языки, помимо уральских, восходят вместе с индоевропейским к общему предку и образуют с ним реальную генетическую единицу, только отдаленно связанную с афразиатской и, возможно, другими семьями.

Ряд видных лингвистов указывал на уральские языки как на наиболее близкие к индоевропейским. Особого внимания в этой связи заслуживает оценка взглядов Х. Педерсена, который создал термин «ностратические

² Более полное изложение см. в [1, гл. 1].

языки». Никто из других ученых, каким бы выдающимся он ни был, не может считаться большим авторитетом в этой области. Поскольку Х. Педерсен более, чем какой-либо другой ученый, был занят проблемой внешних связей индоевропейских языков (а многие лингвисты догматически исключали обсуждение этого вопроса), его взгляды заслуживают внимательного изучения.

Я кратко рассмотрю четыре известные мне публикации Х. Педерсена, в которых он обсуждал этот вопрос. Мне кажется, в дальнейшем станет очевидно, что моя гипотеза, возможно, более сближается с его взглядами, чем гипотезы ряда ученых, называющих себя ностратиками.

Термин «ностратические языки» был введен Х. Педерсеном в 1903 году в статье, посвященной звуковым законам турецкого языка [3]. Касаясь некоторых сходств турецкого языка с индоевропейским, он пишет, что для их объяснения необходимо иметь в виду возможность языкового родства. Многие языковые семьи в Азии, по его мнению, родственны индоевропейскому. В этой связи он упоминает урало-алтайские языки, которые в то время обычно считались одной семьей. Затем для всех языков, родственных индоевропейскому, он вводит термин «ностратические». Х. Педерсен не перечисляет этих языков, но добавляет, что сюда следует отнести и хамито-семитский. В 1924 г. в книге, написанной на датском языке и переведенной на английский в 1931 г., упор делается на связи индоевропейского с финно-угорским. Педерсен утверждает, что эта связь является более тесной, чем между индоевропейским и семитским. «Кроме того, большую близость, чем в случае с семитскими, демонстрируют системы флексий». Хотя имеется и немного общих лексических единиц, все же «отрицать родство между этими семьями было бы слишком опрометчивым». Более того, «если мы признаем факт родства, нам следует идти дальше, не только к самодийским языкам, которые нельзя отделять от финно-угорских, но и через всю Северную Азию и Берингов пролив, поскольку сходные, хотя и менее очевидные черты, подобные уже упомянутым здесь, обнаруживаются также в тюркских, монгольских и маньчжурских языках, в юкагирском и даже в эскимосском». Далее в этом ряду он упоминает семито-хамитские языки «и, возможно, баскский» [4].

В 1933 г. Педерсен опять подчеркивает связь индоевропейских языков с финно-угорскими (уральскими). «Между ними имеется сумма соответствий, которая исключает случайность» [5, с. 309]. Постулируя более близкую связь индоевропейских языков с уральскими, он высказывает следующую мысль, которая представляет значительный интерес с точки зрения темы настоящей работы: «Вероятно, финно-угорский должен быть сопоставлен с индоевропейским на его постаблаутной стадии, тогда как с семитским его следует сближать на преаблаутной стадии. Из этого следовало бы, что разделение индоевропейского и семитского относится к более древнему периоду, чем разделение индоевропейского и финно-угорского» [5, с. 308]. К сожалению, он не уточняет деталей, например, имеется ли в виду качественный или же количественный аблаут, либо и тот, и другой.

Наконец, Педерсен еще раз подчеркивает, что «между уральским и индоевропейским существует более близкое родство, чем между семитским и индоевропейским» [6, с. 330]. Относительно первой пары языков в области грамматических элементов «трудно найти другой пример столь полного соответствия». Он опять упоминает о возможности соответствия между аблаутными системами индоевропейского и уральского. Здесь Педерсен более конкретен, чем ранее, так как он, без сомнения, имеет в виду качественный аблаут. Более того, по его мнению, передне-заднерядная гар-

мония гласных в уральском является инновацией. Тем не менее имеется много других случаев вокалических альтернатив, которым не было найдено объяснения внутри уральского, и коль скоро такое положение сохраняется, «нельзя исключать возможности нахождения следов аблаута, который был бы тождествен индоевропейскому» [6, с. 332].

Я считаю, что исходя из этих утверждений Педерсена, было бы справедливым заключить, что он представлял себе индоевропейский как язык, особенно близкий к уральскому (в более ранних работах — последний назывался финно-угорским), и что в целом более близких родственников индоевропейского следует искать в Восточной Азии (алтайские, юкагирский и даже эскимосский языки).

Помимо Педерсена, и другие лингвисты указывали на особенно тесное родство индоевропейского с уральским. Так, Анттила в своем известном учебнике по исторической лингвистике после упоминания индосемитского, индоуральского и урало-алтайского констатирует: «Индоуральская гипотеза является особенно убедительной, поскольку имеются надежные соответствия как в местоимениях и глагольных элементах, так и в основном словаре» [7]. Совсем недавно Каугилл выразил уверенность в том, что из языковых семей, с которыми сравнивался индоевропейский, наиболее близкой представляется уральская семья. Он отмечает, что основные соответствия наблюдаются в местоименных основах, окончаниях и лексических единицах [8].

Сам Иллич-Свитыч в статье, которая появилась лишь тремя годами ранее выхода первого тома Сравнительного словаря ностратических языков и касалась вопроса о ранних индоевропейско-семитских языковых контактах, утверждает, что в «Сравнительном индоевропейско-семитском словаре» Мёллера наряду со многими фантастическими этимологиями имеется небольшое число довольно вероятных сравнений, однако они относятся к части лексикона, наименее пригодного для доказательства генетических связей [9, с. 3]. Он заключает, что поскольку некоторые из них обнаруживаются, помимо семитских языков, и в других ветвях афразиатской семьи, то индоевропейский не мог быть источником заимствования, и что эти сходжения являются результатом заимствования из семитского в индоевропейский [9, с. 9].

Иллич-Свитыч, очевидно, отвергал точку зрения, согласно которой все сходжения обязаны заимствованию, и я разделяю его убеждение в том, что индоевропейский и афразиатский действительно родственны; однако его более ранние выводы подтверждают представленную здесь точку зрения о более отдаленной связи индоевропейского с афразиатским, чем связи с некоторыми другими языковыми семьями, включая уральскую.

Вопрос, поднятый Каугиллом, заслуживает с этой точки зрения дальнейшего обсуждения. Утверждая, что среди рассматриваемых им гипотез, касающихся индоевропейского, гипотеза, связывающая его с уральским, наиболее вероятна, он тем не менее полагает, что родство это является очень отдаленным, на что в особенности указывает отсутствие родственных связей в системе числительных. Стабильности числительных в индоевропейском, которой нельзя обнаружить во многих других хорошо изученных языковых семьях, было придано непомерно большое значение. Учитывая культурный уровень, соответствующий эпохе протоевразийского, невозможно ожидать стабильности числительных выше «четырех» или «пяти». Тем не менее, если мы рассмотрим числительные евразийских языков без учета уральских, которые в данном случае, на мой взгляд, не проявляют особого родства с индоевропейскими, то вырисовывается совершенно

иная картина. Имеются важные свидетельства близости числительных «один» и «два» «и», возможно, также «три», что видно из следующего.

В айну находим корень *set* «как, подобно, такой же». Этот корень со сходным значением встречается и в индоевропейском [10, с. 902], но наряду со значением «такой же» в таких языках, как греческий, армянский и тохарский, он имеет значение количественного числительного «один». В корейском находим *oj* «только», которое можно сравнить с широко распространенным индоевропейским корнем со значением «один», а именно *oi-* с различными суффиксами [10, с. 286]. Корейское слово идентично по значению греч. *oi-(os)*, кипр. *oi-w-(os)* и авест. *aeva* «один, только, единственный». Как в айну, так и в корейском обнаруживается *tu* «два», которое, несомненно, идентично основе общеиндоевропейского слова со значением «два» [10, с. 228], если принять во внимание начальное *t* в тех языках, в которых нет *d*. Возможно, сюда же следует отнести тунгус. **jur* (в котором *r* — показатель мн. ч.), ороч. *ju*, орок. *du*, маньчжур. *juwe* [11].

В алеутском имеется *ala-k* в значении «другой; два» (*-k* является окончанием двойственного числа; ср. уральские языки); в языке юитских эскимосов Сибири находим *alak* «второй», у юитских эскимосов Аляски *alla* «другой»; в айну *ara* «один из двух» (в айну отсутствует *l*), в чукотском *al m* «один из пары, парная вещь»; *alvan* «иначе», в амурском нивхском *alw-erg*, в сахалинском нивхском *al af* «позади, на другой стороне». Первое из указанных нивхских слов является сложением, второй член которого, *erg*, означает «сторона», а слово, следовательно, значит «другая сторона». Второе же слово содержит обычный локативный суф. *-f*.

Эти формы, несомненно, нужно сопоставить с праи.-е. **al-* «другой», которое обычно выступает с предположительно суффиксальным *-i*, как в лат. *ali-us*, греч. *allo-s* < **alios*. Индоевропейская форма без суффикса позднее была зафиксирована в тохарском А. Лидийское *ala-* также может содержать основу *al-*, при условии, что лидийский знак, транскрибируемый как *λ*, представляет велярный, а не палатальный латеральный (ср. [12]).

Мы можем, видимо, упомянуть также айнск. *re* «три». Эта форма обнаруживается у Бэчелора [13] и во всех других более ранних источниках. Однако у Добротворского находим ряд айнских слов, начинающихся с *tr-*, которые в более поздних транскрипциях передаются с *r-* [14]. Работа Добротворского является большим лексикографическим собранием, состоящим в основном из его собственных записей на Сахалине, а также и из всех доступных ему более ранних источников. Справедливости ради следует отметить, что *tr* не встречается с полной последовательностью, и наличие слов с начальным *tr-* подвергалось Бэчелором сомнению.

Уместно привести ряд других наблюдений, касающихся родственных связей и группировок евразийских языков. Алтайская группа описывается здесь в «традиционных» терминах, как состоящая из трех ветвей — тюркской, монгольской и тунгусской. Анализ этимологий Поппе, который включает сюда и корейский, показывает, что последний встречается в сопоставлениях гораздо реже, чем другие ветви, что и отмечено в работе [15]. Даже Рамстедт, автор гипотезы о принадлежности корейского языка к алтайской языковой семье, констатирует, что хотя «корейский язык и является алтайским языком, он тем не менее обнаруживает много общего с айнским и японским, которые имеют общее происхождение» [16, с. 104]. В работе Патри, посвященной генетическому положению айнского языка, последний сначала сравнивается с японским и корейским, а затем с собственно алтайскими языками, в результате чего делается вывод о большей

близости айнского языка с японским и корейским, чем с алтайскими языками [17]. Этот вывод согласуется с положением, выдвинутым в начале этой статьи, согласно которому айну, японский и корейский образуют отдельную группу внутри евразийской семьи и не являются алтайскими в обычном понимании этого термина.

Для читателей будет естественен вопрос о том, какова связь между евразийской гипотезой и ностратической теорией. Если под последней понимается родство между шестью языковыми группами, обычно объявляемыми «классическими» ностратическими, то тогда никакого противоречия нет, и я с этим согласен. Более того, корейский язык включен в этимологический словарь Иллич-Свитыча, хотя и в качестве алтайского. Все языки, включенные мною в число евразийских, считаются ностратическими. Еще в 1964 г. Долгопольский характеризовал чукотский язык как «вероятно алтайский», хотя он и не включал его в свои сопоставления [18]. Кроме того, в круг привлекаемых языков Долгопольский включал также юкагирский, который особенно близок к уральским языкам. В своем введении к Ностратическому словарю Иллич-Свитыч относительно юкагирского отмечает, что хотя работы Коллиндера, Анжера и Тайёра и не позволяют считать юкагирский уральским языком, они все же дают основание предполагать его ностратический характер [19, с. 61].

Я считаю, что этот вывод согласуется с работами упомянутых Иллич-Свитычем ученых, которые определенно утверждали, что юкагирский не является уральским языком, а скорее родствен уральской семье в целом.

В редакторском примечании к только что цитированному отрывку из Иллич-Свитыча Дыбо добавляет, что подобные же замечания, вероятно, уместны и применительно к корейскому и японскому языкам в их отношении к алтайской языковой семье. Долгопольский при сопоставлении личных местоимений привлекает не только чукотский язык, но также и нивхский [20]. Шеворошкин и Марки, говоря о работе Мудрака, пишут, что ностратическими, вероятно, могут считаться также и эскимосско-алеутские языки [21].

Таким образом, все группы языков, включаемые здесь в число евразийских, за исключением айнского, с большей или меньшей степенью уверенности относят к ностратическим. То, что сюда должен быть включен и айнский ввиду его особой близости к корейскому и японскому, следует, как я полагаю, из работы Патри, упомянутой ранее. Даже Рефсинг, явно весьма консервативный в этих вопросах, в своей айнской грамматике осторожно поддерживает выводы Патри [22].

Но здесь возникает и противоположный вопрос. Какие языковые группы, включенные в ностратическую семью, исключаются из евразийской? Я ни в коей мере не отрицаю родства этих групп, а именно афразийской, картвельской и дравидийской, однако считаю это родство более отдаленным. Мы уже видели, что Педерсен придерживался взглядов, согласно которому афразийская семья языков более отдаленно родственна индоевропейской, чем уральская. Шеворошкин, ведущий представитель ностратической школы в США, недавно выразил свое согласие с этим моим выводом (устное сообщение). Долгопольский в этой связи даже не упоминает дравидийских языков ни в своих ранних, ни в более поздних работах. Единственное сомнение остается у меня в отношении картвельской семьи, которая, однако, разделяет ряд специфических черт в словаре и грамматике с афразийскими. Таким образом, если эти, как, без сомнения, и другие языки, не являются евразийскими, но связаны с последними более глубоким уровнем родства, тогда за всеми этими языками мог бы быть за-

креплен традиционный термин «ностратические» языки. В таком случае первостепенной задачей является выявление всех членов и подгрупп очерченной таким образом ностратической семьи.

Как мы уже убедились, представление о ностратических языках как о семье, ограниченной лишь шестью группами — индоевропейской, афразиатской, уральской, алтайской, картвельской и дравидической, — на самом деле основывается на ностратическом словаре Иллич-Свитыча (если не считать редкие в его работе ссылки на корейский язык, привлекаемый в качестве языка алтайской семьи). Более того, это не соответствует ни действительным убеждениям ностратиков, ни убеждениям создателя термина «ностратический» Х. Педерсена. Почему же в таком случае сюда не были включены другие языки? Ответ на это, как и подтверждение моего взгляда на ностратические языки как на семью, состоящую из большего числа членов, чем те, которые входят в словарь Иллич-Свитыча, можно найти в утверждении двух ностратиков, Чейки и Лампрехта. После обсуждения работ Педерсена и Иллич-Свитыча они пишут относительно шести языков, приводимых в сравнительном словаре последнего, следующее: «Очевидно, что это не означает того, что число ностратических семей в мире безусловно ограничено шестью упомянутыми семьями. Иллич-Свитыч в своих обобщениях использовал только те языковые семьи, прогресс в изучении праязыковых состояний которых достиг удовлетворительного уровня» [23].

Иными словами, первым условием для включения какой-либо семьи в число ностратических фактически является наличие ее праязыковой реконструкции. Однако соблюдение этого условия ведет к произвольной группировке. Если рассматривать классические ностратические языки в качестве реальной языковой группы в том смысле, о котором говорилось выше, то включение в нее тех или иных языков зависело бы от воли лингвистов, а не от самих языков.

Хотя подобного взгляда на необходимость сравнения только лишь праязыков придерживаются достаточно широко, он не согласуется с реальной практикой индоевропейцев или исследователей ряда других семей, например, афразиатской. Праиндоевропейский был реконструирован ранее таких единств, как прагерманский или праславянский. Действительно, реконструкция германского праязыка вне соотношения с другими родственными группами является неполной, поскольку, например, консонантные альтернаты праиндоевропейского языка, в соответствии с законом Вернера, объяснимы лишь в терминах реконструированной индоевропейской акцентной системы, которая в собственно германском была утрачена. Индоевропейцам не потребовалось предварительной реконструкции «праалбанского» путем сравнения тоскского и гегского диалектов, прежде чем вовлечь албанский в общую систему индоевропейских сопоставлений.

Кроме того, при восстановлении праязыка иногда наблюдается тенденция объяснять те или иные факты неправдоподобными внутренними реконструкциями или же просто игнорировать различные нерегулярности, которые оказываются интересными и объяснимыми в более широком историческом контексте.

В ностратике одним из подобных случаев является исключение из числа ностратических языков юкагирского, что критикуется и самими ностратиками. В дополнение к двум вымершим диалектам (чуванскому и омокскому), известным лишь по несовершенным записям, имеется два очень близких юкагирских диалекта — колымский и тундровый. Ясно, что нет нужды реконструировать праюкагирский, прежде чем сравнивать его с

другими языками. Помимо работ ностратиков, в трудах таких лингвистов, как Коллиндер, Боуда и Уленбек, приводились многочисленные, преимущественно попарные, сравнения между языковыми группами или же между явно изолированными языками Евразии. Тем не менее, большинство пар языков никогда между собой не сравнивалось. Языки, которые в подобных исследованиях чаще всего игнорировались, включают алеутский, который никогда не сравнивали ни с каким языком, кроме эскимосского, а также юкагирский, который сравнивался лишь с уральскими языками. Всестороннее и обстоятельное исследование, при котором в сравнение вовлечены все исследуемые языки, сразу же дает плодотворные результаты, как это случилось с индоевропейскими языками, когда все они были включены в сравнительное исследование данной языковой семьи.

В работах, готовящихся к печати, я рассмотрел специфические проблемы индоевропейского как во внутриязыковом, так и внешнеязыковом аспектах³. В настоящей статье я исследую определенные аспекты индоевропейской вокалической системы как в рамках индоевропейской семьи, так и в более широком сравнительном контексте.

Поскольку основные параметры этой системы хорошо известны читателям, имеющим индоевропейистическую подготовку, и достаточно подробно обсуждались как в учебниках, так и в специальных монографиях и статьях, нет необходимости излагать всю систему полностью. Тем не менее я перечислю ряд важных ее положений, которые здесь будут рассмотрены специально, отмечая их примерно в том порядке, в котором они будут обсуждаться.

1. Согласно традиционному младограмматическому подходу, в значительной степени сохранившемуся до настоящего времени, гласные *i* и *u* являются в индоевропейском не настоящими гласными, а относятся, вместе со своими консонантными аллофонами, к классу сонантов, наряду с *r*, *l*, *m* и *n*. Таким образом, можно постулировать пары *i* : *y*, *u* : *w*, *r* : *ʀ* и т. д. Точно так же, как *r* и *ʀ* представляют собой нулевую ступень *er* ~ *or*, в соответствии с процессом качественного чередования *e* ~ *o*, так и *y* и *i* являются нулевой ступенью *ei* ~ *oi* и сходным образом *w* и *u* — суть нулевые ступени *eu* и *ou*⁴.

2. Отношение между *ei* и *oi*, с одной стороны, и *i* ~ *y*, с другой, именуется количественным аблаутом и является параллельным альтернативе *e* : *o* с нулем, типичной для безударной позиции. Здесь возникает вопрос о хронологическом соотношении между качественным и количественным

³ В подготовленной мною к публикации работе «Некоторые проблемы индоевропейистики в исторической перспективе» рассматриваются, во-первых, евразийские формы, родственные и.-е. *egʰot* «я», особенно чукот. *eyət* ~ *iyət* «я», ср. в этом же языке *eyət* ~ *iyət* «ты», и, во-вторых, показатель 3 л. мн. ч. и неличности -*r*, а также историческое развитие родственных форм в других группах евразийских языков. Темой подготовленной к печати работы «Относительные местоимения и порядок слов в свете евразийской гипотезы» является интерпретация и.-е. *i*-(*os*) в качестве первоначально вопросительного, а не относительного или указательного местоимения и следствия такой трактовки для реконструкции праиндоевропейского порядка слов, который следует восстанавливать с учетом отсутствия относительного местоимения.

⁴ Помимо этого, были установлены такие последовательности, как **rg*, **ʷ* и т. д., которые на самом деле выступали как сочетания какого-либо краткого гласного плюс *r*, *l* и т. п., в зависимости от языка. Делались попытки объяснить это так называемым законом Зивера — Эджертона, согласно которому данные последовательности имели место в случае, если им предшествовал тяжелый слог. Я не рассматриваю здесь этот вопрос, хотя, по моему мнению, подобные случаи, когда начальный комплекс указанных последовательностей был интерпретирован Гюнтертом и Хиртом как *schwa secundum*, представляют собой проблему, отличную от обсуждаемой здесь проблемы «редуплицированных ступеней» таких гласных, как *i* по отношению к *e* и *u* по отношению к *o*

аблаутом, а также, применительно к данному контексту, о том, имеют ли оба эти явления свои соответствия в других ветвях евразийской семьи, что свидетельствовало бы в пользу отнесения их еще к преиндоевропейскому состоянию, унаследованному от протоевразийского предка.

3. Мы исследуем также специфическое типологическое положение фонемы, традиционно реконструируемой в виде праи.-е. **a*. Примечательной в этой связи является ее сравнительно редкая частотность, которая еще более понижается, если, согласно ларингальной теории, мы исключим многие случаи представленности *a*, обусловленные влиянием соседнего ларингала (H_2). Другая специфическая особенность этой фонемы — неучастие в индоевропейской системе вокалических альтернатив. Все это служит подтверждением маргинальной позиции данного гласного, который, исходя из типологических оснований, должен был бы характеризоваться высокой частотностью и важной функциональной ролью в системе гласных.

Меня в данном случае больше интересует первый аспект, а именно, традиционная младограмматическая трактовка *i* и *u* в качестве сонантов и, следовательно, их полная параллельность *r*, *l*, *m* и *n*. Если принять эту доктрину, то чередование между *i* и *e* или между *u* и *o* станет не более объяснимым, чем, скажем, между *r* и *e* или *r* и *o*.

Такое представление ясно выражено в первой, насколько мне известно, книге, посвященной всестороннему обсуждению праиндоевропейской системы вокализма в трактовке ее Бругманом и его коллегами, а именно, в монографии Хюбшмана, в которой он отчетливо заявляет следующее: «... *i* и *u* являются всего лишь согласными и не могут встречаться в никакой аблаутной серии, за исключением чередования с *y* и *w*. Они никогда не утрачиваются. В случае, если в какой-либо серии они появляются в качестве гласных, их возникновение обязано какому-либо вторичному процессу» [24].

Основанием для заключительной фразы послужило то, что Хюбшману было известно достаточное количество примеров, особенно в греческом, славянском и балтийском, а также и в древнеиндийском и латинском, когда *i* одних языков чередуется с *e* в других языках, например, слав. *izъ* < *jizъ* < **izъ* = греч., лат. *eks* «из». Ср. также чередование *e* / *i* между диалектами одного языка (аттич. *hestia* «очаг» = *histia* в других греческих диалектах), либо, наконец, внутри одного диалекта (например, ц.-слав. *večerŭ* «вечер», *vičera* «вчера»). Имеются и примеры чередования *u* с *o*.

Большое недоумение среди специалистов вызывал факт чередований *i* ~ *e* и *u* ~ *o*, которые, несомненно, противоречат фундаментальному положению, согласно которому *i* и *u* являются простыми сонантами, а не частью праиндоевропейской вокалической системы. Я приведу в этой связи ряд замечаний, которые возникли у меня в процессе исследования.

Касаясь греческих форм на *i* и *u* вместо ожидающихся *e* и *o*, Гюнтерт отмечает: «Эти слова всегда представляли истинную дилемму (eine wahre Stich) для научного лингвистического исследования» [25, с. 28—29]. Кречмер, опять-таки в связи с греческим, пишет, что «можно обнаружить следы неакцентуированных гласных, природа которых до сих пор остается совершенно загадочной (rätselhaft)» [26]. Во втором издании Grundriss'a Бругман, также в отношении греческого, замечает, что «во многих формах *i* появляется там, где ожидалось бы *e*, и все еще нет никакой возможности удовлетворительно объяснить это *i*» [27, с. 119]. Относительно славянских языков Лескин в древнеболгарской грамматике отмечает, что «чередование между *u* и *o* является неясным» [28]. Зени в сравнительной грамматике

литовского языка утверждает: «Одним из наиболее обычных отклонений (Entgleisungen) в I аблаутной серии является появление ступени *-i-* без участия плавного или назального» [29].

Относительно и.-е. **eghs* «из», в котором греческое и латинское *e* соответствует славянскому и балтийскому *i*, стандартный индоевропейский сравнительный словарь Покорного содержит упоминание о славянских и балтийских формах, имеющих «трудно объяснимое *i*» (mit schwierigerem *i*) [10, с. 28]. Касаясь внутриславянской диалектной вариации в числительном «четыре» (*četyre* и *čityre*), Мейе пишет, что «было бы неосторожным делать из этого какие-либо выводы» [30].

В своей сравнительной грамматике греческого языка Швицер признает не только чередование *i ~ e* в греческом, но также и *u ~ o*, отмечая, что эти чередования часто соответствуют аналогичным чередованиям в славянских языках [31].

В индоиранском отмечаются случаи чередования *i* с *a* < **e* или его соответствие *e* в других группах индоевропейских языков. Гамкрелидзе и Иванов приводят скр. *širas* «голова» как родственное греч. *keras* «рог», а также варианты формы *šikvan* и *šakvan* (< **sekvan*) «умный». Эти формы, согласно авторам, «содержат *i* неясного происхождения» [32, с. 259]. Другим санскритским примером является *sama* «подобный» и *sima* «каждый» (ср. цитировавшееся ранее айиск. *sem* «один»). Внутри индоиранского авест. *-cina*, которое образует неопределенные, обобщающие местоимения и которое родственно скр. *cana* (< **-cena*), мы рассмотрим ниже.

Тем не менее в более недавнее время, начиная, по-видимому, с Куриловича [33], мы обнаруживаем, что ряд видных индоевропейцев, помимо *i* и *u*, которые являлись нулевыми ступенями *ei* и *eu*, признает и существование автономных *i* и *u*. К их числу относятся Семереньи [34], Гамкрелидзе и Иванов [32], а также Майрхофер [35]. Семереньи формулирует это следующим образом: «Исходя из наблюдения, что *i* и *u* часто представляют собой нулевую ступень *ei* и *eu*, предполагается, что *i* и *u* всегда являют собой нулевую ступень упомянутых выше последовательностей» [34, с. 71]. Поскольку это, конечно же, не так, данное мнение, как считает Семереньи, придает нам ложное чувство успокоенности.

Помимо Семереньи, Шмид-Брандт [36] и другие ученые указывали, что многие примеры с *ei* предполагают ранее независимое *i*, а *e* возникло по аналогии, и то же следует допустить для *u* в составе *eu*.

Если на самом деле существовали независимые фонемы *i* и *u*, то исходя из типологических оснований, следовало ожидать их достаточно высокую частотность (особенно в отношении *i*), и, возможно, также их участие в системе качественных альтернатив. Аблаутная ступень *e* : *o* в таком случае являлась бы лишь одним из чередований внутри более обширной системы, которая уже в праиндоевропейский период распространилась по аналогии и частично грамматикализовалась (например, *e*-основы презенса vs. *o*-основы перфекта), тогда как другие ступени сохранились лишь маргинально и спорадически.

Совершенно очевидно, каковы были бы эти чередования с участием *i* и *u*, поскольку мы уже встречались с примерами чередований *e ~ i* и *o ~ u*. До того времени, когда, начиная с Куриловича, стали предполагать независимый статус *i* и *u*, эти чередования трактовались двояким образом. С одной стороны, они либо игнорировались, либо делалась попытка объяснить их взятыми ad hoc фонетическими изменениями, ср., например, трактовку Бругманом «аномального» *u* в греч. *níks* «ночь» вместо *o* во всех других случаях, объясняемого лабиовелярной артикуляцией *k* [27, с. 598].

С другой стороны, начиная с Гюнтерта, некоторые индоевропейцы установили наличие чередования как между *i* и *e*, так и между *u* и *o* [25]. Гюнтерт и его последователи рассматривали *i* и *u* как редуцированные формы соответственно *e* и *o* в безударной позиции. Таким образом, они предполагали наличие дополнительной редуцированной ступени между полной и нулевой. В терминологии Гюнтерта эти редуцированные элементы серии кратких гласных были названы *schwa secundum*, в отличие от общепринятого *schwa* (инд.-иран. *i* vs. рефлексы праинд.-е. **a* в других группах), которое являлось нулевой ступенью долгих гласных и было названо *schwa primum*. Наиболее видным представителем теории *schwa secundum* был, несомненно, Хирт, однако и другие индоевропейцы, как, например, Мейе, предполагали наличие разницы ступеней редуцированной ступени.

Кроме того, если мы допустим существование независимых *i* и *u*, которые на самом деле, согласно предположениям сторонников теории *schwa secundum*, чередуются, соответственно с *e* и *o*, то становятся ясными случаи вторичных *ei* и *eu*, в которых *e* появляется благодаря поздним аналогическим процессам, как это было предложено, в числе других ученых, Семереньи и Шмидт-Брандтом.

Возьмем в качестве примера *i* и рассмотрим общеизвестное чередование *e* ~ *ei*, а также чередование исторически независимого *i* в ступени *e* : *i* (оно теряло качество перед сериями, содержащей чередование *e* : *o*). Можно обнаружить, что при этих условиях *e* участвует в обоих чередованиях, и поэтому естественно будет ожидать, что *e*, первоначально чередовавшееся с *i*, в значительном числе случаев заменяет *i* более обычным и распространенным *ei*.

Можно, наконец, спросить, есть ли аргументы в пользу того, что в альтернативах *i* : *e* и *u* : *o* *i* и *u* представляют собой редуцированные гласные. Вначале следует отметить, что, как утверждает Бальди, «у нас нет достаточной уверенности относительно первоначального места ударения во многих формах» [37]. Тем не менее несколько ясных случаев, относительно которых можно уверенно утверждать акцентуированность *i*, все же имеются. Поэтому наиболее вероятным выводом является то, что исходные *i* и *u* были попросту нейтральны в отношении индоевропейского акцента и могли быть как ударными, так и безударными. Ниже мы рассмотрим возможность и такой трактовки, согласно которой *i* и *u* в безударной позиции в ряде случаев переходят в нулевую ступень.

Среди примеров, в которых надежно восстанавливается ударный *i*, можно указать на вопросительное местоимение **kwi*-, приводимое Гамкрелидзе и Ивановым в связи с наличием в нем исходного *i*, по поводу которого Семереньи риторически вопрошал: «Однако каким образом сильно акцентуированные местоимения *kwis*, *kwid* можно считать ослабленными формами?» [38, с. 186].

Хотя в некоторых языках, как, например, в греческом, этот же корень действительно встречается в безударной позиции в качестве неопределенного местоимения, тем не менее мы знаем, что неопределенные местоимения восходят к вопросительным, но не наоборот. Более того, ниже мы увидим, что в вопросительном значении этот корень широко распространен и в евразийских языках. Другим примером является наст. время 1 л. глагола «быть», который в западнославянском проявляет рефлекс исходного **is-mi*. Если акцентуированный характер индоевропейского корня в какой-либо грамматической категории и является несомненным, то такой категорией следует признать активную форму презенса единственного числа глаголов на *-mi*. Здесь необходимо также отметить, что Гамкрелидзе

и Иванов в отношении цитированных выше санскритских форм на *i*, а именно, *śiras* «голова» и *śikvan* «умный», пишут, что эти примеры *i* не могут свидетельствовать о schwa secundum.

Исходя из всего этого, в данной работе отстаивается мнение, согласно которому имелись не только независимые фонемы *i* и *u*, но и их чередование с *e* и *o* соответственно. Этот взгляд в настоящее время уже полностью принимается рядом индоевропейцев, в том числе Мельничуком [39], Палайгисом [40], а в последнее время и Спирсом, который не ссылается на вышеназванных авторов. Рассматривая чередование *i* ~ *e*, Спирс отмечает, что «оно охватывает многие формы, вокализм которых всегда представлял непреодолимые трудности для объяснения в рамках традиционной теории» [41].

Чередование *i* ~ *e*, несомненно, является намного более частым, чем *u* ~ *o*, как можно предположить и на основе общетипологических соображений, поскольку оно включает гласные, статистически в целом более обычные. В моих индоевропейских сопоставлениях я буду рассматривать главным образом чередование *i* ~ *e*.

Другое важное наблюдение было сделано много лет назад Педерсеном [42]. Оно заключается в том, что, вопреки утверждению Хьюбмана, цитированному выше, *i* и *u* действительно могут исчезать. Это согласуется с положением, согласно которому количественный аблаут представляет собой более позднее явление, чем качественный, что было установлено Куриловичем [43] и на что по крайней мере намекал уже Соссюр [44, с. 135], исходя из того, что если условия для нулевой ступени количественного аблаута в большинстве случаев ясны (отсутствие акцента), этого нельзя сказать о качественном аблауте. Действительно, хотя попытки объяснить последний на внутренней почве индоевропейского постоянно терпели неудачу, среди многих индоевропейцев по-прежнему сохраняется вера в существование «доаблаутного периода». Несомненно, все имеет свое начало, однако по причинам, которые разъясню ниже, я считаю, что качественный аблаут, обычно символизируемый чередованием *e* ~ *o*, был частью более обширной системы чередований, восходящей к евразийскому периоду.

Из сказанного выше следует, что некоторые индоевропейские корни, реконструированные с корневым гласным *e*, должны содержать *e*, восходящее не к *e* ~ *o*, а к *e* ~ *i*. Эти последние обнаруживают тенденцию к чередованию только с *i*. Что же касается чередований с *o*, то обнаруживаются только единичные примеры этого явления либо полное их отсутствие. Одним из таких корней является *es-* «быть». Мы уже упоминали западнославянскую форму для 1 л. ед. ч. наст. времени *is-mi*. От того же корня в церковнославянском мы находим *istŭ* «истинный» и *istina* «истина». Имеется также греческий императив 2 л. ед. ч. *ishi*. За пределами индоевропейских языков ср. корейск. *it-*, которое является поздним развитием *isi-* «быть, существовать, оставаться» [45]. В ительманском языке, образующем генетическую группу, отличную от других чукотских (чукотско-корякских) языков, имеется вспомогательный глагол *is* «быть» [46], который в условиях действующей в этом языке гармонии гласных по подъему имеет вариант с нижним гласным *es*⁵. В айну имеется негативный гла-

⁵ Тем не менее в недавнем описании ительменского языка Володин приводит сходный вспомогательный глагол *el*, конечный согласный которого является глухим латеральным фрикативом [47]. В этом видно проявление диалектной дифференциации, поскольку описание Богораза основывается на хайрюзовском диалекте, тогда как Володин описывает напонский диалект; это — два различных ительменских диалекта.

гол бытия *isam* «не имеется», анализируемый, по-видимому, как *is-* «быть» и *-am* — отрицание. Есть в айнском и глагол *isu* «быть».

Поскольку мы признаем, что основными альтернантами основы являются *tis*, *es* и *s*, то проблема индоевропейского *s*-аориста может получить достаточно удовлетворительное и логичное разрешение. Образование прошедшего времени путем суффиксации глагола в значении «быть», несомненно, засвидетельствовано достаточно широко. Относительно латинского принято считать, что окончания перфекта 2 л. ед. и мн. ч. *is-ti* и *is-tis* содержат аористный *-s*- и происходят из *-is-*, который наличествует также в перфектном инфинитиве *dix-isse*, плюсквамперфектном индикативе *dix-eram* и плюсквамперфектном конъюнктиве *dix-isset*. Тем не менее они должны быть, согласно общепринятой теории, отделены от форм глагола «быть» *esse*, *eram* и *essem*, которые восходят к *es-*. В греч. **ēweid-e(s)a* «я знал», традиционно считающемся плюсквамперфектом, уже Бругман усматривал аорист на *-es-*. В санскритском аористе на *-is-* *i* не может восходить к *schwa*, поскольку в других случаях ему соответствуют рефлексы *a*. Санскритское *i*, без сомнения, распространилось в *seṭ*-корнях по аналогии.

Другим евразийским корнем, содержащим чередующиеся *e ~ i*, является индоевропейская форма, обычно реконструируемая в виде *deik-* «показывать, указывать». Базовым значением является, видимо, «указательный палец», откуда метонимически — «указывать». Вероятным производным от этого корня является лат. *digitus* «палец». Помимо обычно цитируемых полной ступени *ei* и нулевой ступени *i*, отмечается сохранение *e* в нескольких греческих формах, которые не могут быть удовлетворительным образом объяснены. Основа глагола в форме *dek-* хорошо засвидетельствована как в литературном ионическом, так и эпиграфически в Хиосе и Милете [48]. По поводу этих форм хранят молчание как Швицер в своей грамматике, так и Фриск в этимологическом словаре [49]. Байи в своем словаре просто пишет, что в ионическом *i* корневого *ei* утратилось, тогда как *e* основы сохранилось [50]. Однако это всего лишь описание, но не объяснение. Преллвитц говорит, что аблауная пара *e : ei* заместила более старое чередование *i : ei* [51], тогда как Шантрэн признает, что это чередование необъяснимо [52]. Предполагаемую замену формы *dik* на *dek* Гофман считает невозможной и замечает, что у него нет на этот счет собственной гипотезы [53]. Бак пишет, что ионическое *deknūmī*, возможно, является контаминацией *deik-* и *dik* [54]. Это лишь некоторые случаи, когда этимологи просто оставляют чередования *e ~ i* или *o ~ u* необъясненными, либо игнорируя их, либо выдвигая гипотезы *ad hoc* ⁶.

Кроме того, Богораз в своем описании не выделяет никакого глухого латерального. Вполне вероятно, что эти две формы восходят к единой форме **es ~ is*, но это всего лишь предположение. Богораз упоминает целый ряд чередований между латеральными и сибиллянтами.

⁶ Помимо хорошо известных случаев греческих чередований *e ~ i* и *u ~ o*, описанных в работах Гюнтерта, Мельничука и других авторов, следует упомянуть еще два примера. В обоих случаях мы имеем дело с довольно очевидными с точки зрения семантики этимологиями, которые даже не упоминаются, поскольку в них содержится «запрещенные» чередования. Хотя обе эти этимологии отмечены в лексиконе Лиделла и Скотта [55], о них умалчивается в более поздних переработанных изданиях под руководством Джоунза и Маккензи, которые знали, что индоевропейцами эти чередования не признаются.

Одним из таких примеров является *lēbēs* «котел, котелок», который в более ранних изданиях производится из *leibein* «лить, выливать». У этого глагола нет временной формы на *oi* и имеется ряд примеров наличия у него *i*-ступени, ср. *libās* «ключ, родник», *līps* тж., *libádion* «маленький ручей», *lībos* «капля крови». Единственным примером *oi*

Другим примером ступени *e* от этого же корня является хет. *tekussami*. В случаях вроде скр. *diś* «направление» и лат. *dicis causa* нет никаких оснований предполагать, что корневое *i* является редуцированным гласным. В евразийском эта форма всегда выступает в виде *tek* или *tik*, но никогда в форме *teik*. В эскимосском обнаруживается зап.-грэнл. *tiki-q* «указательный палец» (*-q* — показатель абсолютива) со сходными формами в других эскимосских диалектах, как юитской, так и инуитской групп. В западно-грэнландском имеется также производный глагол *tikkuagpaa* «он указывает на это». В айну находим *tek*, *teke* «рука» (Бэчелор), а Добротворский зафиксировал также *atiki* «пять». Из значения «палец» мы получаем и значение «один», благодаря употреблению пальца в качестве единицы счета. Сюда же относятся, вероятно, корейск. *teki* «один, парень, вещь», равно как и ряд тюркских форм, например, осман. *tek* «нечетное (число), только, единственный» и *teken* «один за одним», чуваш. *tek* «только, лишь», др.-тюрк. (уйгур.) *tek* «только, всего лишь» и т. д.

Третьим индоевропейским корнем, представляющим как внутренние, так и внешние свидетельства этого чередования, является *bher-* «нести». Ц.-слав. *břrati* «братъ», наст. вр. *beru* «я беру» точно соответствует чукотскому глаголу в значении «братъ», который имеет варианты *per ~ pir*, обусловленные гармонией гласных по подъему. В чукотском имеется лишь единственный класс смычных. Сюда, возможно, относятся и др.-тюрк. *bir*, осман. *ver* «братъ». Я рассмотрю это тюркское чередование ниже.

Четвертый важный пример снова находим в славянском, который в этом случае соответствует неиндоевропейским евразийским языкам. В косвенных падежах 1 л. ед. ч. — в инструментальном *mĭnjŏ* и в дативно-локативном *mĭnĕ* — появляется *i*, ср. *menĕ* в генитиве — аккумулятиве. Такая же вариация между формами основы на *e* и *i* обнаруживается в уральских и алтайских языках. Редей и Эрдель реконструируют *mi-nä* и *te-nä* как варианты финно-угорских форм местоимения «я» [57, с. 399]. В тюркской ветви алтайской семьи находим др.-тюрк. *ben*, *men* и *min* в качестве номинатива местоимения «я» и такие же варианты для этой основы косвенных падежей [58, с. 91]. В монгольском языке *bi* «я» в косвенных падежах чередуется с основой *min-*. В тунгусском совершенно такое же чередование, как и в монгольском.

является *loibē* «возлияние» в отглагольном существительном, в котором ступень *o* является очень продуктивной в греческом. Фриск производит *lēbēs* из того же корня, что и *lebēris* «сброшенная кожа змеи»; Байи в своем словаре не дает никакой этимологии, тогда как Шантрэн отмечает, что этимология Фриска навряд ли удовлетворительна с семантической точки зрения. Он считает, что это слово может быть заимствованным. Хотя в качестве источника упоминалось евр. *keleb*, Шантрэн заключал свое мнение утверждением, что приемлемая этимология отсутствует. Соскор цитирует редкую форму *libei* «он выливает» [44, с. 135], однако я не смог отыскать ее источника.

Другим примером является *tōkson* «лук (оружие)». Лиделл и Скотт [55] производят его из глагола *tunkhānō* (основа *tukh-*, как во втором аористе *étukh-on*), основное значение которого дается как «ударить», специально: «попасть в цель стрелой». Эта этимология уже была предложена Курциусом в 1858 г., до того, когда была установлена современная концепция праиндоевропейских вокалических чередований [56]. Форма *toukh* отсутствует, хотя имеется существительное *tukhē* «удача». Кроме того, у Пиндара встречаются эолийские формы вроде причастия *tōssais* и даже *epētosse* с точно таким же значением, что и аттический *epētukhe* «столкнуться, встретиться с кем-либо». Эти пиндарические формы остаются совершенно необъясненными.

От попытки объяснить *tōkson* как производное от корня слова *téktōn* = скр. *takšan* отказались, так как в греческом ожидалось бы *kt*, а не *ks* < **kþ*. Швицер принимает предположение Бенвениста о заимствовании его из скифского, а Шантрэн поддерживает эту мысль даже несмотря на то, что ему известно о наличии этого слова в микенском.

Имеется еще два дополнительных случая чередования $i \sim e$ в рамках единой парадигмы, которые, в отличие от только что цитированного примера с *bher* ~ *bhir*, обычно реконструируются в качестве индоевропейских чередований. Одним из них является уже упомянутое вопросительное местоимение, основой единственного числа номинатива которого принято считать *kwi-* (общий род; в номинативе — *kwi-s*, в аккузативе *kwi-m*, в среднем роде — *kwi-d*), причем в косвенных падежах ед. ч. обычно реконструируется основа *kwe-*, за исключением локатива, ср., например, генитив *kwe-syo* [38, с. 269, 270]. В форме *kwei-* данная основа встречается только во множественном числе.

Далее, есть указание, свидетельствующее о наличии ступени i во множественном числе. Множественное число среднего рода *qui-a* сохраняется в латинском в качестве связки, а также во множественном числе датива-аблатива — *quibus*. Хеттский номинатив мн. ч. *kues*, пишущийся также в виде *ku-i-es*, обнаруживает ступень i . В лидийском два альтернанта развились в отдельную парадигму в качестве относительных местоимений *qi-* и *qe-* (в косвенных падежах, находим *qλ*, указывающее, возможно, на нулевую ступень). Эти примеры обычно пытаются объяснить следующим образом. Гусмани утверждает, что здесь либо произошло внутрелидийское изменение *qi* → *qe* (что было бы единственным примером такого рода), либо *qe* восходило к *qei*, относительно чего нет ни малейших данных [12, с. 181]. Как я предполагаю, основа *kuei-*, которая засвидетельствована только во множественном числе, содержит тот же плюралистичный $-i$, что и в указательном местоимении *toi* и т. д., и является либо исходной, либо, что более вероятно, представляет собой результат контаминации с последним. Истинно нулевой ступенью является, по-видимому, *ku-*, как, например, в скр. *kuha* «где?» и во многих сходных формах.

Другим важным примером реконструкции чередования $e \sim i$ в праиндоевропейском является параллельный случай с основой указательного местоимения, усматриваемой в латинском номинативе ед. числа мужского рода *i-s*, для которого Семереньи [38, с. 268] реконструирует ед. число мужского рода номинатива **is*, аккузатива **im* и ед. число номинатива и аккузатива среднего рода **id*, контрастирующих с **e-* в косвенной форме генитива мужского рода **esyo* и в других падежных формах ед. числа. И опять основа *ei-* встречается только в формах мн. числа. Сам Семереньи оспаривает попытку принять чередование $ei \sim i$ с последующей тематизацией в качестве исторически исходного, утверждая, что подобный процесс не имеет места ни в каком другом местоимении и поэтому должен быть отвергнут [38, с. 267]. Как вариативность *kwi* ~ *kwe*, так и чередование $i \sim e$ широко распространены в евразийских языках. Обе формы обнаруживают внутриязыковую диалектную и межъязыковую вариативность. В некоторых языках, обладающих гармонией гласных, эти формы, как в уже приводившемся чукотском примере *pir* ~ *per* «брать», обусловлены этой гармонией. Важность этого обстоятельства будет обсуждена ниже.

Что касается *kwi* ~ *kwe*, то оно может выступать в качестве независимого вопросительного местоимения «кто?» или «что?», во многих вопросительных наречиях, в виде «координатора» (ср. и.-е. *kwe*), а в некоторых языках и в качестве вопросительной или неопределенной частицы. В одной или в нескольких из названных функций эта основа встречается в каждой ветви евразийской семьи, включая уральскую, юкагирский, все три группы алтайской семьи, в айну, корейском, японском, нивхском, эскимосском и алеутском. Детальное рассмотрение всех этих случаев, требую-

щее отдельного изложения, будет обсуждаться в готовящейся мною публикации.

Однако здесь мы рассмотрим пример, когда индоевропейский маргинальный элемент, необъяснимый на индоевропейской почве, присутствует в некоторых евразийских языках в таком же оформлении и когда факты этих языков позволяют нам предвидеть по крайней мере возможное его объяснение. Имеется в виду форма, реконструированная в словаре Покорного в виде **kwene* [10, с. 641], которая встречается в индоиранском и германском в неопределенном или обобщающем значении. В обеих языковых группах она выступает в качестве суффикса интеррогативов. Среди примеров скр. *-cana* (например, в *kaš-cana* «кто-либо») и авест. *-cina* в сходном употреблении и значении. Из германских языков этот элемент обнаруживается в древнеанглийском, древнесаксонском и древневерхненемецком (*hwer-gin* «где-либо»), причем из-за частого употребления неопределенного местоимения в сочетании с негативом в древненорвежском (*hvergi* «нигде») оно приобретает негативную семантику. Покорный дает германскую праформу в виде **-yin* (с грамматическим изменением). Кроме того, нельзя игнорировать *i* в авест. *cina*, так как *i* везде соответствует инд. *i*. Санскритская форма с палатальным согласным восходит, несомненно, к *kwe-*. Ясно, что в таком случае первой частью является *kwe ~ kwi* и что она производна от корня *kwe ~ kwi*, известного в качестве обычного индоевропейского интеррогатива. Семантическое развитие вопросительных местоимений в неопределенные и обобщающие является обычным. Но что делать со вторым элементом **-ne*, **-n*, для которого, насколько мне известно, на индоевропейской почве не было предложено никакого объяснения? Однако обычные вопросительные местоимения в форме *ken* или *kin* широко распространены в евразийских языках. Можно привести примеры из финно-угорских, юкагирского, монгольского, нивхского, алеутского, эскимосского, а также, возможно, и из тюркских языков. Встречаются также и формы на *ke*, *ki*, например, ительм. *к?е* «кто?», венг. *ki* «кто?», саам. (кольск.) *ке* «кто?». Иногда формы с *n(a)* и без него встречаются в одной и той же парадигме, и из этих примеров становится возможным прийти к пониманию исходной функции *-n*, *-ne*. В финской подгруппе финно-угорских языков мы находим как *ke-*, так и *ken-*. Наиболее ясным представляется положение в ингрийском, где *ken* является номинативом ед. числа, тогда как ед. число косвенных падежей образуется на основе *ke*, а мн. числом номинатива является *ket*. В самом финском обычным номинативом является *ku-ka* (ср. *mi-kä* «что?»), однако архаичный номинатив ед. числа представлен в *ken*, причем основа *ken-* по-прежнему встречается в некоторых падежах в ед. числе, ср., например, *ken-en* (ген.), *ken-essa* (инессив) и т. д. То, что основой действительно является *ke*, подтверждается мн. числом номинатива *ke-t-ka*. В кольском саамском вследствие семантического развития, параллельного индоевропейскому, мы находим обобщающее местоимение *kene* «любой».

Историческая отделяемость *ke* и *ne* видна из того факта, что мн. числом этого обобщающего местоимения является *ke-g-ne*, где *g > k* представляет собой распространенный уральский суффикс дуальности или множественности, а также из того, что обычным вопросительно-личным местоимением является *ke*, форма мн. числа которого — *ke-g*.

В финском и других балто-финских языках находим *kin* или *ki* в качестве неопределенного суффикса, присоединяющегося к различным падежным формам основ вопросительных местоимений *jo-* или *ku-*, например, фин. *jo-ssa-kin* «где-либо». Я затрудняюсь сказать, является ли это

-*kin* заимствованием из германского. Мне не удалось найти какого-либо обсуждения этого случая в двух известных работах Томсона и Коллиндера, касающихся германских заимствований в финском.

В качестве простого вопросительного местоимения в финно-угорских языках чаще выступает *kin*, чем *ken* (ср., например, зырян. *kin*). Редки и Эрдельи для прафинно-угорского восстанавливают *kin* ~ *ken* [57, с. 398].

В тюркских языках, за исключением чувашского, имеется *kim* в значении «кто?», чему в чувашском соответствует *kat*. Я не могу сказать, связан ли этот финальный *-t* с *n* других алтайских языков.

В юкагирском *kin* означает «кто?». В монгольском встречается *ken* «кто?», причем *-n* распространился на все формы ед. числа, однако форма мн. числа *ke-d* показывает, что *-n* является исторически отдельной морфемой.

В нивхском имеется энклитика *ha-gin* в качестве суффикса к интеррогативам с неопределенным или обобщающим значением, например, *ay* «кто?», *ay-ha-gin* «каждый, любой». Особенно часта она с отрицательными местоимениями. То, что это энклитика, видно из того факта, что она следует за флексийными показателями в интеррогативе, как, например, в *ay-ux-ha-gin* «от любого». Анализ энклитики *ha-gin* как сложения *ha* «быть» с *gin* является очевидным. Она может быть, в качестве показателя фокуса, присоединена к другим субстантивам, ср. *if-ha-gin*, где *if* означает «он/она», а в целом слово значит: «он/она, который есть». Использование связки с относительным местоимением, как в англ. *He who is...*, несомненно, является во многих языках частым способом фокусации. Путь семантического развития в обобщающий интеррогатив мне не ясен, хотя идентичность *ha-gin* в двух отмеченных употреблениях очевидна, а использование его в целях фокусации становится более ясным благодаря этимологическому анализу.

Именно благодаря материалу эскимосского и алеутского языков становится ясной исходная функция этого элемента, используемого в качестве ед. числа абсолютива или, возможно, в качестве ед. числа номинатива в аккузативной системе в других языках. В эргативных системах эскимосского и алеутского *ki-na* в ед. числе абсолютива означает «кто?». Прочие падежи в аляскинском эскимосском построены на основе *ki-tum* с соответствующими образованиями в других диалектах. Дв. и мн. число строятся соответственно, из основ *kin*, *kin-ku-k* и *kin-kut*. Отличительной чертой эскимосского в данном случае является то, что *-na* абсолютива ед. числа встречается не только в вопросительно-личном местоимении, но и в *su-na* «что?», а также в большом классе указательных местоимений, например, в *ta-na* «тот». В этих неинтеррогативных формах *-n* не встречается в дв. или мн. числе (ср., например, *ta-ku-k*, *ta-ku-t*), а ед. числом неабсолютивных основ является *ta-m*, из чего ясно следует, что *-na* — это маркер абсолютива ед. числа.

Ситуации в алеутском и эскимосском сходны в том отношении, что в значении «кто?» выступает *kin*, и эта основа используется для образования дв. (*kin-ku-k*) и мн. числа (*kin-ku-t*). Как и в эскимосском, форма с *-n* встречается также в демонстративах, но здесь она ограничена ед. числом, например, *wa-n* «этот», *wa-ku-k* (дуал.), *wa-ku-s* (мн. ч., неаляскинский диалект). В алеутском отсутствует флективная система падежей, в связи с чем проблема косвенных основ здесь не возникает.

Помимо эскимосского и алеутского, единственной ветвью евразийского, в которой *-n* или *-na* обнаруживаются не только в формах личного во-

росительного «кто?»), является уральский, в котором реконструируется форма местоимения 3 л. **se-n* < фин. *han*, мн. ч. *se-k*. И в этом случае отсутствие *-n* во мн. числе показывает, что *-n* не является частью основы.

Вывод, следующий из этого обзора фактов, заключается, очевидно, в том, что *-ne* в и.-е. *kwe-ne* первоначально являлось показателем как ед. числа абсолютива в эргативной системе, так и ед. числа номинатива в аккузативной системе. Функция его была, вероятно, ограничена вопросительно-личным местоимением, что характерно для всех языков, в которых оно встречается, а его появление в уральском *se-n* и эскимосско-алеутских указательных местоимениях является, видимо, результатом более позднего аналогического распространения.

Мы уже убедились, что обычная индоевропейская реконструкция анафорического и указательного местоимений (представленного, например, латинским *i-s*) предполагает чередование между *i-* в номинативе и аккузативе и *e-* в косвенных падежах ед. числа, параллельно тому, что было сказано относительно вопросительного местоимения *kwi-*. И в этом случае имеются многочисленные родственные формы в других группах евразийской семьи, которые, как и в индоевропейском, являются ближними дейксисами (ср. скр. *i-y-am* «этот») или местоимениями (типа лат. *i-s*). Дальнейшее типологическое изменение довольно близко к тому, что часто наблюдается во многих пиджинах, возникших на основе английского языка, в которых, например, *hitem* < *hit him* просто значит «ударь», а *-m* вполне обычно используется в качестве показателя транзитивности. Такое развитие, которое, как мы увидим, является переходной стадией на пути к преобразованию в чисто транзитивный маркер, будет обсуждаться ниже в связи с нивхским и айнским материалом.

В уральских языках имеется ближний дейксис, который, как и в индоевропейском, обнаруживает вариацию между *e* и *i*. Это можно проиллюстрировать на примере венгерского *e-(z)* «этот» (ср. *a-z* «тот»), но *i-tt* «здесь». Последнее слово имеет диалектную форму *e-tt*. Коллиндер не только сближает уральские и индоевропейские формы, но приводит в качестве подтверждения также и сходное вокалическое чередование [59]. Сетяля произвел аналогичное сопоставление между уральским и индоевропейским материалом, констатируя, что здесь не может быть случайности [60]. В колымском диалекте юкагирского, одном из двух сохранившихся близкородственных диалектов этого языка, *-i* образует 3 л. ед. ч. презенса-протерита непереходных глаголов. В том же классе глаголов оно встречается и в будущем времени на *t-i*, где *t*, несомненно, показатель будущего времени.

Во всех трех группах алтайской семьи языков **i* выступает в роли местоимения 3 л. ед. ч. В тюркских языках оно сохранилось в виде посессивного суффикса *-i* ~ *y* (передний и задний варианты в системе вокалической гармонии) существительных, оканчивающихся на согласные, например, тур. *ev-i* «его, ее дом». Как и в индоевропейском, оно встречается также в наречиях с семантикой ближнего дейксиса, например, сагайск. *i-dä* «здесь». Эта последняя форма разительно напоминает скр. *i-ha* < **i-dha* «здесь». В монгольском оно встречается в независимом местоимении 3 л., но только в косвенных падежах (ср., например, класс. монг. *i-mada* «ему/ей»). Исходя из этого, монголисты реконструируют **i* и полагают, что в этой форме ранее оно существовало в номинативе. В монгольском фиксируется также наличие варианта с *e*, ср. класс. монг. *e-ji* «делать это», что можно сопоставить с *te-ji* «действовать таким образом» и *je-ji* «что делать?». Начальные компоненты двух последних форм имеют

очевидные соответствия в индоевропейском и, можно добавить, в ряде других групп евразийской семьи. В монгольском языке содержатся до-полнительные свидетельства наличия *e* в указательном местоимении *e-ne* «это» (мн. ч. *e-de*).

Ситуация в тунгусском схожа с соответствующей ситуацией в монгольском в том, что *i* в качестве анафорического местоимения в номинативе не сохраняется. Исключением является маньчжурский язык, так как в нем *i* сохраняется в качестве показателя номинатива местоимения 3 л. ед. ч. Форма с гласным альтернантом *e* обнаруживается в тунгусском указательном местоимении, реконструированном Бенцингом в виде **e-(ri)* «этот» [61, с. 106]. Справедливость такого анализа удостоверяется сравнением тунгусского *ta-(re)* «тот» с монгольским *te-re* «тот», во мн. ч. *te-de*. Субстантивизирующий суф. *re* ~ *ri* встречается также в айском *a-ri* «тот» и японском *ko-re, so-re* и т. д. в значениях «этот, тот».

В функции ближнего дейксиса в корейском выступает *i*, которое предшествует определяемому им существительному. Оно сохраняется также в наречии *i-mi* «сейчас». В японском, в дополнении к другим возможным случаям, которые не будут здесь рассматриваться, оно встречается в наречии *i-ma* «сейчас» (ср. приведенное выше корейское *i-mi*). В японском *ma* выступает и в качестве независимого существительного, обозначающего пространство или время.

Во всех диалектах нивхского имеется префикс *i-* в функции посессива 3 л. ед. ч. Тот факт, что консонантная ступень начального согласного существительного представлена звонким смычным, тогда как основная форма его — глухой неаспирированный (ср., например, *kan* «собака», *i-gan* «его/ее собака»), показывает, что мы имеем дело с назальной ступенью в системе, типологически чрезвычайно близкой соответствующей системе в кельтском. Она восходит к **i-n-gan* с генитивным *n*, широко распространенным в евразийских (и других) языках, что мы не будем здесь иллюстрировать. Вариант *e-* в системе вокалической гармонии выходит из употребления, встречаясь только в нескольких существительных [62]. В сахалинском диалекте местоимением 3 л. ед. ч. номинатива является *i*, тогда как в амурском диалекте оно осложнено суф. *-f*. Это *i*, в соответствии с действующим в нивхском языке правилом вокалической гармонии по подъему, функционирующим только в немногих конструкциях, преобразуется в гласный нижнего подъема. Например, датив в сахалинском диалекте — *e-rx* < **e-tox*, ср. в амурском диалекте *if-tox*. Типологически наиболее интересным развитием в нивхском представляется то, что префигированный объект переходного глагола находится в процессе превращения в показатель переходности. Это имеет отношение лишь к отдельному, но важному классу глаголов. Согласно этому правилу, чередование *e* ~ *i* (в зависимости от правил сингармонизма по подъему) имеет место в том случае, если имеется объект, не выраженный в предложении, но оно отсутствует, если объект выражен эксплицитно.

Например, в предложении «Он пришел, поел и ушел» «поел» будет иметь префикс *i-* (*i-n-d'*, где *d'* служит для выражения индикатива). Если, однако, объект выражен (например, «он поел мясо»), то формой глагола будет *ni-d'*, где обнаруживается рефлекс ранее существовавшего верхнего гласного основы *ni-*. Поскольку чередование *e* ~ *i* имеет место только в переходных глаголах, то есть возможность его реинтерпретации в качестве выразителя переходности, причем эти гласные альтернанты могут стать частью глагольной основы.

Именно это, согласно Бэчелору, произошло с альтернирующим *e* в ай-

ну, где *e*, по автору, является префиксом, преобразующим непереходные глаголы в переходные, например, *mik* «лаять», *emik* «лаять (на кого-либо)». Однако в словаре Бэчелора имеется отдельная словарная статья, которая, кажется, указывает на сохранение этого аффикса в его предположительно более раннем употреблении в качестве показателя 3 л. объекта как при наличии, так и при отсутствии объектного существительного (ср. *seta e-ikka* «собака стащила это», *ainu seta e-ikka* «человек украл собаку»). Имеется и альтернант *i-*, который, согласно Рефсингу, является, как он его называет, псевдоинтранзитивом [22]. Описываемое им правило точно соответствует аналогичному правилу в нивхском, а именно, что чередование *e ~ i* употребляется для характеристики неопределенного специфического объекта в случае, если объектное существительное в предложении отсутствует; но оно не представлено, если существительное выражено эксплицитно.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что чередование *e ~ i* следует датировать общеевразийским уровнем, и что в определенных языках эти два гласных выступают в качестве альтернантов в системе вокалической гармонии по подъему.

Сначала мы рассмотрим ряд подобных систем и ту роль, которую играет в них чередование *e ~ i*, а также природу явления, проявляющегося тогда, когда эти (и, кстати сказать, любые другие) системы гласного сингармонизма разрушаются. В качестве первого примера возьмем чукотскую семью языков. В целом для всех языков этой семьи характерна одна и та же система, что видно на рис. 1.

Верхний подъем:	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>u</i>	
Нижний подъем:	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>o</i>	<i>ə</i>

Рис. 1. Чукотская система гласных

Общим правилом, имеющим, однако, несколько незначительных исключений, является то, что все гласные в слове должны быть верхнего подъема или *ə*, либо нижнего подъема или *ə*. Следовательно, *ə* является нейтральным гласным. Однако почти во всех случаях имеется возможность различать лежащий в основе *ə* его верхний либо нижний вариант вследствие того, что *ə* представляет собой результат фонетической редукции гласных. Условия, в которых имела место эта редукция, невозможно установить, поэтому исторически *ə* может восходить к исходной паре гласных, различавшихся по подъему, которые позднее слились в одном звуке. Богораз в своем описании чукотского языка на фонетическом уровне отличает верхний коррелят *a* (который он обозначает в виде *ā*) от нижнего коррелята *i*.

Верхний подъем:	<i>i</i>	<i>ā</i>	<i>u</i>
Нижний подъем:	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>o</i>

Рис. 2. Чукотская система гласных (по Богоразу)

Из двух ступеней подъема нижняя является доминирующей в том отношении, что если какая-либо морфема в основе или аффиксе содержит нижний гласный, то последний вызывает преобразование всех верхних гласных в нижние. Примером этому служит слово со значением «земля», которое в ед. числе абсолютива выступает в виде *nutenut* (редуплицированная форма), тогда как в ед. числе аблатива находим *notajpə*, где исходный нижний гласный *a* (в *-ajpə*) вызвал преобразование в сторону нижнего подъема исходного *u* основы **nut-* → *not-*.

Средне- и древнекорейский обладали сходной с чукотской системой вокалической гармонии по подъему. В современном литературном корейском и почти во всех диалектах эта система разрушилась, сохранив, однако, некоторые реликты, которые мы рассмотрим ниже.

Древняя система гармонии по подъему, восстановленная для корейского языка XV в. Хайатой [63], показана на рис. 3.

Женский ряд: е у и
 Мужской ряд: а л о i (средний)

Рис. 3. Раннекорейская система гласных

Принцип деления гласных на «женский ряд» для верхней ступени и «мужской» для нижней, который, как мы можем видеть, доминировал в чукотском, встречается и в ряде других восточноазиатских языков. В современном литературном корейском, как мы уже знаем, эта система была разрушена, однако пережитки ее сохраняются в вариантных формах, ономастопеях, часто в редуцированных словах, называемых в словаре Мартина, Ли и Чанга тяжелыми и легкими изотопами для, соответственно, верхнего (женского) и нижнего (мужского) вариантов [64]. Примерами служат *solsol, sulsul* «мягко текущий; мягко, нежно» и *katak, ketek* «сырой, влажный». Есть также нередуцированные варианты, такие, как *mas* и *mez*, значащие «вкус, аромат». Кроме того, имеется достаточное количество случаев, когда в одном диалекте удерживается один вариант, а в другом диалекте — второй. Например, суффикс настоящего времени в севернокорейском звучит как *-ku-*, а в южнокорейском — *ko* [16, 1, с. 34].

Все исследователи нивхского языка согласны с тем, что некогда в нем имелась «полноценно» функционирующая система гласного сингармонизма по подъему. Помимо рассмотренного выше показателя 3 л. *i* есть значительное количество ее пережитков в классификаторах числительных. Как показано на рис. 4, эта система может быть легко восстановлена, причем в ней отсутствуют нейтральные гласные.

i у и
 е а о

Рис. 4. Нивхская система вокалической гармонии

Тем не менее в дополнение к функционированию подобной системы в объектном показателе 3 л. *e ~ i* и к значительному числу реликтов в системах классификаторов числительных имеется довольно много случаев, когда из двух основных диалектов, представленных в словаре Савельевой, один вариант сохраняется в первом диалекте, а другой во втором. Некоторые примеры даны ниже.

Амурский диалект	Сахалинский диалект	
<i>tyk</i>	<i>tak</i>	«быть горячим»
<i>park</i>	<i>pyrk</i>	«только»
<i>nik</i>	<i>nek</i>	«недавно»
<i>mut</i>	<i>mot</i>	«подушка»

Первый пример представляет собой наиболее обычный тип. Во многих формах амурский диалект содержит *У* там, где в сахалинском имеется *а*.

В дополнение к этим случаям междиалектной вариации имеются при-

меры, в которых оба варианта представлены в обоих диалектах семантически дифференцированно. Сюда относятся такие примеры, как *lūx* «грозовая туча», *lax* «дождь», а также *vi-(d')* «идти», *ve-(d')* «бежать». Другой пример — *noγ* «быть ароматным», *niγniγ* «пахнуть» (перех.). Этот последний пример особенно интересен, так как он показывает возможность использования сохранившихся вариантов в грамматических целях, в данном случае — для выражения переходности.

И в других случаях, когда мы имеем дело с разрушенной исходной системой вокалической гармонии, выявляются очень схожие явления, как например, в иранизированном узбекском и в южномонгольских языках. Здесь мы не будем рассматривать эти случаи.

Как явствует из предыдущего изложения, индоевропейские варианты $i \sim e$, $e \sim o$, $u \sim o$ обнаруживают те же черты междиалектной и межъязыковой вариации, семантической дифференциации и встречающиеся порой случаи грамматикализации, которые характерны для языков с ранее действующими системами гармонии гласных. Более того, в двух из названных пар, $i \sim e$ и $u \sim o$, совершенно определенно можно усматривать соотносительное различие по подъему. Ряд индоевропейцев, принимая во внимание типологически не закономерную позицию *a* — в том виде, в каком ее обычно реконструируют — а также то обстоятельство, что в большинстве языков ее рефлекс идентичны рефлексам *o*, высказали предположение, что чередование $e \sim o$ следует реинтерпретировать в виде $e \sim a$. Если это будет принято, тогда мы можем реконструировать предындовропейскую вокалическую систему с действующей в ней гармонией по подъему в том виде, как это показано на рис. 5 (за вычетом чукотского редуцированного гласного, она идентична системе, представленной на рис. 2):

Верхний подъем:	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>u</i>	
Нижний подъем:	<i>e</i>	<i>a < o₁</i>	<i>o₂</i>	

Рис. 5. Предполагаемая индоевропейская система гласного сингармонизма

Здесь мы высказываем предположение, что имеется определенное число индоевропейских корней с «устойчивым *o*» (здесь o_2), которое, как это было указано рядом индоевропейцев, начиная еще с Соссюра [44, с. 135], не чередовались с *e*. В их числе корни таких слов, как «восемь» (лат. *octo*), «напротив» (лат. *pro*) и «свинья» (лат. *porcus*), в которых *o* никогда не чередуется с **e*. Можно, конечно, возразить, что такое чередование могло иметь место ранее, однако я считаю, что встречаемость гласного в ряде изолированных основ существительных делает это маловероятным.

Многие видные индоевропейцы хотели вовсе элиминировать традиционное **a* либо предлагали считать, его поздним результатом процесса «заполнения клеток» в словах с экспрессивной семантикой, например, в словах, обозначающих дефекты, как в лат. *laevus* «левша» и *caecus* «слепой», **a* возводили также к *e* в соседстве с H_2 . Однако я не решаюсь его полностью исключить. Он может представлять собой нейтральный гласный, полученный в результате доисторического слияния четвертой пары сингармонических вариантов. В начальной части статьи мы отметили соответствие *a* в и.-е. *al(i)*- «другой, второй» со схожими формами в других евразийских языках. Другим возможным примером является **anti* [10, с. 48—49] «напротив, противоположный» (ср. хет. *ḫanti*, которое может быть сопоставлено с корейским *anthe* в том же значении). В таком случае в корейской форме мы имели бы метатезу аспирации.

Я еще не затрагивал того обстоятельства, что в уральских языках, равно как и в тюркской и монгольской ветвях алтайской семьи, имеется скорее вокалическая гармония по ряду, чем по подъему. Все это сложные вопросы, и я только предварительно здесь их затрону. Относительно уральского следует отметить, что у самих уралистов нет согласия по поводу того, восходит ли эта система к прауральскому периоду или нет. Попытки реконструировать прауральскую систему гласных столкнулись с большими трудностями, и, на мой взгляд, здесь должно быть много исключений. Относительно реконструкции имеется два основных подхода. Сторонники одного из них, ассоциируемого с именем Штайнитца [65], отмечают широко распространенную уровневую альтернацию и поэтому допускают целую серию подобных чередований и в прауральском. Приверженцы другого подхода, представленного Итконеном [66], предполагают, что финский, с некоторыми отклонениями, сохранил прауральскую систему гласных и что в ней существовала гармония по ряду. В настоящее время ураллисты отдают предпочтение именно этому взгляду.

Коллиндер, работы которого составляют основу для всех современных реконструкций прауральского языка, в том же томе, где содержатся первые реконструкции гласных начального слога (вне зависимости от того, подчиняется ли слово в целом переднерядной или заднерядной гармонии), относительно уральской системы гласных констатирует следующее: «Несмотря на пионерские работы Генетца, Лехтисало, Штайнитца и Э. Итконена, у нас пока еще нет ясной картины системы вокализма прауральского или прафинно-угорского языка» [67, с. 149]. Касаясь двух отмеченных выше теорий, несмотря на то, что его реконструкции в целом основываются на подходе Итконена, он делает следующее довольно красноречивое замечание: «Вполне правомерно делать вывод (вместе с Сетялой, Лехтисало и Штайнитцем) о существовании в прафинно-угорском или прауральском нескольких вокалических чередований. Но, с другой стороны, есть смысл и попытаться (вместе с Э. Итконеном) обойтись без этой гипотезы» [67, с. 151].

Мы уже убедились, что как Коллиндер, так и Редей и Эрдели допускают наличие чередований по подъему в нескольких случаях, включающих те самые формы, которые мы рассматривали в этой статье, а именно *ki ~ ke*, *kin ~ ken*, *i ~ e* и *min ~ men*.

Как я предполагаю, загадочная ремарка Педерсена, приводившаяся в начальной части данной статьи (см. [6, с. 308]), в которой он трактует уральскую гармонию по ряду в качестве инновации, а затем сравнивает индоевропейский аблаут «со многими другими случаями, когда невозможно найти объяснения на внутренней почве» в уральском, должна иметь отношение к межуровневым вариациям, уже изученным в новаторской работе Сетялы [68], в которой использовался подход, позднее встречающийся у Штайнитца и Лехтисало. На самом деле между двумя указанными подходами нет никакого противоречия, если предположить, что чередование гласных по подъему было более древним, тогда как гармония по ряду являлась уральской инновацией.

Несколько сходная ситуация наблюдается в тюркских языках (за исключением чувашского), где система гармонии по ряду (без нейтральных гласных, подобно тем, что были установлены для уральского), несомненно, является унаследованной.

Система гласных в том виде, в каком она встречается почти во всех тюркских языках и реконструируется также для прототюркского, представлена на рис. 6.

Передний ряд	Задний ряд
<i>i</i> <i>ï</i>	<i>ʏ</i> <i>u</i>
<i>e</i> <i>ö</i>	<i>a</i> <i>o</i>

Рис. 6.

Тем не менее пример вариации между гласными верхнего подъема, приводившейся выше в отношении глагола в значении «давать» (др.- тюрк. *bir*: осман. *ver* «давать»), ни в коей мере не является изолированным. Так, даже внутри древнетюркского, который в диалектном отношении был гетерогенным (орхонские, енисейские надписи, уйгурские рукописи), многие слова, основа которых содержит *i*, имеют вариант с *e* без какой-либо регулярности соответствий. В общем в тюркских языках, как отмечает Менгес, между *e* и *i* наблюдается варьирование, «часто имеющее место в одном и том же диалекте данного языка» [69]. Некоторые авторы пытались объяснить это, предполагая наличие третьего гласного, среднего между *e* (часто пишущегося в виде *ä*) и *i*. Сходным образом, наряду с вариацией *e* ~ *i*, в древнетюркском имело место и спорадическое чередование по подъему между *a* и *ʏ*, ср. *byrt-* и *bart* «ломать» [58, с. 49]. Тюркские языки демонстрируют также межъязыковую вариацию между *o* и *u*, ср. *sora*, *sura* «спрашивать», и между *ö* и *ï* (ср. *söjla* и *süjla* «говорить»). Менгес [69] пишет, что такая вариация для алтайских языков является обычной.

В тунгусском, традиционно считающемся третьей ветвью алтайской семьи, все языки либо имеют систему гармонии по подъему, либо систему, исторически производную от нее. Бенцинг здесь восстанавливает четыре пары гласных, различающиеся в отношении подъема [61]. Русские исследователи заметили, что в ряде языков имеются различия по звонкости между рядом нижних гласных, называемых ими «твердыми», и рядом более высоких гласных, называемых «мягкими». Согласно сообщению Новиковой, в восточных диалектах эвенского твердые гласные являются фарингализованными [70].

Эвенская система гласных показана на рис. 7; количественные различия здесь игнорируются.

Мягкие	<i>i</i>	<i>u</i>
Твердые	<i>i</i>	<i>U</i>
Мягкие	<i>e</i>	<i>o</i>
Твердые	<i>a</i>	<i>o</i>

Рис. 7. Эвенская система гласных

С типологической точки зрения эта система разительно напоминает многие вокалические системы языков Западной и Восточной Африки (например, акан, масаи). Исследователи показали, что здесь мы имеем дело с [+ATR], т. е. с качественным различием гласных по признаку выдвинутости или втянутости корня языка. В тунгусских языках «мягкие» гласные должны обладать признаком +ATR, тогда как «твердые» гласные — признаком —ATR. К такому выводу я пришел самостоятельно и лишь позднее обнаружил, что Ард [71] пришел к нему еще раньше.

Как нам известно опять же из африканских языков (а к ним можно добавить и юго-восточноазиатские языки), системы с различием гласных по подъему исторически легко производны от систем, в которых имеется различие по признаку [+ATR]. Более того, четыре пары тунгусских гласных могут соответствовать чукотской системе с ее тремя парами гласных и с дополнительным нейтральным гласным (в основе которого

лежат верхние или нижние гласные), равно как и древне- и среднекорейской системе с ее тремя парами гласных плюс один нейтральный гласный *i*.

Тем не менее здесь, как это часто бывает в исторической лингвистике, возникают трудности. Поппе [15] и другие ученые, реконструируя протоалтайский, приравнивали передние гласные тюркских и монгольских языков к тунгусским гласным, наделенным признаком +ATR, а задние гласные этих языков — к тунгусским гласным с признаком — ATR. Я полагаю, что с учетом данных также и корейского и других евразийских языков система гласных, обладающая различием по признаку [+ATR], являлась исходной, тогда как контраст гласных по ряду в тюркских и монгольских языках является вторичным. Независимо от того, какая точка зрения оказалась бы верной, альтернатива *i ~ e*, обсуждаемая в данной статье, должна была возникнуть из более высокого [переднего, +ATR] члена двух различающихся пар гласных, и поэтому она должна была обладать такими же, а не различными гармоническими признаками. Настоящая статья является лишь предварительной в этом направлении, и требуются дальнейшие усилия в этой очень сложной области исследования.

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы показать чрезвычайную древность индоевропейского аблаута *e : o* (т. е. *e : a*), который представляет собой часть более обширной системы чередований, имеющей соответствия в специфических формах ряда других групп евразийской семьи языков. В частности, рассмотрено чередование *i ~ e*, главным образом на материале интеррогатива *kwi-* и ближнедейктического и анафорического *i-*.

Помимо этого, относительно индоевропейского окаменелого суф. *-ne*, представленного в неопределенном и обобщающем местоимении *kwe-ne*, предложена теория, согласно которой *-ne ~ na* в праевразийском первоначально представляло собой показатель ед. числа абсолютива или номинатива, ограниченный вопросительным и/или, возможно, указательным местоимением. Кроме того, можно показать, что нерегулярная дистрибуция гласных по языкам и даже диалектам одного и того же языка, а также появление пар гласных, входящих в систему сингармонических отношений по подъему, являются типичным результатом разрушения таких систем. Это особенно хорошо демонстрируется материалом нивхского языка.

Предположение о том, что индоевропейский аблаут *e : o* является остатком прежней системы гармонии гласных, было уже высказано Кравчуком [72], но он не дает ни каких-либо указаний относительно общей природы подобной системы, ни свидетельств в поддержку своей идеи.

Наконец, мы можем поставить вопрос, могут ли в индоевропейском сохраняться реальные пережитки предложенной системы вокалической гармонии? Подобное можно предположить относительно двух случаев. Одним из них является обычное хеттское неопределенное местоимение, в котором номинатив *kuis-ki* «кто?» контрастирует с генитивом *kuel-ka* и аблативом *kuez-ka*. Данный случай Кронассер рассматривает в качестве гармонической альтернативы гласных [73], а это чередование определенно соответствует предложенной здесь системе. Тем не менее вариантное написание, вроде *kuis-ku* и *kuis-ka*, предсказывает вероятность того, что на самом деле номинатив представлен формой *kuis-k* (ср. лид. *qis-k*). Другим возможным примером является контраст между индоевропейским редупликативным гласным *i* в системе презенса и гласным *e* в пер-

факте. Для объяснения этого явления, насколько мне известно, не было предложено никакой удовлетворительной теории. Гласный основы презенса *e* и основы перфекта *o* в данном случае находится в полном соответствии с системой вокалической гармонии, предложенной в настоящей статье.

В процессе исследования подчеркивался предварительный характер некоторых высказанных здесь предположений. Я бы добавил, что реальность евразийской группировки как языковой семьи не зависит от высказанных здесь гипотез. В пользу ее будет представлена масса лексических, а также дополняющих их грамматических свидетельств. И тем не менее разительное сходство в том, что касается вопросительного местоимения *kin* ~ *ken* в индоевропейских, уральских, юкагирском, монгольских, нивхском, эскимосском и алеутском языках, является веским свидетельством в пользу общего происхождения языков, в которых оно представлено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Greenberg J. H. Language in the Americas. Stanford, 1987.
2. Greenberg J. H. Studies in African linguistic classification // Southwestern journal of anthropology. 1949—1950. V. 5—6.
3. Pedersen H. Türkische Lautgesetze // ZDMG. 1903. Bd. 57.
4. Pedersen H. The discovery of language: Linguistic science in the nineteenth century. Bloomington. 1931. P. 337.
5. Pedersen H. Zur Frage nach der Urverwandschaft des Indoeuropäischen mit dem Finno-Ugrischen // Mémoires de la société finno-ougrienne. 1933. 67.
6. Pedersen H. Il problema delle parentele tra i grandi gruppi linguistici // Acts of the third international congress of linguists (Rome, 1933). Florence, 1935.
7. Antilla R. An introduction to historical and comparative linguistics. N. Y., 1972. P. 320.
8. Cowgill W. Indogermanische Grammatik. Bd. I. Heidelberg, 1986. P. 13.
9. Иллич-Свитыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
10. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern, 1959.
11. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков / Под ред. Цинциус В. И. Л., 1975—1977.
12. Gusmani R. Lydisches Wörterbuch. Heidelberg, 1964. S. 33.
13. Batchelor J. An Ainu-English-Japanese dictionary. 2-nd rev. ed. L., 1985.
14. Добротворский М. М. Айнско-русский словарь. Казань, 1875.
15. Poppe N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Teil 1: Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
16. Ramstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. Bd. 1—2, Helsinki, 1952.
17. Patrie J. The genetic relationship of the Ainu language. Hawaii, 1982.
18. Dolgopolskiy A. B. A long-range comparison of some languages of Northern Eurasia: Problems of phonetic correspondence // Proc. of the Seventh International Congress of anthropological sciences (Moscow, 1960). V. 5. Moscow, 1964.
19. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Т. I. М., 1971.
20. Dolgopolskiy A. B. On personal pronouns in the Nostratic languages // Festschrift für Bj. Collinder. Wien, 1984.
21. Typology, relationship and time. / Ed. and transl. by Shevoroshkin V. V. and Markey T. Z. Ann Arbor, 1986. P. 50.
22. Rejsks K. The Ainu language: the morphology and syntax of the Shizunai dialect. Aarhus, 1986.
23. Чейка М., Лампрехт А. Ностратичната ипотеза. Съвременното състояние и перспективи // Съпоставително езикознание. 9. София, 1984. С. 86.
24. Hübschmann H. Das indogermanische Vokalsystem. Strassburg, 1885. S. 193—194.
25. Güntert H. Indogermanische Ablautprobleme. Strassburg, 1916. S. 28—29.
26. Kretschmer P. Indogermanische Accent- und Lautstudien // KZ. 1896. Bd. 31. S. 378.
27. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2-te Aufl. Bd 1. Strassburg, 1897—1916.
28. Leskien A. Handbuch der altbulgarischen Sprache. 5-te Aufl. Heidelberg, 1910. S. 17.
29. Senn A. Handbuch der litauischen Sprache. Bd 2. Heidelberg, 1966. S. 78.
30. Meillet A. Le Slave commun / Ed. par Vaillant A. P., 1934. P. 48.

31. *Schwyzler E.* Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik. Bd 1. München, 1966. S. 135.
32. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
33. *Kurylowicz J.* L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
34. *Szemerényi O.* The new look of Indo-European reconstruction and typology // *Phonetica*, 1967. 17.
35. *Mayrhofer M.* Indogermanische Grammatik. Bd I. Heidelberg, 1987.
36. *Schmidt-Brandt R.* Die Entwicklung des indogermanischen Vokalismus. Heidelberg, 1973.
37. *Baldi P.* An introduction to Indo-European languages. Carbondale, 1983. P. 16.
38. *Szemerényi O.* Introducción a la lingüística comparativa. Madrid, 1978.
39. *Мельничук А. С.* О генезисе индоевропейского вокализма // ВЯ. 1979. № 5, 6.
40. *Paltaitis M. L.* The new look of Indo-European declension: Thematic stems // *IF*. 1981. Bd 86.
41. *Speirs A. G. E.* Proto-Indo-European laryngeals and Ablaut. Amsterdam, 1984. P. 39.
42. *Pedersen H.* Zur Akzentlehre // *KZ*. 1904. Bd 39.
43. *Kurylowicz J.* L'indoeuropéen connaissait-il *u* à côté de *o*? // *Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacques van Ginneken*. P., 1937. P. 205.
44. *Saussure F.* Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.
45. *Ramstedt G. J.* A Korean grammar // *MSFOu*. 1939. 82.
46. *Bogoras W.* Chukchee // *Handbook of American Indian languages*. 2 / Ed by Boas F. Washington, 1922. P. 767—768.
47. *Володин А. П.* Ительменский язык. Л., 1976. С. 216.
48. *Bechtel F.* Die griechischen Dialekte. Bd 1—3. B., 1921—1924. S. 180.
49. *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1—2. Heidelberg, 1960—1970.
50. *Bailly M. A.* Dictionnaire Grec-Français. P., 1895.
51. *Prellwitz W.* Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache. Göttingen, 1905.
52. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. P., 1968—1980.
53. *Hofmann J. B.* Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München, 1950.
54. *Buck C. D.* Introduction to the study of Greek dialects. Boston, 1910. P. 45.
55. *Lidell H. G., Scott R.* A Greek — English lexicon. 8-th ed. N. Y. 1897. (9-th ed. Oxford, 1940).
56. *Curtius G.* Grundzüge der griechischen Etymologie. Bd. 1—2. Leipzig, 1858—1862.
57. *Редеи К., Эрдели И.* Сравнительная лексика финно-угорских языков // *Основы финно-угорского языкознания*. Т. 1. М., 1974.
58. *Gabain A.* Alttürkische Grammatik. 2-te Aufl. Leipzig, 1950.
59. *Collinder B.* Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Studie // *Acta Universitatis Upsaliensis*. 1968. № 1—4. S. 56—57.
60. *Setälä E. N.* Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen-samojedischen Sprachen // *JFSFOu*. 1902. V. 30. № 5. S. 32—33.
61. *Benzing J.* Die tungusischen Sprachen. Versuch einer vergleichenden Grammatik // *Abhandl. der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaft und der Literatur Mainz*. 1955. № 11.
62. *Панфилов В. З.* Грамматика нивхского языка. Ч. I. М.; Л., 1962.
63. *Hayata T.* A note on vowel harmony in Middle Korean // *Gengo Kenkyuu*. 1975. 68.
64. *Martin S. E., Lee Y. H., Chang S.-U.* A Korean-English dictionary. New Haven; London, 1967.
65. *Steinitz W.* Geschichte des ostjakischen Vokalismus. B., 1950.
66. *Itkonen E.* Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe in Tscheremissischen und in den permischen Sprachen // *Finnisch-Ugrische Forschungen*. 1954. 31.
67. *Collinder B.* Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960.
68. *Setälä E. N.* Ueber den vorfinnischen Vokalismus // *JFSFOu*. 1896. V. 14. № 3.
69. *Menges K.* The Turkish languages and peoples. Wiesbaden, 1968. P. 75.
70. *Новаикова К. А.* Эвенский язык // *Языки народов СССР*. Т. 5. 1968.
71. *Ard J.* A sketch of vowel harmony in the Tungusic languages // *Studies in the languages of the USSR* / Ed. by Comrie B. Edmonton, 1981.
72. *Крачук Р. В.* Индоевропейский аблаут *e : o* — результат исчезнувшего сингармонизма? // *Типология и взаимодействие славянских и германских языков*. Минск, 1969.
73. *Kronasser H.* Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956. S. 48.

Перевел с английского *Чурижба В. А.*

ВИНТЕР В.

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ
ОБ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ *

К. Д. Бак выразил общепринятое мнение, когда написал [1]: «Ни один класс слов, и даже термины родства, не является столь устойчивым в сохранении исконных единиц, как числительные.

За исключением некоторой вариантности суффиксов и субституции, имеющей место в случае числительного „один“ (13, 32), и.-е. слова со значением от „одного“ до „десяти“ сохранились везде с незначительными изменениями (не считая фонетических); то же верно и для и.-е. слова со значением „сто“, в то время как для „тысячи“ выделяется несколько различных групп».

Далее Бак перешел к замечаниям по поводу числительных второго десятка, обозначений десятков и порядковых числительных (оставив без внимания обозначения сотен), указывая на различные непоследовательности в этих системах, но не чувствуя необходимости даже в слабом обосновании своего начального утверждения. Не будет, однако, неправомерным переформулировать его тезис следующим образом: «Ни один класс слов (в и.-е. языках) не оказался столь устойчивым в сохранении исконных единиц, как числительные от „двух“ до „десяти“».

Даже при этом «ослабленном» варианте исходного утверждения часть фактов остается неучтенной. Некоторое время тому назад, обсуждая возможность использования свидетельства аналогического изменения как указания на семантическую структуру, я сопоставил [2, с. 34—35] те формы низших количественных числительных в санскрите, греческом, латинском, германском (представленном современным нижненемецким), славянском (в частности, русском), балтийском (в частности, литовском), тохарском (В) и армянском, которые претерпели нерегулярное развитие под влиянием соотносимых с ними количественных числительных. За исключением «десяти», ни одно из низших количественных числительных не осталось незатронутым. Тогда эти данные были истолкованы мною как свидетельства в пользу вполне естественного предположения о том, что низшие числительные образуют тесно связанное семантическое поле с достаточно хорошо определяемой внутренней структурой. Я отверг предположение, согласно которому причиной аналогического изменений явилась последовательность актуального счета, основываясь на том факте, что аналогическая переинтеграция более обычна для порядковых числительных, чем для количественных, а перечисление порядковых числительных, не прерываемое включением других форм, слишком неестественно в речевом употреблении и не могло бы вызвать, скажем, появление скр. *dvitīyah* «второй» под влиянием скр. *trītiyah* «третий» [2, с. 38]. Захо-

* Англоязычная версия этой статьи была прочитана в качестве доклада на симпозиуме памяти сэра Уильяма Джонса в 1986 г. в Калькутте (Индия).

тим ли мы принять это предположение или нет, остается фактом, что даже низшие количественные числительные не проявляют той устойчивости по отношению к нерегулярным изменениям, которую им приписывает Бак. Вместе с тем нельзя отрицать, что числительные от «двух» до «десяти» отражают, хотя кое-где и с незначительными искажениями, систему вполне надежно реконструируемых праиндоевропейских форм.

Однако даже в этих формах обнаруживаются свои проблемы. «Два» представляет собой дуалис тематической основы **dw^o/o-*; «три» — форму множественного числа основы **trey-*, подвергшейся аблаутному чередованию. Более интересно «четыре»: это также множественное число, но основа не простая, а имеет в мужском роде вокалическую модель **-e...o-*, свойственную композитам. Последнее, однако, остается утверждением в терминах одной лишь формы: оно не может быть обосновано идентификацией двух элементов композита с сохранившимися простыми основами или корнями. «Четыре», таким образом, остается, несмотря на свою формальную сложность, немотивированной лексемой, по крайней мере на том уровне реконструкции, который может быть достигнут имеющимися у нас методами.

Отсутствие мотивации не чуждо низшим числительным. Так, кажется невозможным обнаружить связь **septm* с каким-либо другим элементом праиндоевропейского словаря: «семь» значит просто «семь» и ничего более. Это следует вовсе не из того факта, что **septm* — странная форма; остается соблазнительным отождествить конечное **-m* с аккузативным окончанием основ на согласный. Даже если признать **-t-* вариантом согласной основы от **-ti-*, обнаруживаемым в других количественных числительных, **sep-*, хотя уже и приемлемое в терминах праиндоевропейской структуры корня, все же оставалось бы изолированным: если даже в самом деле **sept-* первоначально обозначало «семерку», а не просто «семь», исходное **sep-* все равно бы обозначало только «семь».

Кроме того, остаются дополнительные проблемы, имеющие существенное значение. Нам пришлось бы предположить обобщение аккузативной формы; само по себе это не исключено, ср. распространение продолжений латинского аккузатива в старофранцузском. Несколько менее ожидаемым показалось бы, на первый взгляд, появление формы единственного, а не множественного числа; это возражение может быть отведено ссылкой на то, что если **sept-* в действительности означало «семерку», то ожидается именно форма единственного числа, ср. множественное число, употребляемое при склонении русск. *три*, и, напротив, формы единственного числа в склонении слова *пять* и т. п. Остается без ответа вопрос, почему только «семь» выражалось абстрактным существительным? Или же особый статус мог быть присвоен числительному, которое, возможно, употреблялось для обозначения четверти лунного месяца? Я предпочитаю ограничиться допустимым решением и оставить дело так, нежели усложнять проблему рассуждениями, отсылающими к возможности заимствования числительного «семь» из семитского языка (ср. [3], где, конечно же, привлекается теория Urverwandschaft).

В прошлом предпринимались попытки найти мотивацию других низших количественных числительных. Тот факт, что слово для «восьми» обнаруживает окончание дуалиса мужского рода, воспринимался как указание на наличие в праиндоевропейском старой четверичной системы. Сам по себе этот вывод скоропалителен. Даже если авест. *ašti-* «ширина четырех пальцев» (см. [4]) может быть принято за указание на соотв. праи. -е. **okto-*, которое предварительно истолковывается как «принадле-

жащее к группе из четырех» (и все же никак не связанное с праи.-е. **k^wetwores* «четыре»), праи.-е. **oktōw* содержит не более чем намек на систему или подсистему, в которой при обозначении не простых чисел могло употребляться умножение.

Гипотеза четверичности была бы значительно усилена, если бы удалось сделать более приемлемым старое предположение [5] о том, что слово «девять» связано со словом «новый». Если греч. *nearós* «юноша», арм. *nor* «новый» могут быть оба возведены к праи.-е. существительному с *-*r*-основой **newr*, то не исключено, что наряду с *-*r*-основой могла также иметь место и *-*n*-основа. **newr* тогда могло бы быть немаркированным локативом (ср., с другой ступенью аблаута, др.-инд. *udán* «в воде»); его значение «в новом» могло бы быть усилено суф. **en* «в», который в таком случае был бы отражен в греч. *ennéa*, арм. *inn* «девять». Если бы эта интерпретация была верна, очевидно избыточное наращение **en* могло бы составить совместную греческо-армянскую инновацию. Если же, с другой стороны, греч. *e-* и арм. *i-* — «протетические гласные», они должны рассматриваться как отражение праиндоевропейского ларингала, а в таком случае как совместная инновация, так и связь с «новым» должны быть исключены из нашего списка потенциальных гипотез, касающихся греч. *ennéa* и арм. *inn*. Как бы то ни было, утверждение о присоединении **en* дает хорошее объяснение (удвоенному) -*nn-* в греч. *ennéa*; с другой стороны, греческое порядковое числительное *énatos* / *eínatos* / *énatos* / *énotos* «девятый», которое, по-видимому, продолжает раннее **enwanos* (ср. *mutatis mutandis* [6]), остается необъясненным, пока не выдвинуты дополнительные предположения.

Подведем итоги сказанному. Мне кажется, что аргументы в пользу связи значений «девять» и «новый» недостаточно весомы, чтобы считать доказанной гипотезу, согласно которой «девять» открыто маркировало включение нового разряда числительных; еще менее обоснованным может считаться предположение, что праиндоевропейский в некоторый момент своей предыстории обладал четверичной системой. На примере осет. *farast* «девять» буквально «за восемью» Абаев [7] показывает, что «восемь» было круглым числом, по крайней мере, в глазах осетин, но он достаточно осторожно прибавляет: «так же, как и „десять“», что не позволяет упоминать осетинскую форму как аргумент в пользу четверичной гипотезы.

Семереньи [8, с. 78—79] перечисляет аргументы, которые могут быть приведены в пользу реконструкции **wéks* для индоевропейских форм со значением «шесть». Затем в сноске 55 он предполагает связь с праи.-е. *(*H*)*weks-* «расти», «так что „6“ могло быть „приростом“ после первой „руки“», **s-* в распространенном **sweks* он считает „вторичным“, «очевидно, из последующего числительного „семь“». Если эти предположения оправданы, «шесть» в самом деле окажется очевидным случаем мотивации меньшего количественного числительного. Хотя опорная часть доказательства кажется хорошо обоснованной, ряд деталей требует дальнейшей разработки.

Прежде чем установить в качестве источника индоевропейских форм для «шести» корневое имя **Awéks* «прирост», необходимо объяснить колебание, обнаруживаемое между формами с *-*w-* и без *-*w-*, а также начальные скр. *š-*, др.-инд. **kš-*, отраженное в средне- и новоиндийских формах с начальным *ch-*, авест. *xšv-*, слав. *š-* и литов. *š-*.

Др.-инд. **kš-* и авест. *xšv-* отражают рефлекс праи.-е. **s* регулярно

по правилу «руки». Скр. *š-* закономерно, если может быть реконструировано окружение «руки»; с тем же условием закономерно балто-славянское *š-* перед *-e-*. Допустить праинд.-е. **ksw-* с упрощением первоначального кластера в большинстве языков-потомков означало бы реконструировать нечто чудовищное, нарушающее все известные нам правила структуры корня и возможных сочетаний в праиндоевропейском. Если же **k-* не может быть частью корня или собственным началом слова «шесть», как-то могло быть его происхождение?

Нет никаких оснований предполагать наличие префикса **k-*, так как ему не может быть приписано никакого значения и функции; к тому же вовсе не кажется возможным, чтобы сочетание **ksw-* могло обойтись без отпадения согласных или вставки гласных.

Окружение «руки», таким образом, надо искать вовне, а именно перед лексемой «шесть», которая в самом деле может быть реконструирована почти как и у Семереньи [8, с. 78] в виде **sweks*.

Слово, которое можно ожидать перед «шестью» в упорядоченной последовательности количественных числительных — неважно, была ли эта последовательность представлена в актуальном счетном перечислении или же скорее в памяти говорящих, реконструируемой по свидетельству аналогического выравнивания (как указывалось выше), — это слово «пять». Но это наблюдение, как кажется, ведет нас в тупик: совместное свидетельство числительных скр. *pāñca*, греч. *pénte*, арм. *hing* (если его рассматривать в связи с арм. *hngetasan* «пятнадцать»), тох. В *piś*, А *pāñ*, не оставляет сомнения в том, что исходное праиндоевропейское слово может быть реконструировано как **penk^we*; а это, в свою очередь, означает, что «пять» не обеспечивает окружения «руки», поскольку **k^w-* не примыкает непосредственно к **s-* в **sweks*.

Однако несмотря на легкость реконструкции, праинд.-е. **penk^we* не оказывается долгоживущей индоевропейской формой. Против этого может быть выдвинуто два аргумента: во-первых, **penk^we* содержит два гласных полной ступени, что является нарушением старых правил аблаута. Второе соображение столь же серьезно. Употребление порядкового суф. **-to-* за пределами «десятого» является вторичным, как указывает, в частности, Семереньи [8, с. 86—87]. Следует согласиться с Семереньи [8, с. 85]: «...неизбежно напрашивается вывод, что „5-й“... первоначально был **penk^wo-* или даже **pñk^wo-*». Достаточно странно, что сравнительный материал убедительно свидетельствует в пользу полной, а не нулевой ступени (ср. греч. *pémplos*, лат. *quintus*, др.-в.-нем. *fimfto*, литов. *penktas*, тох. В *pinkte* vs. др.-инд. *pakthá/h* и, возможно, невзирая на резкие возражения Семереньи [8, с. 71—74], также формы как верхне-, так и нижне-немецкого: в моем собственном диалекте нижне-немецкого здесь можно упомянуть *di föfti* «пятая» наряду с *fif* «пять»). Перевес явных форм с полной ступенью засвидетельствован в «шестом» — даже там, где сохранилось **sw-*, и, конечно, в «седьмом», где формы нулевой ступени от **sept-* противоречили бы правилам праиндоевропейской слоговой структуры. Здесь, однако, важно отметить, что порядковые числительные проявляют след конечного **-e* «пяти» только в некоторых явно вторичных образованиях (ср., например, [9, с. 808]). Поскольку **p(e)nk^wos* сегментируется как **p(e)nk^wo-s*, мы вправе предположить, что **-e* в **penk^we* представляет собой вторичное развитие (сравнимое с *-e* 3 л. ед. ч. перфекта), введенное с тем, чтобы сохранить исконное **penk^w-* с конечным сочетанием согласных **-nk^w##*, запрещенным в качестве свободной поверхностной формы.

Альтернативой присоединению «пустого» вспомогательного гласного могло бы стать отпадение конечного $*-k^w$; очень сомнительно, однако, чтобы эта разрушительная альтернатива когда-либо приводила к использованию основы $*pen-$ в порядковых числительных. Свидетельство греч. диалектн. *péntos*, тох. А *pänt* «пятый» кажется недостаточным для подобного предположения.

Тем не менее в быстро производимой счетной последовательности могла выступить и форма $*penk^w$, поскольку словесная граница между «пятью» и «шестью» была устранена, и «шесть» могло поддерживать «пять». В результате подобного развития могли продействовать фонологические процессы, заблокированные границей слова: как в английской речи последовательность $-s + s-$ в *six seven* при медленном счете редуцируется до одного $-s-$ при быстром счете [*sikssev̩n*], так же и конечное $*-k^w$ основы $*penk^w$ «пять» создает подходящее окружение для непосредственно примыкающего начального $*s-$ в «шести», вызывая тем самым применение правила «руки» в индоиранском и балто-славянском. Таким образом, последовательность «пять-шесть» могла в праиндоиранском выглядеть как $*rank^{(w)}suac$ (я сохранил велярный элемент в лабиовелярном, чтобы объяснить разницу между скр. *ṣaṭ* и авест. *xšvaš*, см. ниже), а в прабалто-славянском — как $*penkšes̃$. Разложение последовательности $*-nk^{(w)}s-$ могло далее породить формы для «шести» с различным началом: $*š-$ в скр. *ṣaṭ*, литов. *šeši*, ст.-слав. *шесть*; $*kš$ в той древнеиндийской форме, которая была источником современного индийского *ch-*, и в хотаносакском *kṣai*; $*kšw-$ в авест. *xšvaš*. Таким образом, $*k^w$ оставалось в «пяти» или интерпретировалось как присутствующее в «пяти» и «шести», так что вставка вспомогательного $*-e$ могла привести к возвращению к $*penk^we$ даже на основе редуцированной (*allegro*) формы [нет, однако, необходимости на этом настаивать: редуцированная и полная (*lento*) формы могли существовать параллельно, так что нам остается просто предположить, что формы, затронутые правилом «руки», могли войти в число полных, замещая там формы с обычным началом $*s(w)-$].

Армянский, как кажется, проявляет особый рефлекс редуцированной конфигурации: если Ольсен [10] права, выводя арм. *ves* «шесть» из раннего $*huwe$, тогда отклоняющаяся вставка $*-u-$ по правилу Зиверса — Эджертона легко объяснима, если мы рассмотрим $*swe-$ как возникшее в позиции после сочетания согласных $*-nk^{(w)}$ из редуцированной формы «пяти».

Распределение $*s-$ и $*sw-$ нерегулярно; явные примеры $*-w-$ встречаются в авестийском, армянском, греческом, кельтском и балтийском (такие формы, как др.-прусск. *uschts* «шестой», по-видимому, указывают на диссимилятивную редуцию $*šus̃tas$, а не на сохранение формы без начального $*s-$, как это хотел бы видеть Семереньи [8, с. 78]). Простейшее объяснение этого распределения — допустить, что $*-w-$ выпало по диссимиляции с губным элементом лабиовелярного в «пяти», — или по дистантной диссимиляции в полной модели, или, что скорее всего, по контактной диссимиляции в редуцированной последовательности.

Предположение относительно диссимиляции предполагает сравнительно позднее сохранение лабиовелярных в сатэмных языках; поскольку именно на это указывают данные албанского и армянского, сделанное выше предположение не должно быть полностью отвергнуто, но может быть сохранено как вариант.

О. Семереньи в работе 1986 г. присоединяется к другим авторам, которые до него предполагали, что праи.-е. $*dekmt$ следует анализировать как $*de-kmt$ «две руки». Трудность здесь остается в том, что свидетельства

в пользу форм для «двух» без *-w- в лучшем случае шатки. Хотя «две руки» может быть совершенно оправданным обозначением «десяти» в пятеричной системе, все здесь зависит от того, удастся ли показать, что праиндоевропейский обладал такой пятеричной системой хотя бы в пределах первой десятки числительных. Чтобы доказать это, следует убедиться, что *penk^w имеет отношение к индоевропейским обозначениям руки. Уже предполагалась связь между *penk^we «пять» и др.-в.-нем. *fūst*, др.-русск. *пясть* «кулак» (литературу см., например, в [9, с. 839; 11, с. 477]). Суф. *-st- не чужд — главным образом парным — обозначениям частей тела (ср., например, др.-инд. *muṣṭīh*, тох. В *maſce* «кулак», литов. *kūmstė* «кулак»). В таком случае *penk^w могло бы первоначально обозначать руку, сжатую в кулак; с этим можно было бы сопоставить *okto-, отраженное в авест. *ašti-* «ширина четырех пальцев» и праи.-е. *oktōw «восемь», что могло бы означать вытянутые четыре пальца, с большим пальцем, прижатым к ладони.

По-видимому, пора подвести итог сказанному выше. Низшие количественные числительные до «трех» представляют собой немотивированные формы. «Четыре», представляющееся словосложением, пока не поддается анализу. «Пять» при точном анализе оказывается мотивированным образованием, причем первоначальное значение *penk^w — «кулак». «Шесть» может быть в конечном счете сокращенным выражением: «приращение (пяти)». «Семь» не поддается анализу; не может быть полностью исключена возможность того, что это очень старое заимствование из семитского. «Восемь», быть может, значит «два раза по четыре (вытянутых) пальца». Пока «девять» не может быть связано с «новизной» (что сложно ввиду некоторых греческих форм), оно остается неразложимым. Для «десяти» предложена интерпретация «две руки», что по значению звучит убедительно; трудности, однако, вызывает *de-, а также тот факт, что «два» в таком случае выражено числительным, а не формой двойственного числа от «руки».

Все высшие количественные числительные, начиная с «одинадцати», являются синтагмами (в широком смысле слова), т. е. они основаны на низших числительных либо деривационно, либо в результате процессов словосложения или сочетания слов, с возможным эллиптическим сокращением сложных форм. Это — вполне естественное положение вещей. Числа являются открытым семантическим полем (по крайней мере, потенциально, — хотя носители многих языков прекращают счет на очень раннем этапе); если только счетный потенциал не остался неразвитым, в принципе невозможно назвать наибольшее число любой разработанной системы. Признак открытости делает непрактичным использование лексических единиц для более чем нескольких низших чисел; ситуация в современном индоарийском, где все числа в первой сотне отнесены к словарю в качестве единиц, которые должны заучиваться по отдельности, а не образовываться по очевидным правилам, представляет собой совершенно особый и трудно (если вообще) объяснимый случай.

Для того, чтобы справиться с потребностями бесконечного универсума чисел, требуется набор стресевых элементов и набор операций, которые могут быть к ним применены.

Теоретически возможно задать бесконечное множество единиц (оставляя в стороне дроби) на основе одного элемента, а именно единицы, и одной лишь операции, а именно сложения. Такое решение полностью непрактично, что легко может быть продемонстрировано. Например, если я скажу, лучше всего в ровной интонации: «один» + «один» + «один» +

+ «один» + «один» + «один» + «один» + «один» + «один» + «один», а затем спрошу вас, что за число я только что назвал, не многие слушатели смогут дать правильный ответ, а именно «десять». Если же, с другой стороны, я сообщу вам, что в бантава рай, тибето-бирманском языке восточного Непала, *chuk* значит «рука», *ʔükchuk* «одна рука; пять» и что *hüwa-* — один из вариантов для «двух», употребляемый в сложных формах, вряд ли у многих возникнут трудности с пониманием того, что *hüwachuk* значит «десять». Здесь нет никакой сложности, потому что мы все умеем применять, кроме сложения, и другие операции, например, умножение. То, что требовалось умножение, а не сложение или вычитание, видно из того, что вам дана сложная форма *ʔükchuk*, что означает «одна рука = $1 \times$ рука = пять», но не «один плюс рука = шесть» или «рука минус один = четыре». Логически возможная операция *ʔükchuk* «одна рука = пять разделить на один = пять», с тем, чтобы *hüwachuk* означало «пять разделить на два = 2,5», наверное, никому не придет в голову, потому что эффективность деления (так же, как и вычитания) весьма ограничена во множестве натуральных чисел: без использования других, конфликтных, операций с задачей формирования все больших чисел было бы невозможно справиться.

Теоретически для обозначения множества целых чисел необходимы лишь операции лексикализации или сложения, но практически для этой цели обе не применяются. Тотальная лексикализация, с одной стороны, слишком громоздка для хранения в памяти и для заучивания, чтобы использовать ее для чего-либо, кроме очень коротких последовательностей чисел (ситуация в современном индоарийском представляет крайний случай лексической экспансии). С другой стороны, потребовалось бы создание новой лексической единицы для каждого нового числа, которое потребуется выразить, что постоянно усложняло бы проблему хранения и заучивания; кроме того, имеются достаточные свидетельства того, что создание чего-либо ex nihilo весьма редко обнаруживается в естественных языках.

Сложение как таковое, как мы только что показали, влечет другие трудности: имеются достаточно строгие ограничения на объем человеческого восприятия, поскольку речь идет о количестве элементов, которые могут быть перечислены без естественно предусмотренных пауз. Очень немногие слушающие смогли бы правильно идентифицировать значение достаточно высоких чисел, если бы они были выражены последовательностью «единиц».

Умножение не применяется ко всему множеству целых чисел по простой лингвистической причине: простые числа не могут быть представлены в виде произведений. Одно лишь вычитание могло бы использоваться, если бы речь шла о конечном множестве чисел, наибольший элемент которого мог бы быть взят в качестве исходной точки. Однако такое множество было бы лишено возможности произвольно увеличиваться и потому оказалось бы малоупотребительно. Деление, взятое само по себе, страдает как от недостатков, обратных недостаткам умножения, так и от недостатков вычитания; оно может, таким образом, употребляться лишь ограниченно в особых условиях.

Оптимальным решением оказывается, таким образом, сочетание сложения и умножения; вторичным процессом, по мере того как выражаются некоторые сравнительно низшие числительные, является присоединение к лексикализованным высшим числам числительных, не образованных от меньших единиц. Еще один пример, для простоты представленный

в переводе, из тибето-бирманского. Параллельные обозначения для «двадцати» включают одно произведение «четыре руки» и одну независимую форму, а именно «куча» (ср. англ. *score* «зарубка, счет» и «двадцать»). «Двадцать один» может быть выражено либо как «четыре руки плюс один», либо «одна куча плюс один». Второй способ, очевидно, страдает той же слабостью, что встретила при чисто лексическом решении: слишком много существительных должно заучиваться и сохраняться в памяти. Отметим, что даже языки с развитым использованием лексикализованных числительных, такие, как современные индоарийские, распространяют этот подход лишь на немногие числа выше «ста» — есть «тысяча», «сто тысяч», «десять миллионов», но нет отдельной лексической единицы для, скажем, «пятисот» или «двенадцати тысяч».

Умножение — очень эффективный способ сокращенного выражения высших чисел; сложение и, реже, вычитание — средства выражения тех чисел, которые не могут быть представлены как произведения множителя или сомножителей, применяемых в данной системе счисления. Так, если, как в языке группы юма в Калифорнии, «шесть» выражается как «дважды три», а «девять» — как «трижды три», «восемь» нужно будет соотнести либо с «шестью», либо с «девятью» с помощью соответственно сложения или вычитания, или же используется отдельная лексическая единица (если при этом «четыре» также не является множителем, так что «восемь» оказалось бы «дважды четыре»; «семь», однако, ни в коем случае не может быть образовано умножением).

Представляется естественным избрать возможно больший множитель в качестве основы для больших числительных, очевидно, имея в виду, что выбранное таким образом числительное должно быть синхронно неразложимо. По мере того как счет переходит на большие числа, может быть избрано более одного множителя. Таким образом, в языках мира довольно распространено сочетание пятеричной и двадцатеричной систем; современные индоарийские языки переходят от системы с «сотней» как единицей умножения к высшим системам с «тысячей» и «ста тысячами» в качестве множителей; современный французский начинает с десятеричной системы, затем оборачивается двадцатеричной, затем переходит к «десяти», «сотне», «тысяче», «миллиону» и т. д. в качестве множителей; в тохарском множителями являются «десять», «сто», «тысяча», «десять тысяч» и в контексте, где есть влияние индийской традиции, — «десять миллионов».

Для праиндоевропейского условие, согласно которому числительное, используемое в качестве множителя, должно быть синхронно неразложимым, приводит к выводу о том, что поздний праиндоевропейский был языком с «десятью» и «сотней» в качестве множителей, в то время как ранняя стадия этого языка, на которой «сто» еще отчетливо образовывалась от «десяти», располагала чисто десятичной системой (поскольку речь идет о числительных больше десяти). Высшее числительное «тысяча» в той мере, в какой его различные формы поддаются анализу, по-видимому, содержит ссылку на базовое понятие «ста», будь то эксплицитно, как в гот. *fūsundi* и его германских вариантах, так же, как и в др.-прусск. *tūsintons*, ст.-слав. *тысащѣ*, или же в сокращенной форме, как тох. *V yaltse*, *A wāltse*, рассматриваемые как номинализованные прилагательные (*B -tse*, *A -ts* может означать «имеющий...»), образованные от корневого имени претох. **wel-* соответствие чему в виде *-i-основы может быть усмотрено в слав. **welī*, отраженном ст.-слав. *вельми* «очень» и в позднейших славянских формах (ср. [11, с. 181] со ссылками на предшествующую

щую литературу; тохарские формы см. в [12] и там же литературу; бесполезно искать связь с тох. В *A wälts** «±сгущать»). Германские и балтославянские формы могут быть непосредственно прочитаны как передающие значение «сильная сотня», тохарские как «(сотня) с силой». Было бы весьма желательно связать греч. *khîlioi / kheîlioi / khéllioi / khèlioi*, др.-инд. *sahástram*, авест. *ha-zajrām*, хотаносак *ysāra*, лат. *mille*; однако до сих пор подобные попытки наталкивались на большие трудности (см., например, [13]); подробное обсуждение заняло бы здесь слишком много места.

Если отвлечься от оценки деталей, сбъщая картина остается в значительной степени такой, какой ее описывает Семереньи [8, с. 1]: «„1000“ возникает в виде форм, основанных на и.-е. **gheslo-* в арийском и греческом, возможно, также и в латинском. Это заставляет предположить, что, во всяком случае в южной части индоевропейского ареала, было хорошо известно даже и это число. Но следует также признать, что это же число в других диалектах — особенно в германских и балто-славянском — выражается другими словами. Хотя нет ничего невозможного в том, что **gheslo-* в этих ареалах исчезло, навсрное, надежнее предположить, что слово для „1000“ не было полностью установившимся в поздний период индоевропейской общности».

Сказанное в последнем предложении можно перефразировать способом, более соответствующим формулировкам нашей статьи, а именно: хотя в позднем праиндоевропейском были способы выразить понятие «тысяча», результаты формообразующих процессов были все же настолько различны, что во всей индоевропейской области не могла применяться одна и та же лексикализация. Если окажется допустимым анализировать **gheslo-* как мотивированное способом, сходным с тем, который здесь был предложен для тохарских форм, было бы соблазнительно рассмотреть понятие «сильная сотня» как употребляемое в большем количестве областей (*subareas*), чем в германском, балто-славянском и тохарском, но воплощаемое в различных формах, так что реконструкция формы «тысяча» осталась бы невозможной даже для позднего праиндоевропейского.

Но как обстоят дела с числительными меньше «тысячи»? Действительно ли, как утверждает Семереньи [8, с. 1], «сходство в образовании сотен настолько разительно, что их развитие должно быть отнесено к индоевропейскому уровню»?

Рассматривая засвидетельствованные числительные выше «десяти», мы обнаруживаем, что в сложных числительных имеют место не только вторичные изменения, которые мы можем приписать аналогическим искажением первоначальной картины, но и что операции, применяемые к строевым элементам, представленным низшими (или, реже, высшими) числительными, существенно видоизменялись в периоды; доступные для наблюдения ввиду наличия достаточного количества данных.

Упомяну лишь несколько случаев. «Одиннадцать» и «двенадцать» основаны на «десяти» и «одном» или «двух» соответственно (то же косвенным путем — в германском и балтийском), но применяемые операции различны: «цифра» 1 или 2 может предшествовать либо следовать за «десятью»; компоненты могут быть слиты в единое слово либо сохранен статус словосочетания; составляющие могут быть «десять» плюс цифра либо употребляется еще и союз (*connective*); «десять» может выступать в обычном либо измененном виде; то же самое возможно и с «цифрой» 1 или 2; наконец, изменения могут полностью затемнить составляющие, и «одиннадцать» и «двенадцать» окажутся лексикализованными. Чтобы проиллюстриро-

вать типы представления, будет достаточно несколько примеров (только для «двенадцати»):

Соположение без союза:	тох. В <i>śak wi</i>
Соположение с союзом:	греч. <i>dúo kai déka</i> , тох. А <i>śak wepi</i>
Фузия без союза:	др.-инд. <i>dvādaśa</i> , лат. <i>duodecim</i> , греч. <i>duōdeka</i> , <i>duōdeko</i>
Фузия с союзом:	русск. <i>двенадцать</i>
Измененное «десять»:	арм. <i>erkotasan</i>
Измененное «два»:	греч. <i>dōd. ka</i>
Лексикализация:	франц. <i>douze</i> , хинди <i>bārah</i> .

Если принять во внимание все детали, потребуется более подробная и развернутая классификация, но и эта грубая классификация будет для нас достаточной. Переходя к «восемнадцати» и «девятнадцати», мы обнаруживаем еще более сложную картину: в то время как операции, образующие «одиннадцать» и «двенадцать» вне германского и балтийского, включают сложение с «десятью», формы типа лат. *ūndēvīgintī* «девятнадцать» и *duōdēvīgintī* «восемнадцать» обнаруживают применение вычитания. Примеры, приводимые Швицером [14, с. 594], показывают, что хотя и не систематически, как в латинском, но вычитание все же употреблялось говорящими в греческом при построении числительных, кончающихся на «восемь» и «девять». То, что факультативно вычитание может использоваться и тогда, когда сложение является общим правилом, может быть обнаружено в таких примерах, как обозначения времени типа «6.20» и «6.40» в обычном, неофициальном немецком: *zwanzig nach sechs* «двадцать минут седьмого», но и *zwanzig vor sieben* «без двадцати семь». В этой подсистеме немецкого языка близость к высшему числу вызывает приоритет вычитания над сложением. В английском то же самое применяется к обозначению периодов в 15 минут (*quarter past six*, но *quarter to seven*), а также вообще минут (*twenty past six*, *twenty to seven*), так же, как и в немецком, но обозначения получаса различаются: в английском употребляется сложение (*half-past-six*), в немецком — вычитание (*halb sieben*). Французский в общем следует английской модели (*six-heures-et-quart*, *six-heures-et-demi*, но *sept-heures-moins-quart*). В русском языке система еще сложнее: полные часы обозначаются количественными числительными, как во французском (*в шесть часов = à six heures*), четверть и половина обозначаются по отношению к следующему полному часу, причем последний выражен порядковым числительным (*четверть седьмого «6.15», пол седьмого «6.30»*), для «6.45», однако, используется выражение «без четверти семь». Последняя форма основана на чистом вычитании, но «6.15» и «6.30» в русском языке отличаются тем, что говорящий одновременно отталкивается от точки в будущем (в обозначении часа) и в прошедшем (в обозначении четверти и получаса): здесь мы наблюдаем и вычитание, и сложение, соединенные очень странным образом.

Отметим следующее обстоятельство: в одном и том же языке вариантность нередко достигает удивительных масштабов. Так, «без четверти семь» в современном верхненемецком выражается вариантами *viertel vor sieben* и *dreiviertel sieben*, которые, как мы это видели на примере русского, сильно отличаются по внутренней структуре, хотя, конечно, взятые в целом, обозначают одно и то же. В этом отношении немецкие словосочетания представляют собой хорошую параллель к тому, что наблюдается в случае упомянутых ранее греческих обозначений «двенадцати»: греч. *dúo kai*

déka обнаруживает соположение «двух» и «десяти» с союзом «и»: греч. *duōdeka* и *duśdeko* — фузия без союза; греч. *dōdeka* — фузия с сопутствующим изменением «двух».

Моя цель при рассмотрении таких вариантов, конечно, не в том, чтобы привести по возможности интересный (и даже анекдотический) материал. Прежде всего для меня представляет интерес наблюдение, что, по имеющимся данным, носители языка часто располагают более чем одним путем для обозначения определенных числовых понятий. Напрашивается следующее обобщение:

Если составляющие сложного выражения остаются опознаваемыми и если употребляются лишь стандартные операции, говорящий располагает определенной свободой выбора.

В современном английском один и тот же говорящий может с равной вероятностью сказать *three thousand five hundred dollars* и *thirty-five hundred dollars*, и минутой позже ни он, ни слушающий не смогут вспомнить, какую форму он употребил. В других случаях предпочтение отдается одному варианту: я не припомню, чтобы когда-либо называл свой год рождения *one thousand nine-hundred and twenty-three*, хотя, по-видимому, все говорят про двухтысячный год *two thousand*. По стилистическим соображениям можно сказать *four-score-and-ten years*, а не более естественное *ninety years*, но никто не скажет, что заплатил за такси *four-score-and-ten rupees*. Конечно, правильность, определяемая разнообразными критериями, сама является более важным критерием, чем доступность формы. Но фактом остается то, что вариантность в пределах сферы понятности в принципе допустима, и хотя после периода флуктуации, как правило, один вариант побеждает и становится нормой, имеется достаточно случаев сосуществования вариантов.

Твердой основой лингвистической реконструкции является использование наблюдений над живыми языками. Если мы обнаруживаем, что в пределах семантической полноты в живых языках допускается вариантность и что она является необходимой предпосылкой и объяснением исторических изменений, то было бы методологической ошибкой предполагать, что всякая вариантность, наблюдаемая в языках данной семьи, должна быть отнесена за счет позднейшего развития, а для языка-предка во что бы то ни стало должна быть реконструирована полностью непротиворечивая модель. Конечно, строевые элементы следует считать в целом стабильными, так что определение их вида и, насколько это осуществимо, возможного «основного» значения является достойной целью наших совместных усилий. Но, принимая во внимание наблюдаемую в языках-потомках вариантность в выражении сложных чисел, можно усомниться в том, имеют ли вообще смысл попытки реконструировать такие сложные числа для языка-предка. В лучшем случае мы можем найти основания считать несколько вариантов старыми; выделение лишь одного из них в качестве первоначальной формы делает нас жертвами собственных предрассудков, тем более что сравнительные данные обычно недостаточны, и должна вступить в права вн утренняя реконструкция. Однако внутренняя реконструкция как раз нацелена на получение непротиворечивой модели, а, как мы уже видели, не противоречивость и вариантность не исключают друг друга, но на удивление широко сосуществуют в засвидетельствованных языках.

В связи с этим имеет смысл рассмотреть область сложных числительных с ономастологической точки зрения: как, располагая строевыми элементами, так и ми, как «девять», «десять», «двадцать» и «сто», а также основными арифметическими операциями, мы можем выразить число «девяносто»?

Используя лишь умножение, можно ввести «девятью десять»/«девять десятков» и «десять раз девять»/«десять девяток». Вычитание даст нам «сто минус десять». Сочетание умножения и сложения предполагало бы, например, «четырежды двадцать плюс десять», умножения и сложения, например, «пятью двадцать минус десять». Если имеется «десятка», то «девянство» можно представить как «десятка, связанная с девятью как с множителем», а это возможно разными способами, в том числе используя «девятку».

Умножение засвидетельствовано в следующих случаях:

с «десятью» как множителем, например, ст.-слав. *девятъ десѣтъ*;

с «девятью» как множителем, в гот. *niuntēhund*.

Вычитание обнаруживается в русск. *девянство* (не все детали этой формы ясны).

Умножение и сложение имеют место во франц. *quatre-vingt-dix*, умножение и вычитание в дат. *halvfems*.

Использование «девятки» отмечено в др.-инд. *navatiḥ*.

Без эллипсиса обозначения десятки «девять» обозначается более сложным понятием «связанный с девятью» в греч. *enenēkonta* (аргументация по поводу того, имеем ли мы здесь дело с «девятью» или «девятым», — центральная тема в [6] и [8] — довольно беспредельна: девятый есть не что иное, как специализация более общего значения «связанный с девятью, принадлежащий девяти»); следует отметить, что в греческой форме единственное число «десятки, принадлежащей девяти», перешло во множественное по *constructio ad sensum*.

Частичное, хотя формально нерегулярное обозначение десятки обнаруживается в тох. В *ṅumka*, *A ṅmik* (и, конечно, в таких поздних формах, как англ. *ninety* и нем. *neunzig*).

Что объединяет все упомянутые формы, это отчетливое обозначение «девяти» (даже русск. *девянство* вводит его, хотя и довольно «нелогичным» способом), в то время как система остается десятичной; применение вигезимального способа, как во французском и датском, конечно, необходимо предполагает упоминание не «девяти», а «четырёх» или «пяти» соответственно.

Центральная роль десятки как строевого элемента прежде всего определяется той легкостью, с которой она может быть опущена. Др.-инд. *navatiḥ* «девянство» уже упоминалось как существенный пример; еще более разительным примером является слово для «ста».

Я совершенно согласен с Семереньи [8, с. 140] и его предшественниками в их интерпретации праи.-е. **k̑mtom* как первоначального генитива, обозначавшего «десяток (род. п.)». С другой стороны, я не вижу нужды вводить праформу *(*d*)*k̑m̑k̑mtom*, в которой затем «вследствие частого употребления антепенультивы сократилась и результирующее **k̑m̑k̑mtom* после гаплогонии редуцировалось в **k̑mtom*». Как кажется, здесь достаточно предположить простой эллипсис.

Если праи.-е. *(*d*)*k̑mtom* могло отразиться в полной форме *(*d*)*k̑mtom dek̑mt* «десяток десятков» (кстати, точное соответствие гот. *taihuntēhund* «сто»), возникает вопрос, не могут ли быть предложены альтернативные выражения для конструкта «десяток десятков». Учитывая сходство, а часто и взаимозаменяемость генитива и прилагательного, можно представить наряду с *(*d*)*k̑mtom dek̑mt*- и вариант *(*d*)*k̑mtyo- dek̑mt*- (с окончанием прилагательного в зависимости от рода слова для «десятки»). Эллипсис **dek̑mt*- привел бы здесь не к *(*d*)*k̑mtom*, но к *(*d*)*k̑mtyo*-.

Постулирование эллиптических конструкций с выраженным прилагательным дает очень простое объяснение чисел, кратных «сотне» в греческом, которые кончаются на *-kátioi* или *-kóssioi* (ср. [14, с. 593]): они могут быть интерпретированы как «(десяток) двадцаток, тридцаток и т. д.» в полном соответствии с «(десяткой) десятков» в «сотне». Таким же образом, как и в случае с формами типа греч. *enenékonta* «девятисто», обсуждавшимися ранее, старое единственное число вытесняется *constructio ad sensum -kátioi/-kóssioi*, что, как можно предполагать, согласуется со словом для «десятки».

Очевидно, что обсуждение деталей более чем нескольких избранных форм намного превысило бы границы нашей статьи. Однако не кажется преждевременным попытаться сформулировать несколько общих выводов.

Рассмотрев достаточное количество примеров, мы видим, что имеется значительный простор для построения сложных числовых терминов, обеспеченный тем, что используемые строевые элементы остаются опознаваемыми или могут быть интерпретированы с достаточной определенностью, а также тем, что используемые операции при подборе элементов сложной единицы могут быть декодированы носителем языка. В течение того времени, когда происходят исторические изменения, наблюдается вариантность в указанных пределах, а также выбор из числа вариантов, который в данное время и в данном языке может уменьшить варьирование. Тот факт, что между индоевропейскими языками, не исключая и древнейшие, имеются широкие области расхождения, заставляет нас признать вариантность в образовании числительных характеристикой реконструируемого праиндоевропейского языка. Лучше описать границы вариантности и определить ее тип, нежели пытаться реконструировать, не имея достаточных сравнительных данных, единую систему, скажем, чисел, кратных «десяти» или «сотне» в праиндоевропейском. Хотя интерпретация некоторых данных — а здесь могут быть рассмотрены лишь немногие — дает надежные аргументы против попыток реконструкции праиндоевропейских «десятков» и «сотен», она устраняет также и противоположную крайность: если имеют место противоречивые данные и если эти данные варьируют в такой степени, что любая реконструкция будет крайне субъективной (если мы захотим элиминировать одну систему фактов и сохранить другую), все же нет необходимости считать, что такие числительные, как «семьдесят, восемьдесят, девятисто» не существовали в праиндоевропейском. Конечно, нельзя утверждать, как это делает Маньчак [15], что раз можно реконструировать обозначение для «ста», необходимо установить и обозначения «восьмидесяти» и «девятиста». Данные из «экзотических» языков не позволяют легко принять такую современную аргументацию. Опираясь на факты, изложенные выше, мы легко можем заключить, что, хотя нет достаточно прочных свидетельств в пользу реконструкции единого праиндоевропейского обозначения для, скажем, «девятиста», все же имелись строевые элементы и способы их соединения, и это означало, что по мере надобности могли быть созданы варианты с различной структурой — конечно, конкурирующие, но все возводимые к праиндоевропейскому. Имелись строевые элементы «десять», «сто», а также «двадцать», которые могли сочетаться с соответствующими единицами с помощью простых арифметических методов. Так, неожиданным образом оказывается, что все было — и есть — достаточно просто.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Buck C. D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago — London, 1949. P. 936.
2. *Winter W.* Analogischer Sprachwandel und semantische Struktur // FoL 1969. 3.
3. *Møller H.* Indoeuropæiskt-semitisk sammenlignende Glossarium // Festskrift udgivet af Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitets Aarfest. Kjøbenhavn, 1909. P. 124.
4. *Henning W. B.* Oktō(u) // TPhS 1948. P. 69.
5. *Walde A., Hofmann J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg, 1954. S. 180.
6. *Sommer F.* Zum Zahlwort // Sitzungsberichte. Bayrische Akademie der Wissenschaften. Philosop.-histor. Kl. 1950. 7. München, 1951.
7. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. I. М.; Л., 1958. С. 419—420.
8. *Szemerényi O.* Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.
9. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bern — München, 1959.
10. *Olsen B.* IE* *Vveli* = Arm. *Vveli* (*Vveli*)? // Arbeitspapiere. Institut for Lingvistik. Kjøbenhavns Universitet. 1981. P. 5.
11. *Vasmer M.* Russisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 1953.
12. *Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. I: La phonétique et le vocabulaire Louvain, 1976. P. 555.
13. *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg, 1970. S. 1099—1100.
14. *Schwyzler E.* Griechische Grammatik. I. München, 1939.
15. *Mańczak W.* Indo-European numerals and the sexagesimal system // Papers from the sixth conference on historical linguistics / Ed by Fisiak J. Amsterdam, 1985. P. 351.

Перевел с английского *Тестелец Я. Г.*

СТЕПАНОВ Ю. С.

СЧЕТ, ИМЕНА ЧИСЕЛ, АЛФАВИТНЫЕ ЗНАКИ ЧИСЕЛ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

I

В предлагаемой работе речь пойдет прежде всего о некоторых аналогиях между алфавитами и системами счисления. Поскольку те и другие системы достаточно различны, устанавливаемые аналогии носят довольно отвлеченный, семиотический характер. Это обстоятельство, представляющееся вначале некоторым неудобством, в дальнейшем, однако, позволяет включить в рассмотрение на единой основе вполне наглядные объекты анализа — способы именованья чисел, счет времени и обозначение временных единиц, имена дней недели, маркировку средневековых солнечных часов, начертание цифр и т. д.

Новые алфавиты изобретаются чрезвычайно редко и применительно к одному языку обычно один раз навсегда. Вероятно, этим объясняется то, что принципы алфавитов исследованы несравненно меньше, чем, например, принципы составления словарей. Мы только теперь, с некоторым удивлением, обнаруживаем, что основания алфавитов, а значит, и систем письма, и основания арифметики в значительной части одни и те же. Между тем их совпадение предполагается уже «по определению». Необходимо, следовательно, начать с определений.¹

0. Некоторые предварительные определения. Внеисторическая природа семиотических закономерностей. А л ф а в и т я з ы к а — некоторый, небольшой, расположенный в определенном порядке набор письменных знаков, обозначающих элементы речи, в современных европейских алфавитах — главным образом звуки речи (фонемы). А л ф а в и т с ч и с л е н и я — некоторый, небольшой, расположенный в определенном постоянном порядке набор письменных знаков — цифр, обозначающих числа, главным образом — числа, стоящие подряд в начале натурального ряда чисел, т. е. начиная с единицы; в математической десятичной системе счисления, которой в настоящее время пользуются практически на всем земном шаре, алфавитом служат десять знаков-цифр — от 1 до 9 и 0¹. Алфавит можно до некоторой степени уподобить типографской наборной кассе (старого образца), из которой вынимаются знаки для составления (набора) текста, или шрифтовому компоненту пишущей машинки. При рассмотрении алфавитов речь идет именно об устройстве самой этой кассы или шрифта.

¹ Что касается естественных языков мира, то в них отражены различные системы счета — четверичная, пятеричная, десятичная, двенадцатеричная, двадцатеричная (вигезимальная), шестидесятеричная. О вигезимальной системе см. специальное исследование Д. И. Эдельман [3].

Алфавит языка в узком смысле слова входит в более широкую систему — письмо, т. е. систему знаков, правил и способов изображения речи письменными знаками. Алфавит счисления также входит в более широкую систему знаков, правил и способов выражения чисел. Иногда последнюю систему в целом называют счислением [1], термин «счисление» употребляется при этом в широком смысле.

Иногда же систему счисления разделяют на 1) систему счисления в узком смысле, т. е. способ счисления, соответственно тому, сколько единиц низшего разряда образуют одну единицу высшего разряда, и 2) систему обозначения чисел знаками [2]; в этом случае термин «счисление» употребляется именно в узком смысле, а оба названных компонента вместе рассматриваются как главные составные части оснований арифметики. Сама арифметика в соответствии с этим понимается как «совокупность правил для выражения целых и дробных чисел посредством знаков (цифр) и для выполнения первых четырех действий над этими числами [2, стлб. 539—540].

Ниже мы будем понимать термин «счисление», или «система счисления», в широком смысле. Это целесообразно (для нашей задачи) главным образом потому, что разрядное устройство счисления (т. е. система счисления в узком смысле) и способ изображения числа тесно взаимосвязаны. В каком-то одном отношении они не зависят друг от друга, а в другом взаимозависимы. Так, способ обозначения числа знаком связан с тем, что система является или позиционной (как, например, наша десятичная), или непозиционной (как, например, римская десятичная), но не связан с тем, сколько чисел в разряде. Но, с другой стороны, объем алфавита прямо зависит от того, сколько чисел в разряде, т. е. от разрядного устройства системы. В десятичной системе с нулем требуется десять знаков-цифр, в двоичной системе — две цифры, в семеричной — семь и т. д.

Таким образом, поскольку существует аналогия между письмом и способами изображения чисел в их отдельных компонентах, то существует и фундаментальная аналогия между основаниями теории письма и основаниями арифметики. Исследование ее должно явиться одной из задач общей семиологии, или семиотики. Здесь мы остановимся лишь на некоторых моментах этой аналогии.

Нашим материалом будет семья генетически родственных алфавитов, обладающих следующим общим свойством: их знаки располагаются в определенном постоянном порядке и тем самым соответствуют некоторым отрезкам числового ряда; помимо звукового значения, все знаки этих алфавитов имеют — если и не с самого начала, то с определенного этапа — также и числовое значение. Речь идет прежде всего о греческом алфавите, а также о генетически предшествующем ему старосемитском (финикийском) и производных от него славянских.

Начиная эту работу несколько лет тому назад, мы могли назвать только одного предшественника в исследовании этого вопроса — Н. С. Трубецкого, который в своей работе «*Altkirchenslavische Grammatik*» (опубликованной посмертно в 1949—1952 гг.; 2-е изд. — 1968 г.) дал обширный очерк старославянских алфавитов в их связи с греческим, основанный в значительной степени на семиотическом исследовании числовых отношений [4, с. 13—59].

К этой области исследований примыкает книга И. Е. Гельба, появившаяся в 1952 г. (2-е изд. — 1963 г. [5]) (мы уже отмечали, как поздно, сравнительно с лексикографией или тем более с арифметикой, осознается общая теория письма). В ней автор поставил своей задачей «установить на сравнительно-типологической основе общие принципы,

управляющие употреблением и эволюцией письма [6]. Свой подход автор называет, впрочем, не семиотикой, а «грамматологией», хотя задачи, подобные только что сформулированной, в настоящее время почти повсеместно относятся к сфере семиотики. К сожалению, роль алфавитов в системах счисления и роль последних в алфавитах в этой книге совсем не затронута. (Работа Н. С. Трубецкого в обширной библиографии И. Е. Гельба даже не упоминается)

Когда наша работа была уже написана, было опубликовано исследование Т. В. Гамкрелидзе о происхождении и типологии алфавитной системы письма [7, 8]. Если исключить специальный вопрос о системах счисления, который Т. В. Гамкрелидзе не затрагивает, то взгляды обоих авторов (Т. В. Гамкрелидзе и наши) на алфавит как на семиотическую систему оказались чрезвычайно близки. Идея же алфавита как единства знаков, со своей собственной парадигматикой, Т. В. Гамкрелидзе настолько фундаментально обоснована, что это побудило нас принять эту идею Т. В. Гамкрелидзе за одно из оснований и дописать к казавшейся законченной работе целый раздел (ниже п. 1).

В нашей работе речь пойдет о семиотических закономерностях, а это заставляет поставить вопрос об их общей природе.

Семиотические закономерности необходимо отличать от конкретно-исторических закономерностей, известных из истории языков, — например, от так называемых «фонетических законов». Последние проявляются в рамках одного языка (или диалекта) в определенное время его существования на определенной территории. Они, как правило, оказываются вовсе не действительными для другого языка или даже для того же самого языка в другой период его истории. Семиотические закономерности, напротив, действительны для любого языка в любое время. Они могут не проявиться в определенном данном языке в определенное данное время, но когда они проявляются, мы легко опознаем в них те же общие закономерности, которые действовали в другом языке в другое время. И. Е. Гельб близко подошел к понятию таких закономерностей применительно к своему предмету — эволюции алфавитов, поскольку главный интерес исследования для него заключается не только и не столько в истории конкретных алфавитов, сколько в общих принципах, управляющих этой историей.

Ближайшим образом к понятию семиотических закономерностей подходит соотношение, описываемые в основаниях арифметики или в теории чисел. Бывает так, что какое-либо из таких соотношений обнаруживается каким-либо математиком после другого соотношения, открытого другим математиком за несколько десятков или сотен лет до этого. Но когда оба соотношения известны, открытое ранее может оказаться следствием из открытого позже; между ними обнаруживается внутренняя связь, говорящая, если так можно выразиться, о наличии объективных законов чисел, не придумываемых, а лишь открываемых математиками. Можно привести конкретный пример. Для перемножения целых чисел древние египтяне использовали разложение чисел на слагаемые вида 2^k (в основе этого приема лежит операция удвоения), — по существу представление числа в двоичной системе счисления. «Однако, — замечает по этому поводу историк математики М. Я. Выгодский, — нет никаких оснований полагать, что египтяне когда-либо ставили перед собой вопрос о представлении целого числа в двоичной системе. Эквивалентность двух задач с математической точки зрения вовсе не означает их исторической эквивалентности» [9, 19].

Сходное положение — в области алфавитов. Один и тот же способ письма может быть независимо открыт в разное время в разных ареалах. Напротив, какой-либо способ, придуманный ранее в одном ареале, в ло-

гическом (семиотическом) отношении может оказаться лишь следствием другого: следствие в таком случае открывается раньше причины. Семиотические закономерности — не исторические, а панхронические.

Поэтому ниже (п. 12, 19 и др.), приводя конкретные примеры сходства каких-либо алфавитных систем или их выводимости одной из другой, мы имеем в виду не конкретно-историческое выведение (как факт) одной системы из другой (скажем, древнеиндийской деванагари из семитской), — такое выведение могло быть, а могло и не быть, и если было, то могло осуществиться десятком неизвестных нам путей, — а лишь то, что какая-то одна система должна быть расценена как семиотически, или логически, производная от какой-то другой на линии эволюции, хотя бы эта другая и возникла позже первой. (Но, разумеется, во всех случаях следует сообразоваться с исторической реальностью, если она известна.)

Из специальных семиотических закономерностей, относящихся к предмету данной работы, отметим лишь следующую — и з о м о р ф и з м. Одно фундаментальное явление изоморфизма мы уже упомянули — аналогии между основаниями теории письма и основаниями арифметики. В таком смысле термин изоморфизм — это общее название для ряда более частных явлений. Из них наиболее важно следующее. Число изображается (или выражается) в двух системах — в системе счисления и в языке, причем в этом последнем двумя способами — словами языка и записью этих слов. Поскольку изображаемое (выражаемое) — одно и то же, а именно — число, то следует предположить, что все три способа выражения могут оказаться изоморфными друг другу (хотя бы в некоторой части). Это мы в действительности и наблюдаем.

Это положение настолько существенно, что мы положили его в основу композиции этой работы. В каждом ее тематическом разделе речь идет о трех явлениях — 1) арифметической записи числа, 2) имени числа в языке, 3) записи имени числа в языке, — хотя порядок этих компонентов изложения варьируется. Можно было бы избрать и другую композицию: говорить по отдельности обо всех арифметических фактах, относящихся к нашей теме; отдельно обо всех явлениях естественного языка, служащих их параллелью; и, наконец, обо всех соответствующих явлениях письменного языка (конечно, и при этом порядок изложения — от языка к арифметике или наоборот — тоже можно было бы варьировать). Но такой способ изложения, как кажется, затруднил бы восприятие. Итак, композиция такова: выбираются некоторые пункты, естественно возникающие в ходе размышления над темой, и притом именно в том порядке, в каком они естественно появляются. Но внутри каждого пункта речь идет о трех названных выше явлениях.

1. Внутренняя система алфавита, «парадигматика» алфавита. Т. В. Гамкрелидзе, основываясь на некоторых идеях Ф. де Соссюра, предложил рассматривать письмо вообще (и алфавитное письмо в частности) как целостную семиотическую систему *sui generis*, в которой есть «план содержания», «план выражения»², «синтагматика» и «парадигматика». «„План содержания“ письменности как семиотической системы — это единство единиц различного уровня языка (звуковых, слоговых, словесных, числовых и т. п.), обозначаемых в различных письменных системах соответствующими графическими символами, конкретная совокупность которых

² Сходное различение «внутренней формы (содержания)» письма и его «внешней формы» выдвинул в 1966 г. также И. Фридрих [10, с. 47 et passim].

и составляет „план выражения“ определенной письменной системы. К „плану выражения“ системы относятся и специфические наименования графических символов конкретной системы, а также вопросы направления письма и др.» [7, с. 8]. Синтагматика письма — это последовательность знаков в тексте, а парадигматика письма — это соотношения графических знаков в системе и их расположение в системе относительно друг друга (порядок перечня).

Система алфавитов, которых мы здесь касаемся (от протосемитского к древнегреческому и далее) имеет в основе одну систему-прототип. В разных алфавитах этого семейства знаки, по происхождению соответствующие друг другу, располагаются в одном и том же, в основном неизменном, линейном порядке (ср. русск. *а, б...* и т. д., греч. *альфа, бета...* и т. д., семит. *алеф, бет...* и т. д.). Этот порядок, определяющий внутреннюю системность алфавита, и составляет прежде всего его парадигматику. Кроме того, в парадигматику алфавита следует включить некоторые частные внутренние группировки — оппозиции знаков, если они имеются (такие, например, как русские знаки *ш, щ*, которые образуют подгруппу как в плане выражения, так и в плане содержания).

Относительно самого существа парадигматики алфавита, т. е. порядка знаков, нет большой ясности. Высказано несколько различных мнений.

Н. С. Трубецкой в 1949—1952 гг. [4, с. 18 и сл.] считал, что в алфавитах, где знаки не имеют числовых значений, а только звуковые, порядок расположения вообще не играет существенной роли. Напротив, числовые значения скрепляют всю систему в жесткое единство. В частности, древнегреческий алфавит и производные от него кириллица и глаголица сохраняют неизменным основной порядок прототипа и при этом всегда имеют число знаков, кратное 9 (первые девять знаков означают единицы, вторые девять — десятки, третьи девять — тысячи, четвертые девять, когда они появляются, — десятки тысяч).

Однако согласно современным данным, числовые значения появляются только в греческом алфавите, а в его семитском прототипе они отсутствовали и были восприняты семитскими алфавитами позднее из греческого.

Т. В. Гамкрелидзе (в 1988 г.) на этом основании склонен рассматривать парадигматику алфавита как своего рода ритуальный факт — передачу прототипа по традиции, хотя при создании самого прототипа могли иметь место другие мотивировки, в частности «графическое сходство знаков письма и фонетическое сходство звуков, выражаемых этими знаками» [7, с. 9]. Однако это положение объясняет, скорее, подгруппы в составе алфавита (ср. выше русск. *ш, щ*), чем линейный порядок в целом. Важно тем не менее подчеркнуть существенное предположение Т. В. Гамкрелидзе: парадигматика алфавита упорядочивается одновременно и сопряжено в плане выражения и в плане содержания.

П. Гард (в 1984 г.) [11] развил, применительно к древнегреческому алфавиту, совершенно особую точку зрения. Гард полагает, что древнесемитский алфавит представлял собой неупорядоченный линейно набор знаков, лишенный не только числовых значений, но и парадигматики вообще. Парадигматика алфавита (как и числовые значения) возвращается в семитский алфавит позже, уже из греческого. В самом же греческом алфавите, по мнению П. Гарда, парадигматика была создана путем последовательных операций, последовательного — один исторический этап за другим — отображения фонетически или даже фонологически существенных черт звуков. По Гарду, греческий алфавит содержит ядро (*l'alpha-bet de base*) из 11 букв — 1) А, В, Г, Д, Е, I, Л, М, N, О, У. Остальная

часть алфавита может быть представлена в виде шести последовательных расширений ядра — добавлений букв: 2) добавляются 2 знака сонантов — F (дигамма) и P, причем так, что они помещаются между знаками гласных (между E и I в первом случае, между O и Y во втором); 3) добавляются 4 знака смычных — O, K, П, T, причем так, что эти знаки вставляются между знаком гласного и знаком сонанта; 4) добавляются 2 знака простых спирантов — H, Σ, занимаемая места между сонантом и смычным (впоследствии, с утратой придыхания, знак H начинает обозначать гласный — долгое ē); 5) добавляются 3 знака сложных спирантов — Z, Э, |v (cáv, ср. др.-семит. šādē |v), и они занимают места по соседству с сонантами; рядом с šādē добавляется ς коппа как вариант K — все эти знаки черпаются из древнесемитского алфавита; 6) Q перед K; 7) на последнем этапе в конце алфавита добавляются 4 знака, отсутствующие в древнесемитском, — Ф, Ψ, Ω. П. Гард считает свою систему лишь гипотезой, но полагает, что в качестве ее подтверждения можно истолковать некоторые места у древних авторов — Геродота, Плиния Старшего, Тацита, которые указывают, что алфавит был воспринят не сразу, а по частям.

«Генеративная» гипотеза П. Гарда имеет сильную сторону: парадигматика алфавита рассматривается в ней не как «монотонный» ряд, а как совокупность подгрупп, в каждой из которых имеются свои внутренние оппозиции — «линии стяжения»; все подгруппы стянуты в единое целое сквозной «линией стяжения» (термин наш). Как видно из изложенного, эти подгруппы, по Гарду, сформированы на фонетическом основании — они аналогичны устройству слога и организуются так, чтобы знаки было удобно читать по слогам при обучении. «Алфавитный порядок первоначально был, вероятно, порядком последовательности обучения» [11, с. 15]. Или, добавим мы, — порядком произнесения алфавита как цельного текста, возможно, ритуального или магического характера.

Гипотеза П. Гарда противостоит гипотезе Т. В. Гамкрелидзе об изобретении (или заимствовании) алфавита как единовременном творческом акте, имеющем автора. Но и самой гипотезе П. Гарда противостоят (как он сам это отмечает на с. 10) некоторые исторические факты. Остановимся на них подробнее, чем делает это П. Гард.

Еще в 1949 г. в Сирии в районе Рас-Шамра (античный Угарит) была найдена табличка, датируемая XIV в. до н. э. и содержащая 30 клинописных знаков угаритского языка (северная подгруппа западносемитских). После детальной расшифровки оказалось, что табличка представляет собой «абecedарий», «азбуковник», не имеющий никакого отношения к шумеро-вавилонской клинописи, но зато 22 из его 30 знаков были отождествлены как соответствия знакам линейного семитского (ханаанского, финикийского, древнееврейского) алфавита. Самым примечательным фактом для нашей темы является здесь то, что этот абecedарий уже содержит всю основную парадигматику древнесемитского (прото-семитского) алфавита, а следовательно, и древнегреческого и является в этом отношении их древнейшим известным в настоящее время прототипом (см. об этом в работе О. Эйфельдта 1950 г. [12]). На рис. 1 воспроизводится начальная часть угаритского абecedария в сопоставлении с древнесемитским алфавитом по публикации О. Эйфельдта. (Описание этой «парадигматики» можно найти также в работе И. Фридриха [10, с. 122], а воспроизведение всех 30 знаков в той же книге на рис. 174. Необходимо отметить, однако, что там рисунок дан в иной последовательности, чем указанная парадигматика.)

Некоторые авторы — немаловажное обстоятельство — считают уга-

ритские знаки вторичными¹ — производными от букв западносемитского (или протосемитского) алфавита, клинописной стилизацией последних. И. Фридрих в [10], Э. Аларкос Льюрак в [13], И. М. Дьяконов в [14] отмечают сложность проблемы, поскольку в 1960 г. были опубликованы данные о существовании наряду с «полным» угаритским алфавитом из 30 знаков современного ему «краткого» варианта из 22 знаков, параллельного буквенному древнесемитскому.

На наш взгляд, оба мнения — как о первичности клинописных угаритских знаков в этой парадигматике, так и о первичности древнесемитских,

или, по крайней мере, об одновременности и параллелизме обоих — могут быть до некоторой степени подкреплены дополнительными соображениями.

В пользу первичности угаритских клинописных знаков можно привести просматривающуюся в известной мере рекуррентность в их внешней форме («плане выражения») в порядке от первого к последующим. Так, знак № 1 в удвоенном виде составляет знак № 2. Знак № 3 представляет собой половину знака № 1. Если предположить, что клинописные угаритские знаки первоначально имели отношение также и к знакам чисел, то знак № 1, соответствующий по своему порядку числу «1», мог иметь значение «один из пары», «один из двух», что и символизируется его парной формой (см. ниже об этимологии индоевропейского «один», п. 4).

В то же время знак № 3, означавший число «3», мог ассоциироваться именно с единицей, «оставшейся самой по себе» после первой пары (см. также ниже). Знак № 4, означавший число «4», представляет собой сложение знаков № 1 и № 3 в вертикальном повороте и т. д. (Объем журнальной статьи не позволяет развить это рассуждение.)

В пользу второго мнения — о древности протосемитской парадигматики алфавита букв (клинописная угаритская в таком случае лишь ее параллельный клинописный вариант) — может быть, на наш взгляд, также приведено одно соображение. А именно: порядок букв имеет семантику — символическое или сакральное значение, благодаря тому, что каждая буква ассоциируется — посредством своего имени — со значимым словом («принцип акростиха»), а последовательность букв, по крайней мере, начальных, создает осмысленное высказывание. Это отчетливо видно в старославянской и древнерусской кириллице, где названия первых букв — др.-русс. азъ, буки (буквы), вѣдѣ (знаю) — могут быть интерпретированы как фраза «Я буквы знаю». Конечно, именно такая, а не иная интерпретация — лишь наше предположение. Тем не менее, и м я

№	Клиноп. знак	Звук. знач.	Др.-семит. буква	Название др.-семит. буквы
1		'a	א	āleph
2		b	ב	bēth
3		g	ג	gīmel
4		d	ד	dāleth
5		h	ה	hē

... « т.д.

Рис. 1 (начальный фрагмент таблицы)

б у к в ы всегда рассматривалось в славянской культуре как существенное, выражающее нечто достойное упоминания, ценное, символическое. На этом основаны все древнейшие славянские алфавитные акростиhi, и, в свою очередь, эту черту использовал для реконструкции алфавитной парадигматики Н. С. Трубецкой [4, с. 16 и сл.].

Исходя из презумпции типологического сходства явлений культуры, можно предположить, что порядок знаков и в древнейших алфавитах был значим, «имел свою семантику». Прежде всего напрашивается предположение, что — по крайней мере начальные знаки — по смыслу своих имен имели отношение к устройству самого письма, означая, быть может, сам алфавит как некое особое явление, а также материал письма, его инструменты, вообще «технику». Некоторые, хотя и слабые, основания для такого предположения ощущаются в протосемитском алфавите.

Если оставить сейчас в стороне его первый знак, алеф (*āleph*), бывший, по-видимому, вариативным (в угаритском алфавите у него три варианта — перед гласными [a], [e], [i]), то первый константный знак, бет (*bēth*), в соответствии со своим именем (др.-евр. «дом; вместилище»); мог значить «дом знаков; дом букв». Ср. также в др.-евр. значение этого слова как «казна, сокровище государя» и в араб. (*beyt*) «дом» и «стихотворная строка» (как «вместилище драгоценных слов?»). (Ср. также определение М. Хайдеггера, данное в стиле философии экзистенциализма, — «Язык — дом духа».)

Применим теперь к объяснению порядка знаков другую гипотезу — «гипотезу материала», т. е. предположим, что начальные знаки алфавита по смыслу своих имен означали материал письма. Старославянская кириллица и в этом отношении отражает, возможно, типологически очень древний этап: вторая буква, Б, др.-русск. буки, означает «буква», ст.-слав. буквы и одновременно этимологически дерево «бук», лат. *fāgus* того же корня. Праславянская основа на *-ū- *buku* (косв. падежи **bukъv-*) считается древним заимствованием из герм. **bōkō* «бук», гот. *bōka* жен. р. «буква», мн. ч. *bōkōs* «письмо, письменный документ; книга» [15, вып. 3, с. 92; 16, с. 622]. Дерево бук давало древнейший материал письма — краску (из чернильных орешков) и гладкую кору. На типологическом основании можно предположить, весьма, впрочем, гипотетически, что семит. *bēth* каким-то образом связано с индоевропейским ареальным названием «березы» — лат. *betulla*, в глоссах также *beta* «береза», заимствованное, как предполагают, из кельт. **betūle* тж. При этом латинское слово, возможно, ассоциируется этимологически и с другими названиями растений, ср. *bēta* (с долгим *ē*) «белая свекла». Береза, распространенная в суббореальный период (ок. 3300—400 гг. до н. э.) и в более южном поясе, чем теперь, также поставляла материал письма — бересту. Интересно в этой связи название германской руны *b* именем «березы» **bairkna* [16, с. 620—621].

Возможны и иные ассоциации: поскольку древнейшие переднеазиатские жилища были, по-видимому, глинобитными, то корень *bēth* «дом» мог ассоциироваться первоначально также и с материалом дома — «глиной», которая служила также древнейшим материалом письма в виде глиняных табличек.

И все же главное наше предположение состоит в следующем. Любой алфавит, имеющий жестко фиксированный порядок знаков, даже и не будучи в прямом смысле алфавитом счисления, все же имманентно содержит в себе идею последовательности, т. е. числового ряда.

2. Концепт числа и операция счета. В полном виде анализ этого концепта, конечно, не может быть целью настоящей работы, но мы можем попытаться выделить некоторые его аспекты, существенные для дальнейшего рассуждения. С самого начала следует заметить, что число не есть счет, но число есть результат счета, при конструктивном понимании числа, и счет есть путь к концепту числа, при платоническом понимании числа (как объективно существующей сущности [17]). Концепт числа естественно связывается с понятием натурального ряда чисел. Последний представляет собой последовательность множеств: $1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, \dots$ и т. д. Сокращенными обозначениями этих множеств служат знаки $1, 2, 3, 4$ и т. д.

Философский словарь А. Лаланда под термином «Число» («Nombre») отмечает, что последовательность чисел, натуральный ряд чисел, часто смешивается с самим понятием числа, чего не следует делать, и дает важное примечание: «Идея числа предполагает... трансформацию последовательности (время) в сумму (пространство). Это последнее условие, по-видимому, самое важное, так как если мы ограничиваемся последовательностью, то имеем дело лишь с рядом или множеством, но еще не с числом. Этим опровергается различие, которое Кант пытался установить между геометрией, наукой о пространстве, и арифметикой, наукой о времени, поскольку образование идеи числа требует, в качестве своего условия, формы сосуществования и одновременности» [18].

Хотя, таким образом, концепт числа отличен и от концепта последовательности, и от концепта сосуществования (в пространстве), т. е. от счета, тем не менее даже в самых абстрактных определениях понятия «число» в современных работах по основаниям математики в сущности сохраняются в снятом виде оба эти сопутствующие концепта. (Причина этого, заключается, по-видимому, в конструктивном характере самой математики. Во всяком случае, способ выражения чисел в математике часто, если не всегда, является конструктивным: знаком числа выступает не что иное, как изображение способа получения этого числа. Например, знак дроби $\frac{3}{4}$ означает, в сущности, «число 3, разделенное на число 4», где 3 и 4 — знаки соответствующих чисел, а горизонтальная черта — знак деления. Этим производные математические знаки отличаются от производных слов языка, в которых часто представлены исходные знаки, но почти никогда не отражен способ производства нового знака и его значения ³.)

Обратимся теперь к некоторым более абстрактным определениям числа. Дж. Литлвуд отмечает, что имеется возможность определить действительные числа так называемыми сечениями Дедекинда. Для лингвиста не так важны детали этого определения, которые мы опускаем, как его существо. «В определении дедекиндова сечения, — пишет Литлвуд, — все рациональные числа распределяются на два класса, L и R (от *left* — левый, *right* — правый. — Примеч. перев.), причем каждое число из L расположено левее (т. е. оно меньше) каждого числа из R ... Совокупность всевозможных сечений в множестве рациональных чисел представляет собой множество элементов, обладающих теми свойствами, которые мы хотели бы придать континууму «действительных чисел», и последние становятся надлежащим образом обоснованными... Представляется ес-

³ И поэтому, в частности, морфологический анализ не совпадает со словообразовательным.

тественным (и даже неизбежным) определить действительное число как класс L (можно было бы, конечно, определить его и как класс R)» [19, с. 63].

И, наконец, самое интересное для лингвиста: что же, по существу, означает «сечение», Schnitt? «Для самого Дедекинда Schnitt был актом разрезания, а не тем, что „отрезалось“, он „постулирует“, что „действительное число“ осуществляет разрезание, но не может с этим полностью примириться... Между прочим, с чисто лингвистической точки зрения, — продолжает Литлвуд, — слова Schnitt и section означают и акт разрезания, и то, что оказывается отрезанным. Это тот случай, когда неверное лингвистическое толкование могло бы означать научный прогресс» [19, с. 64]. Непонятно только, почему Дж. Литлвуд называет двузначное лингвистическое толкование — если он имеет в виду именно это — «неверным». В общем случае языковые обозначения процессов (и это отмечает лингвистика) с течением времени, а иногда и сразу же, оказываются обозначениями результатов процессов. Мы столкнемся с этим случаем ниже при рассмотрении понятия «час». Дедекиндово сечение, определяя операцию разрезания, — а это по существу акт счета, хотя и усложненный, — определяет тем самым и результат этой операции — число.

Прочитируем рассуждение известного советского математика и методолога науки С. А. Яновской, которое для нашей цели важно сразу в двух отношениях: во-первых, С. А. Яновская основывается здесь на этнографических наблюдениях тонкого исследователя Л. Леви-Брюля (автора книги «Первобытное мышление») и, во-вторых, истолковывает эти наблюдения в свете представлений современного математика.

«Чтобы выяснить, что отображает в действительности, например, число 5, — пишет С. А. Яновская, — обратим внимание на те вещи и отношения, для которых это число характерно. Вероятно, в первую очередь нам придет в голову, что «5» — это число пальцев человеческой руки, число частей света на Земле. Но 5 есть и число букв в слове *число* или в слове *буква*, или в слове *слово*; 5 есть число различных правильных многогранников, число лепестков в цветке герани или лютика... Таким образом, уже из этих примеров ясно, что число 5 отражает какие-то реальные свойства вещей действительного, материального, т. е. независимо от нашего сознания существующего, мира... Все это, однако, еще не дает нам возможности точно определить хотя бы число 5. Чтобы подойти к этому определению, попробуем выяснить, что общего есть между собранием букв в слове *буква* и собранием их в слове *число*. Нетрудно увидеть, под- писав эти слова друг под другом

б	у	к	в	а
↑	↓	↑	↓	↑
↓	↑	↓	↑	↓
ч	и	с	л	о,

что каждой букве верхнего собрания можно поставить в соответствие букву нижнего, и наоборот, и притом так, что различным буквам верхнего собрания будут отвечать различные буквы нижнего, а различным буквам нижнего — различные буквы верхнего. Такое соответствие называется в математике взаимно-однозначным. Для его установления не требуется знать число вещей каждого собрания, а нужно только уметь приводить их в соответствие друг с другом. Однако установление такого соответствия дает нам возможность утверждать равночисленность двух

множеств... Но теперь мы имеем возможность определить и наше число 5... Число можно определить как общее свойство всех равномогных друг другу множеств... „5“ — это общее свойство всех множеств, равномогных множеству пальцев человеческой руки» [20, с. 36—38]. Это рассуждение С. А. Яновской основано на строгом (и весьма абстрактном) определении числа по Кантору.

Далее С. А. Яновская излагает счет даяков с острова Борнео, описанный Леви-Брюлем. Дело шло о подсчете суммы штрафа, который селения должны были уплатить. Посланец разложил на столе клочки бумаги, служившие своего рода фишками, и сосчитал их, пользуясь пальцами рук для счета до 10. Затем он положил на стол ногу, считая на ней каждый палец и указывая одновременно на клочок бумаги, соответствующий названию селения с именем его вождя, с числом воинов и суммой штрафа. К концу всего списка перед ним было 45 клочков бумаги, разложенных на столе. Потом он еще раз в точности повторил свою операцию, кладя по очереди палец на каждый клочок. С. А. Яновская делает свое примечание: «Приведенный пример показывает как раз, что никакого особого „первобытного“ мышления нет: логическая основа счета у людей первобытной культуры и у современного математика одна и та же — установление взаимно-однозначного соответствия» [20, с. 41]. Сходные положения подчеркиваются М. И. Пановым [21, с. 105 и сл.] и другими авторами. При этом С. А. Яновская настоятельно подчеркивает, что для установления взаимно-однозначного соответствия не требуется знать число вещей каждого собрания, а нужно лишь уметь ставить их в соответствие друг с другом: «Равенство чисел можно установить, не зная самих этих чисел» [20, с. 37]. Если все места в театре были заняты, то зрителей было столько, сколько мест (при этом число мест неизвестно).

Но если все обстоит так, как изложено выше, то очевидно, что в основе сравнения множеств лежит некоторая элементарная операция, о которой С. А. Яновская ничего не говорит, — *п о п а р н о е с р а в н е н и е* элементов двух множеств: одна вещь из одного набора сопоставляется с одной вещью другого; один палец накладывается на один клочок бумаги, другой палец — на другой клочок и т. п.

Обобщим сказанное таким образом: установление взаимно-однозначного соответствия двух множеств не требует знания числа элементов в этих множествах, но требует операции попарного сравнения, т. е. установления соответствия двух элементов (один из одного множества, другой из другого) как некоего единства, как одного элемента. Элементарная операция счета (парное сравнение) независима от понятия числа (суммы операций, результата счета).

3. Семиотические следствия. На основании сказанного выше следует предположить, что в языке а) имена чисел в собственном смысле слова окажутся не связанными с обозначениями элементарной операции сравнения; б) напротив, элементарная операция попарного сравнения окажется обозначенной каким-то образом особо, именно как таковая, т. е. имена входящих в нее сущностей — понятий «один», «один и один», «две половинки одного», «пара» и т. п. будут связаны друг с другом; в) поскольку элементарным материальным действием, лежащим в основе этой операции, является наложение руки, прикосновение рукой или указание пальцем, то следует, далее, предположить, что имя «руки» будет каким-то образом отражено среди сущностей этой операции. В действительности все это и обнаруживается в материале различных языков.

В обобщающей работе о системах счета у народов Африки Д. А. Ольдерогге показал, что во многих системах счета «счет неотделим от жеста и по существу числительное — не что иное, как описание приемов счета» [22, с. 8]. Со ссылкой на наблюдения английского миссионера Гора (E. C. Gore) Д. А. Ольдерогге показывает это на примере счета у народа занде: звуковое обозначение числа «10» сопровождается хлопанием в ладоши, «15» — похлопыванием двумя руками по ноге, «20» — одной рукой сначала по одной, затем по другой ноге, «40» сопровождается теми же похлопываниями, что и «20», но повторенными дважды, «60» — повторенными трижды и т. д. «Можно сказать, что за пределами 10 перед нами не числительные, а всего лишь звуковая оболочка жестов, это описание действий или приемов счета, языковое выражение которых изменяется в зависимости от считааемых объектов» [22, с. 7]. Иными словами, жест — а это и есть сама операция счета — превращается в знак результата счета, знак числа, и в таком виде остается инвариантом; звуковое же выражение варьируется в соответствии с объектом.

Наиболее примитивные системы счета сохранились до нашего времени у племен «горные дама», живущих в горных районах Намибии. Д. А. Ольдерогге анализирует эти системы на основе материалов Г. Феддера (H. Vedder) и Л. Леви-Брюля [23]. Как и у других народов, счет здесь ведут, используя пальцы сначала одной руки, потом другой, потом ног, потом переходят к рукам и ногам другого человека и т. д. При этом имеются две чрезвычайно архаические особенности. Во-первых, при счете называют не имя числа, а имя пальца, а эти имена одинаковы для пальцев разных рук. «Поэтому не обязательно не столько слышать, сколько видеть способ счета. ... Ведь одно и то же название..., например, *≠kari gaoneb* (букв. „маленький вождь“) может значить „1“, „11“ и „20“» ([22, с. 12]; разрядка моя. — С. Ю.).

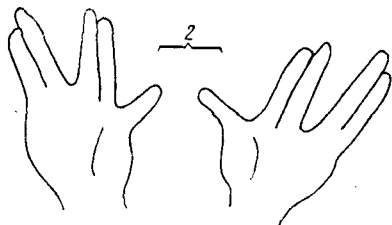


Рис. 2 (по Феддеру — Ольдерогге)

Во-вторых (не у всех, а только у некоторых из этих племен, в местности Гобабаис), имеется оригинальная система двоичного счета: счет ведется по двум пальцам сразу (см. рис. 2), т. е. считаются пары. Чтобы обозначить нечетное число, называют ближайшее, т. е. меньшее, четное и добавляют слово /gui.

Смысл этой парной системы счета требует обсуждения. Д. А. Ольдерогге видит в ней особый, архаичный способ выражения множественности. «Наличие двойной системы счета, — пишет он, — заставляет вспомнить, что среди именных классов в языках банту особую группу составляет класс так называемых парных предметов, который выделяется особыми показателями именного класса. Обычно к именам существительным, входящим в его состав, относятся названия частей человеческого тела, парных по существу: глаза, уши, нос (точнее, ноздри), руки, ноги, плечи, колени; сюда относятся также „близнецы“... Класс парных предметов, представляющий собой в настоящее время довольно разнообразный конгломерат имен существительных, некогда был одним из способов выражения множественности, причем одним из самых древних» [22, с. 13 и примеч. 25].

Связь между парным способом счета и классом парных предметов, видимому, нельзя отрицать. Однако указания на эту связь недостаточно,

чтобы понять заложенный здесь принцип счета: неужели в с е предметы когда-то считались парами? Это кажется и маловероятным, и непонятным по существу. Кроме того, парный способ счета и двоичная система счисления — не одно и то же. В описанном способе счета вряд ли можно видеть прямую связь с двоичной системой счисления.

Мы полагаем, что парный способ счета горных дама является отражением другого свойства счисления — э л е м е н т а р н о й о п е р а ц и и сравнения, которая всегда — парная операция (см. выше п. 2). Здесь по существу имеет место символизация элементарной операции — наложения пальцев на считаемый предмет; в то время как одна рука выступает при этом мерой счета, другая рука является замещением считаемого предмета; вторая рука — зеркальное отражение первой (см. рис. 2). С этой точки зрения, счет дама не является таким уж примитивным, напротив — он представляет собой довольно большую абстракцию от примитивного счета. Но все дело в том, что это абстракция по особой линии: в то время как все другие способы счета абстрагируются от природы считаемых предметов и от меры счета и символизируют эту линию абстракции, т. е. стремятся к абстракции числа, счет дама абстрагируется от элементарной операции парного сравнения и символизирует именно ее.

Типологически прямым продолжением парного счета дама оказываются в таком случае индоевропейские обозначения числа «один», прежде всего те из них, которые основаны на приравнивании «один» — «половина», о чем свидетельствует этимология соответствующих слов.

4. Индоевропейские обозначения числа «один» с разными корнями и соотносительные понятия. В индоевропейских языках, как известно, не восстанавливается какое-либо одно общее слово или общий корень для обозначения числа «один». «Отсутствие особого числительного „один“ в системе счета указанных (т. е. индоевропейских, семитских, шумерского. — С. Ю.) языков, — отмечают Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, — становится понятным при учете типологии счета. Собственно счет или исчисление предметов начинается с „двух“ и более, тогда как „один“ предполагает не счет, а название предмета с помощью его специального обозначения. В дальнейшем такие названия становятся специальными обозначениями числа „один“ и входят в ряд числительных как его начальный элемент. Этим и объясняется разницей в обозначении числа „один“ в близкородственных диалектах» [16, с. 844]; ср. так же [21, с. 101]).

Первая часть этой формулировки не вызывает сомнений: собственно счет начинается с «двух». Что касается второй части, то здесь остается необъясненным, почему из бесконечного множества предметов, которые можно считать, только некоторые предметы передают свои названия числу «один» и какие именно предметы.

Исходя из сказанного выше, мы можем выдвинуть другую гипотезу: а) обозначением числа «один» становятся не имена различных считаемых предметов, а имена различных м а т е р и а л ь н ы х м е р с ч е т а (последних же, естественно, значительно меньше, чем считаемых предметов); б) среди материальных мер счета особое место занимают названия универсальной меры — руки⁴; в) обозначение элементарной операции счета (попарного сравнения) оказывается связанным именно с началом счетного

⁴ В дагестанских языках слово, означающее «зуб» (с корнем *с-), означает также «один», «долька» («зуб чеснока» и т. п.) [24]. Однако здесь значение «один» является, возможно, производным от значения «долька».

ряда; поэтому различные такие обозначения при различных именах (корнях) должны иметь некоторую общую структуру, связанную с характером элементарной операции, — «один и другой», «половина (целого)» и т. п. Эта типологическая гипотеза находит, как кажется, подтверждение в индоевропейском материале и, в свою очередь, проливает свет на некоторые этимологии. Но прежде чем перейти к материалу, сделаем еще одно типологическое примечание.

В определенных ситуациях — и на определенном этапе эволюции счета — обозначение меры счета и обозначение считаемых предметов могут совпадать (т. е. их различия могут нейтрализоваться). Так, мы считаем *бутылки* молока, *ведра* яблок, *коробки* спичек и т. п. Мы говорим: *шаг*, другой, третий..., где слово *шаг* синонимично слову *один*; *рюмка*, другая, третья..., где синонимом слова *один* оказывается уже *рюмка*, и т. п. Однако это особенность именно типизированных, т. е. далеко не элементарных, операций. Согласно известной теории О. Нейгебауэра, вавилонская шестидесятеричная система произошла из синтеза шумерской и аккадской весовых единиц: 1 мина = 60 шекелям; причем те же меры применялись и для счета денег на вес, почему эта система и называется денежно-весовой системой мер.

Таким образом, можно построить некоторую предварительную типологию обозначений числа «один» и приложить ее к индоевропейскому материалу. (Возможно, что эта типология, будучи эволюционной, окажется одновременно ранжированной и в конкретно-исторической последовательности. Во всяком случае, естественно предположить, что обозначения числа «один», основанные на имени руки как универсальной материальной меры, предшествуют обозначениям, основанным на синонимических заменах и на заменах дейктического характера.)

(а) «Один» — имя руки, «моя рука» или «я сам»; наиболее вероятный и.е. претендент на замещение этого места — корень $*\bar{k}^{[h]}em-$ // $*\bar{k}^{[h]}om-$ и некот. др. (см. ниже);

(б) «Один» — слова со значением «половина», т. е. «нечто, приложенное к моей руке как вторая половина целого»; «целое» мыслится, таким образом, состоящим из руки и приложенной к ней вещи; возможный претендент на занятие этого места — корень $*sem-$ // $*som-$, с другой ступенью гласного — $*sēm-$ (лат. *sēmi*);

(в) «Один» — слова со значением «оставшийся одиноким, без половины, без другого», естественное развитие предыдущего; возможный претендент на занятие этого места — корень $*oi-$ (с суф. $*-jo$ — греч. οἶκος «единственный, одинокий»); корень $*od-$ // $*ed-$, русск. *од-ин*, англ. *odd* «нечетный»;

(г) «Один» — слова со значением «вон тот, напротив меня», т. е. дейк-сис по отношению к словам группы (а); возможный претендент — корень $*oi-$ с суффиксом, восходящим к дейктической частице, $*-no$ (слав. $*od-$ // $*ed-$ в сложении с $*inъ$ — *jed-inъ*; лат. *ūnus* из *oinos*).

Рассмотрим теперь некоторые детали в этой типологической последовательности.

К (а). Обозначение руки, как это общеизвестно, представлено в индоевропейских числительных. «Поскольку во многих, а скорее во всех, десятичных системах, — отмечает О. Семереньи, — базой системы является рука с ее пятью пальцами и герм. $*\chiandus$ „hand, рука“ представляет и.е. $*kont-$, то кажется естественным анализировать $*dekmt$ „десять“ как *de-kmt* „две руки“. Само имя $*komi-$ „рука“ может быть производным от корня $*kem-$ // $*kom-$, образованным с помощью агентивного суф. $-t-$.

Важно здесь, однако, то, что значение „рука“ связано с расширенной формой **kont*, чем, по-видимому, подтверждается, что первоначальной формой для „10“ было **de-kont-*» [25, с. 69]⁵. Последнее, т. е. **de-kont-*, или в другой нотации **t^oe-k^hmt^h*, этимологизируется как «два + рука», т. е. «две руки» [16, с. 850]. Значение «один», как видим, в упомянутых этимологиях с этим корнем не ассоциируется.

Важно отметить, что и значение «рука», которое, судя по всему, должно было бы принадлежать корню **k^hem-* // **k^hom-*, непосредственно в этом корне не обнаруживается, а проступает только по связи с числом, притом всякий раз в с в я з а н н о й ф о р м е: либо в **de-k^hm* «десять», либо в **k^hmt-* «сто», либо, наконец, если принять этимологию М. Лоймана, в **tūs-k^hmtiom* «тысяча», букв. «сильная сотня», литов. *tūkstantis*, ст.-слав. *тысяца* [26] (см. также ниже п. 6).

В соответствии с общей типологией, намеченной выше (по формуле типа *Шаг, другой, третий...*; *Рука, другая, третья...*), естественно, однако, предположить, что где-то в индоевропейском материале должно обнаруживаться и использование этого корня для обозначения числа «один» или, точнее, для обозначения операции, соответствующей началу счета. Мы вернемся к этому предположению в связи со счетными формулами урожая (п. 5 ниже).

Другое индоевропейское обозначение руки, восходящее к другому корню, проступает, возможно, в обозначении числа «1000» (см. ниже п. 6).

К (6). Значение «половина» представлено, возможно, в начальном слове русского счета *Раз, два, три...*, но не непосредственно, не в «чистом» виде, а как один из двух контаминированных компонентов. Первый, основной, компонент восходит, по-видимому, к балт.-слав. корню со значением «удар, насечка» — **rōz-* (литов. *riūžas* «полоса»), которое закономерно-фонетически должно было дать русск. *раз*. Второй компонент восходит, вероятно, к прасл. **orz-* из **ord-z-* со значением «половина, сторона, часть», ср. ав. *arəba* «пол-, половина» [27, т. 3, 494]; этот корень закономерно-фонетически должен был дать русск. *роз*. Второй компонент мог быть поглощен первым или оба контаминировали в форме *раз*.

Понятие «один как половина» обнаруживается, по-видимому, в структуре понятия «оба»: русск. *оба*, литов. *abū*, лат. *ambō*, греч. *ἀμφι* и т. д. Оно сопоставляется с предлогом греч. *ἀμφι* «с обеих сторон», тох. А *āmpi*, тох. В *āntpi* и является скорее всего корнесловом **h₂ents* «перёд, лицо» в форме инструментального падежа [28]. В своей специальной работе о связи элементарных числительных с местоимениями Т. И. Оранская выделяет применительно к и.-е. языку-основе два архетипа числительного «один»: Первый архетип, с корнем **oi-* // **ei-* и с различными расширителями, имел, согласно Оранской, значение «первый в ряду; начальный» и был производным от «этот, ближний (к говорящему)». Второй архетип, с корнем **sm-*, имел значение «один из себе подобных; один из двух», и в этом случае значение «один» естественно ассоциируется с «половиной» [29, с. 10, 57]⁶. Последнее обстоятельство ранее подчеркивал Дж. Гонда [31]. Типологически сюда же можно отнести пример, сообщенный нам Г. А. Климовым: груз. *cal-i* «один из двух одинаковых предметов», *tqub-i cal-i* «один из двух близнецов» при *tqub-i* «двойня, два близнеца».

⁵ Нотация *k* вместо общепринятого *k̂* здесь принадлежит О. Семереньи.

⁶ М. М. Маковский [30, с. 164] сближает в корне и.-е. **sem-* значения «один» и «вместе, все», нем. *eins, sämtlich*; и.-е. **sem-* «половина», по его мнению, из контаминации корней **seu-* «слизать» и **māi-* «рубить».

К (в). К корню **od- // *ed-* обычно не возводят непосредственно каких-либо числительных; русск. *один* считается фонетически преобразованием прасл. **ed-inъ // *edьnъ* [15, вып. 6, с. 11—13]. Однако корень в этом русском слове может представлять и прямо и.-е. **od-* в чередовании с и.-е. **ed-*. Такова была точка зрения А. И. Соболевского, и на эту же возможность указывает П. С. Кузнецов [32].

Если, таким образом, русск. *один* содержит и.-е. **od-//*ed-*, то к тому же корню естественно отнести англ. *odd* «нечетный, странный». Хотя наряду с указанным корень этого английского слова представляет собой контаминацию еще нескольких корней (см. в работе [33] — без указания на связь с русск. *один*). Первоначальное значение русского и английского слов в таком случае одно и то же — «оставшийся вне пары, без пары, стоящий особняком». Типологически сюда можно отнести груз. *szva-* «другой» при сван. *ješxu-* (*ašxu-*) «один» (пример Г. А. Климова). Этот же пример может подходить и к пункту «б».

К (г). Согласно общепринятой точке зрения, корень **oj-* выступает в сложении с различными суффиксами: **-no-* — лат. *ūnus* из *oinos*; **-uo-* — ав. *aēva-*, греч. *οἶος* из **oiFos* «единственный, одинокий», др.-инд. *evām* «так, только»; **-k^hl-* — лат. *ūnicus* «единственный», др.-инд. *eka* «один», гот. *ainaha* «один» и др. [16, с. 843; 29, с. 59].

Праслав. **ed-inъ* и русск. *один* рассматриваются при этом — вне отношения к корню **od-//*ed-*, рассмотренному нами выше, — как сложение и.-е. **oinos* «один» с усилительной частицей местоименно-указательного значения **ed* (ср. лат. *ecce* < **ed-ce* «вот») [15, вып. 6, с. 12]. Однако в соответствии со сказанным нами выше, здесь можно видеть и прямое осново-сложение двух основ со значением «один» — **od-//*ed* = + **oino-*.

Возможно, наконец, что это сложение другого рода: основа со значением «один», **od-//*ed-* и два указательных дейктических местоимения 3 л. — **i* + **nъ* «вон тот, третий, там (не около меня и не около тебя)», ср. серб.-хорв. *eno њему* «то ему (дается)» (ср. [34]).

Последний способ композиции косвенно подтверждается структурой слова, используемого при указании времени — др.-инд. *samprati* 1) «теперь, в данный момент», 2) «как раз напротив», причем второе, пространственное значение — явно исходное, ср. этимологически соответствующее русск. *су-против*, только в пространственном смысле (см. далее в связи со счетом времени, п. 17).

5. **Формулы и системы счета с корнями а) и.-е. **k^hlom-* «с, совместно», б) и.-е. **sem-// *som-* «один; сам; половина».** Значение устойчивых формул вообще для реконструкции лексики и синтаксиса, в особенности синтаксиса словосочетаний (не предложений), признается в настоящее время все более важным. Оно продемонстрировано на славянском материале в цикле работ Н. И. Толстого [35—38], а в последнее время на индоевропейском материале, также в цикле работ, К. Уоткинсом [39—43]. В меньшей степени обращалось внимание на роль устойчивых формул для этимологизирования. Проблема, которую мы хотим здесь поставить, состоит в следующем: слова (и компоненты слов), не обнаруживающие этимологического родства при обычном (словарном, поэлементном) рассмотрении, могут претендовать на этимологическое тождество, если они занимают тождественные места в тождественных устойчивых формулах даже при неполном или не полностью закономерном фонетическом соответствии. В данном случае речь идет о том, что корни и.-е. **k^hlom-* и

**som*- (включая их аблаутные варианты) могут восходить к одному и тому же корню. Обратимся к некоторым фактам.

Прежде всего, таким фактом, кажется, не отмеченным в литературе, является соответствие явно древних счетных формул урожая:

русск.	<i>Поле дает (родит) сам осьмой</i>
лат.	<i>Ager effert (efficit) cum octavo</i>

где отвечают друг другу *сам* — *cum*. Латинская формула приведенного выше типа отмечена еще в архаической латыни у М. П. Катона (234—149 гг. до н. э.) и сохраняется в классическом языке, ср. у М. Т. Варрона: ...*ut ex eodem semine aliubi cum decimo redeat, aliubi cum quintodecimo, ut in Hetruria, et locis aliquot in Italia. In Sybaritano dicunt etiam cum centesimo redire solitum. In Syria, et in Africa ad Byzantium item ex modo nasci centum...* (Varronis Rerum rusticarum. De agricultura. Liber I, XLIV) [44] «...поскольку из одного и того же [количества] семени в одном месте возвращается сам-десять, в другом сам-пятнадцать, как в Этрурии и некоторых местах Италии. В Сибаритануме, говорят, обычно возвращается даже сам-сто. В Сирии, а также в Африке около Бизанция тоже из [одного] модия родится сто...». Мы привели длинную выписку, интересную и саму по себе, еще и для того, чтобы не оставалось сомнений (как мы увидим ниже, не лишенных оснований) в значении: как латинская, так и русская формулы означают, что из одного количества зерна, буквально — из одного зерна, родится столько, сколько указано порядковым числительным. Так, *сам-осьмой*, *cum octavo* значат «одно зерно приносит семь других, само являясь восьмым», т. е. возвращается «множество из восьми, включая посеянное зерно».

В русском языке такая же архаическая формула счета применяется для счета людей, главным образом в тех случаях, когда считаемые обозначены местоимениями 1, 2 и, кажется, реже, 3 лица. Это обстоятельство указывает, по-видимому, на происхождение всего оборота, связанного с инклюзивной/эксклюзивной семантикой личных местоимений. Счетный ряд в русском языке имеет здесь особые, краткие (нечленные) формы порядковых числительных: *сам-друг*, *сам-третей*, *сам-четверт*, *сам-пят*, *сам-шост*, *сам-сём*, *сам-осьмой*, *сам-девят*, *сам-десять*. Хотя засвидетельствованы и формы жен. рода *сама-друга*, *сама-третья* [45], однако нормой (хотя и устаревшей, поскольку архаичен сам оборот) является неизменяемость формы обоих компонентов по роду. Ср. у Пушкина: *Осталась во тьме морозной Младая дева с ним сам-друг* (Евг. Онег. V, 20). Этот пример одновременно иллюстрирует сравнительно редкий случай, когда формула употреблена для «объективного» счета, т. е. когда говорящий не включает себя в число считаемых. Этому соответствует и то, что считаемые люди обозначены не местоимениями, соотносительными с «я», что включало бы счет в непосредственную ситуацию речи наряду с ее субъектом «я», «говорящий». (Заметим, что «Словарь» под ред. Д. Н. Ушакова [46] правильно определяет слово *сам* при таком счете людей как указание действующего лица или субъекта речи, включающихся в счет. Между тем «Словарь русского языка» [47] оставляет из этого определения только «субъект речи», что неточно и, в частности, не соответствует и пушкинскому употреблению.)

Счетная формула людей, аналогичная русской, существует во всех славянских языках. В польском языке она детально обследована в работе П. Зволинского [48]. По наблюдениям польского автора, древнейший

случай употребления этой формулы в Супрасльской рукописи: *bystъ viděti ... samogo tretija* (Supr. 158, 1). Польские примеры, засвидетельствованные, в общем, с конца XIV — начала XV в., отличаются тем, что первый компонент представлен не отдельным словом, а основой на -o, т. е. имеет место композит типа *samotrzeć* «сам, сама, само третий, -тья, -тье». В силу этого такое слово часто выполняет функцию наречия: *Dalej, gdyby kto kogo zabił ranił, toby miało być samosiodmo doświadczone, iż on uczynił* (Ortyle magdeburskie, 31) (памятник конца XV в.) «Далее, если кто кого убьет, ранит, то должно быть семь раз установлено, что он это сделал».

В польских текстах отмечаются очень интересные случаи, когда эта формула употребляется в ином значении, нежели обычно, и иначе, чем в формуле счета урожая, а именно в значении «на один больше, чем указано числительным», т. е., например, *samotrzeć* значит не «сам-третьей», а «сам и еще трое», «сам с тремя другими», «в сообществе четырех». Ср.: [Nero] uciekl w nocy tylko *samoczwart* z miasta..., chciał sie sam zabić, ale nie mógł, bo mu ręce drżały... Przypadł jeden ze *czterech*, który mu ręce postawił drżącą, aż sie sam zabił [Kronika Marcina Bielskiego, k. 145 r. (1564 г.)] [48, с. 48]. *Samoczwart* в значении «в товариществе четырех» использовал, по наблюдениям П. Зволинского, также А. Беловский (Aug. Bielowski) в своем переводе Летописи Нестора: Jaroslaw tedy uciekl *samoczwart* do Nowogrodu (Monumenta Poloniae Historica, Lwów, 1864, I, 691) в соответствии с таким местом оригинала: Jaroslawъ же uběža съ setyгъmi mѡzi Novu gorodu [48, с. 57]. П. Зволинский склонен видеть в этом значении формулы польский неологизм. Это, однако, не бесспорно. Сходное явление известно и в русском языке: по-видимому, так можно объяснить существование оборота *сам-один* в значении «сам и еще один», *сам-друг* «вдвоем» [45]. Не исключено, впрочем, что это значение действительно неологизм, объяснимый тем, что место порядкового числительного стало занимать количественное. В русском языке замещение могло произойти сначала по чисто фонетическим причинам: вместо *сам-пять* появилось *сам-пять*, вместо *сам-десять* — *сам-десять* и т. д. Выражение же типа *сам-пять* легче, чем *сам-пятый*, может быть понято в значении «сам с пятью другими».

И все же, вопреки мнению П. Зволинского, есть веские основания предположить, что здесь перед нами не неологизм, а возрождение — может быть, никогда до конца и не исчезавшего — древнего эксклюзивного значения этой счетной формулы. Рассмотрим все семантические ряды, в которые входят эти формулы в индоевропейских языках. Этих рядов — три.

Во-первых, данная формула счета людей входит в более широкий класс счетных формул, которые семантически тождественны данной, а этимологически отличны: компонент, обозначающий лицо, субъекта, выражены словами от других корней. Ср. нем. *selbänder*, *selbdritt*, *selbviert*, *selbfünft* и т. д., до 10 регулярно, а далее с уменьшающейся регулярностью (встречаются *selb sechs und zwanzigst*, *selb hundert* и др.); др.-инд. *ātmanāditiya*, *ātmanātrīya*, *ātmanācaturtha*, *ātmanāpāncama* и др.; греч. *δεύτερος αὐτός*, *τρίτος αὐτός*, *πέμπτος αὐτός* и др. (подбор примеров см. [48, с. 77—83]) (в греческом «второй» компонент выступает «первым»). Это синонимический ряд по «первому» компоненту — «сам».

Во-вторых, данная счетная формула входит в более широкий класс счетных формул, где порядковое числительное замыкает группу считае-мых предметов, завершает счет. Это — вхождение по «второму» компонен-

ту — числительному. Ср. русск. *Было у него два сына умных, третий — дурак* и т. п. Обороты этого типа представлены в разных древних индоевропейских языках, ср. греч. *τρεῖς ἀδελφοί...*, *Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ' Ἄϊδος* (Ил., 15, 187—189) «Три нас родилось брата..., Зевс и я, третий — Аид». Особенностью их является то, что все считаеваемые объекты обозначаются количественными числительными и лишь последний, завершающий счет, — порядковым. Словообразовательный же элемент порядкового числительного в индоевропейском тот же самый, что и суффикс превосходной степени. Основываясь на этом формальном тождестве, Э. Бенвенист показал, что «количество и качество организуются в одной и той же структуре: подобно тому, как *φίλτατος* означает „тот, в ком дружба находит свое завершение“, так же и *τρίτατος* „третий“ означает „тот, в ком «три» находит свое завершение“. Порядковое числительное и прилагательное в превосходной степени равно характеризуют тот элемент, который завершает множество, создавая целостность» [49]. Э. Бенвенист также указал на семантическую связь суффикса превосходной степени и порядкового числительного с русским словом *самый*. Действительно, в русском языке мы имеет ряд:

самый большой
самый первый
самый последний
 * *самый пятый* —→ *сам-пят*

Таким образом, семантика русского (и соответственно славянского) *сам* означает, в сущности, завершение некоторой серии предметов (счетного ряда) посредством указания ее завершающего — последнего (или первого) компонента.

Однако сам этот компонент (предмет, человек) может либо включаться в уже означенную каким-то образом серию, лишь уточняя ее, — и тогда перед нами инклюзивное значение формулы, либо присоединяться к ней извне, дополняя уже означенную серию еще одним — последним — членом, — в этом случае мы имеем эксклюзивное значение формулы. По этому признаку данная счетная формула входит в третий — наряду с двумя отмеченными выше — ряд формул индоевропейских языков, — такого типа, как русск. *Мы с женой*, т. е. «я и моя жена», ср. франц. просторечное *Nous deux Charles* «Мы с Шарлем».

Как показал С. Д. Кацнельсон [50] на материале древних германских языков, такие обороты имели два значения — инклюзивное и эксклюзивное. Например, др.-исл. *deir Attila* букв. «они Аттила» — 1) инклюзивное «они, включая Аттилу», 2) эксклюзивное «они, имеющие отношение к Аттиле; люди Аттилы». Аттила в последнем случае не мыслится входящим в множество «они», но мыслится примыкающим к нему извне (или множество мыслится примыкающим к нему) и тем самым характеризующим множество. В конечном счете примыкающий член, здесь Аттила, тоже соотносится и связывается с множеством как член, ограничивающий его извне.

Подобно этому, русск. *сам-пять*, тем более *сам пять*, а также указанные польские обороты, — все могли иметь те же два значения. Инклюзивное значение, «сам в числе пяти», могло явиться лишь относительно поздней специализацией, соответствующей точным приемам счета. Что касается латинского оборота типа *sunt octavo*, то его точно такая же двусмысленность прямо вытекает из буквального смысла его формы — «с восьмым», хотя в засвидетельствованных употреблениях в текстах он имеет только

точное счетное инклюзивное значение. Вернемся теперь к исходной паре формул — русск. *сам-осьмой*, лат. *cum octavo*.

Из всего сказанного следует, что слова *сам* и *cum* семантически прямо соответствуют друг другу и частично — за исключением первой фонемы — могут соответствовать друг другу фонетически. Таким образом, необходимо предположить, что в каждом из этих слов, взятых по отдельности, в русском и латинском, налицо или 1) контаминация двух значений — «сам» и «с, совместно» (второе — обычное значение латинского предлога и преверба *cum*); или 2) контаминация двух индоевропейских слов, в русском (соответственно славянском) а) и.-е. **sem-//*som-* «тот же самый, один», некоторым образом соотношенное с «я», б) и.-е. **sm-* «с, совместно»; в лат. соответственно, а) и.-е. **k^[h]em-//*k^[h]om-*, несомненно связанное с расширенной формой **k^[h]mt-* «рука», опосредованно соотносящееся далее со значением «моя рука» (в той мере, в какой обозначение руки входит в системы счета); б) и.-е. **k^[h]om* «с, совместно». Или, наконец, 3) перед нами, возможно, исконное протоиндоевропейское тождество: два корня, означающих «моя рука; я сам» и «совместно, с», представленные каждый в кентумном и сатэмном варианте. Или, может быть, даже один и тот же корень, со значением «моя рука; я сам»; в грамматикализованном виде — «совместно, с», представленный в четырех вариантах.

6. Вопрос об этимологическом тождестве слов — тождественных компонентов устойчивых формул, тождественность которых не полностью отвечает фонетическим соответствиям. Вопрос этот достаточно актуален. В настоящее время некоторые этимологи ставят его широко, считая возможным говорить об этимологическом тождестве слов на основании их семантической близости при отсутствии традиционно понимаемых закономерных фонетических соответствий в пределах одной языковой семьи (в данном случае, индоевропейской), но на основе определенной фонетической «комбинаторики» (так, например, М. М. Маковский [30, с. 30—31]). Эти поиски представляются интересными. Мы, однако, ставим вопрос достаточно узко: речь идет о возможном этимологическом тождестве компонентов устойчивых формул (а также сложных слов), а «нарушенные» фонетические соответствия относятся к классу соответствий или несоответствий, связанных с проблемой языков «кентум» и «сатэм».

Согласно современным представлениям, индоевропейские велярные смычные фонемы были организованы следующим образом. Существовал основной ряд чистых велярных смычных — *k'*, *g^[h]*, *k^[h]* (знак апостроф над буквой означает «глоттализированный», знак *h* — «аспирированный» в системе Гамкрелидзе — Иванова). Фонологически этот ряд фонем был немаркированным по признакам лабиализованности и палатализованности. Последние два признака образовывали, соответственно, два дополнительных ряда — ряд палатализованных велярных *k'*, *g^[h]*, *k^[h]* и ряд лабиализованных велярных *k^ʷ*, *g^[h]*, *k^[h]* (последний нотируется знаком нуля или *w* над буквой.) Эти два ряда генетически, в исходной точке являются лишь модификациями, посредством дополнительного артикуляционного признака, основного, немаркированного ряда чистых велярных смычных ([16, с. 86, 95]; ср. также [51, 52]).

Корень **k^[h]em- // *k^[h]om-*, означающий «сто», согласно системе Гамкрелидзе — Иванова, нотируется с палатализованным смычным (О. Семереньи, как мы видели выше, в работе [25, с. 67 и далее] палатализацию не нотировал). Так как этот корень образует слово, входящее в «контрольный ряд» слов, означающих «сто», то его современная нотация

прямо соответствует современному же пониманию деления языков на группы «кентум» и «сатэм». Как известно, это разделение проводится на основании отражения ряда палатализованных велярных: если они отражаются в виде аффрикат и фрикативных, то это языки «сатэм», если же они отражаются в виде чистых велярных (в результате слияния ряда палатализованных смычных велярных с рядом исконно собственных велярных), то это языки «кентум» (ср. [16, с. 16—17]).

Таким образом, этот корень в нотированном выше виде присутствует в словах лат. *centum*, гот. *hund* (группа «кентум»), скр. *šatām*, литов. *šiūtas*, ст.-слав. съто (группа «сатэм») и др.

Если допустить, — что естественно, — что указанный корень имел и другой вариант, а именно с чистым велярным $*k^{[h]}em-$ // $*k^{[h]}om-$, то помимо указанного «контрольного» ряда слов, означающих «сто», обнаруживается и другой ряд семантических — и одновременно ограниченно фонетических — соответствий: лат. предлог-преверб *cum* «с кем, с чем» (с аблативом-инструменталисом), ст.-слав. предлог къ (с дативом), русск. к «к кому, к чему», скр. *kām* постпозитивная частица, употребляемая после дательного падежа имени или инфинитива для усиления, подчеркивания (2-е знач. по словарю О. Бётлингга [53]). (Напомним в этой связи удачное выражение Т. Барроу: «Ряд чисто велярных был придуман для того, чтобы объяснить те случаи, в которых *k*, *g* и т. д. языков группы „кентум“ не палатализуется в языках „сатэм“; они лишены также губного элемента, чье влияние так заметно на лабиовелярных» [54]; примеры: лат. *cruior* «кровь», ст.-слав. *кръвь* тж., литов. *kraujas* тж. и т. п.) Таким образом, два из отмеченных нами выше (п. 5) корней могут соотноситься, хотя фонетически и не вполне закономерно, но при этом вполне системно.

Обратимся к другим из отмеченных соответствий. Именно в сфере корней с велярными отмечается довольно большая нерегулярность. «...В процессе движения в системе, — отмечают Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, — палатализованный ряд смычных претерпевает не единообразные изменения в отношении всех членов ряда, а обнаруживает различия в эволюции отдельных его членов, в зависимости от системных и позиционных факторов. Такое неединообразие в изменении палатализованного ряда в системе наблюдается как при движении его в сторону чисто велярного ряда (т. е. в диалектах группы *centum*), так и в случае движения этого ряда в общем направлении аффрикатизации (т. е. в диалектах группы *satēm*)» [55].

На этом фоне (или, лучше сказать, на «этом фрагменте» кентумно-сатэмного фона) естественно предположить, что корни $*k^{[h]}om-$ «с, совместно», давший лат. *cum*, и $*sm-$, давший балто-слав. ряд — прасл. $*sъ$, *sъn*, литов. *su*, *suo-*, *san-*, *sq-* (предлог, превербы и приименные приставки, *su* как предлог — с инструменталисом), а также скр. преверб *sa-*, предлоги *sām* и *sahā* с инструменталисом, ав. *ham* с тем же значением, — все восходят к одному и тому же протоиндоевропейскому корню с не вполне закономерными вариациями между смычным велярным и *s*. (По-видимому, подобные соответствия заставили М. Фасмера постулировать также некую общую для них и.-е. праформу, к которой он возводит, с одной стороны, ст.-слав. *съ*, а, с другой стороны, лат. *cum*, но которую записывает, в сущности, неправильно, как $*kōm-$ с палатализованным велярным; при таком фонемном составе этот и.-е. корень должен был бы закономерно-фонетически дать скр. $*šam$, а не *sam* [27, т. 3, с. 540].)

Примеры семантических соответствий между приведенными словами кентумного и сатэмного ареалов можно было бы продолжить. Так, парал-

лелизм лат. *cum* и ст.-слав. *съ*, русск. *с* проходит вплоть до мелких деталей: оба слова употребляются в формулах сравнения двух предметов — лат. *pariter cum* «наравне с ...» — русск. *наравне с...*; лат. *simul cum* «одновременно с..., вместе с...» — русск. «вместе с...»; оба слова как превербы входят в обозначение действия счета — лат. *com-putare* «считать», букв. «сравнивать, уравнивать, удалять лишнее», русск. *с-читать* и др.

К этому же ряду можно отнести параллелизм лат. *com-munis* и гот. *ga-mains* «общий» при незакономерном фонетическом соответствии гот. *ga-* вместо *ha-* [56, с. 156] (ср. [51, 52]). Примеры такого рода можно умножить.

В продолжение этого же ряда соответствий можно сформулировать гипотезу об индоевропейском имени числа «1000». В настоящее время имеется новая этимология греч. $\chi\epsilon\acute{\iota\rho}$ «рука». Как указывает Я. Фриск, нужно исходить не из принимавшегося прежде — и ошибочно — $*\chi\epsilon\rho-$ (от и.-е. $*\acute{g}her-$ «хватать»), а из $*\chi\epsilon\sigma\rho-$, которое дает эол. $\chi\epsilon\rho\rho$ «рука» [57, т. 2, с. 1083]. В таком случае имеется хороший фонетический и семантический параллелизм между общегреч. $*\chi\epsilon\sigma\rho-$ «рука» и др.-инд. *(sa-)hasra* «тысяча». Если же принять во внимание соответствия указанного нами выше ряда, то сюда же, вероятно, можно отнести латинское обозначение определенного числа воинов — *cohors* жен. р., род. п. *cohortis*, «когорты». Согласно общепринятой в настоящее время этимологии, это слово, первоначально в форме $*co-horti-s$, представляет собой производное от того же корня, что и лат. *hortus* «огороженный участок (в частности, военного лагеря); огород, сад», ср. русск. *город* [56, с. 131; 300]. Можно, однако, предположить, что обозначение когорты является контаминацией двух слов — 1) указанного производного от корня *hort-* на латинской почве, 2) более древнего слова, означавшего «тысяча» и имевшего на латинской почве вид $*co-hostr-$ из $*co-hosr-$, причем последнее полностью параллельно др.-инд. и греч. формам:

греч.	$*\chi\epsilon\sigma\rho-$
др.-инд.	$*\text{(sa-)}hasra$
лат.	$*\text{(co-)}hosr-$

Общим семантическим основанием всех этих трех слов является значение «рука как мера счета». В греческом оно выступает непосредственно; дальнейшие производные от него — имена «тысячи»: $\chi\acute{\iota}\lambda\iota\omicron\iota$, ион. (в надписях) $\chi\epsilon\acute{\iota}\lambda\iota\omicron\iota$, эол. $\chi\acute{\epsilon}\lambda\lambda\iota\omicron\iota$ и т. д. из $*\chi\acute{\epsilon}\sigma\lambda\iota\omicron\iota$ [57, т. 2, с. 1099], или, по нашей гипотезе, из $*\chi\acute{\epsilon}\sigma\rho-\lambda\iota\omicron\iota$, т. е. из $*ghesr-liyo-$. Фонетическое развитие в обоих случаях, т. е. принимаем ли мы для общегреческого слова «тысяча» традиционное $*\chi\acute{\epsilon}\sigma\lambda-$ или новое $*\chi\acute{\epsilon}\sigma\rho-$, — должно быть одним и тем же (ср. [58]). В латинском языке первоначальным значением соответствующего гипотетически восстанавливаемого слова $*co-hosr-$ могло быть или «десятая часть» (когорты — десятая часть легиона), или «тысяча» (число людей в когорте было обычно порядка тысячи, от 500 до 1000, в классическую эпоху 600). Связь наименования когорты с понятием «рука» косвенно свидетельствуется тем, что название другого римского воинского подразделения — *manipulus* «манипула» также имеет отношение к *manus* «рука». (Об общей связи понятий «10», «100», «1000» см. также ниже, п. 11 и далее.)

В конечном счете имя руки, греч. $\chi\epsilon\acute{\iota\rho}$, возводится к и.-е. $*\acute{g}hesr-$ [57, т. 2, с. 1083], а имена «тысячи» к и.-е. $*\acute{g}hesl-$ [57, т. 2, с. 1099]. Естественно допустить, что это один и тот же корень с двумя различными детерминативами — $*-r$ и $*-l$ или, возможно, с чередованием $*-r // *-l$.

К корню **ghesl-* следует, вероятно, отнести словен. *gêslo*, чеш. *heslo*, польск. *hasło*, укр. *gáslo* и т. д., — все со значением «условное слово, пароль, реестровое слово в словаре», хотя обычно они возводятся к прасл. **gad-slo* или **gad-tlo* от глагола **gadati* «говорить, думать, гадать» [59, т. 1, с. 480].

7. Две разновидности элементарной операции счета и две системы счета. Вернемся к уже затронутой выше теме (п. 2) — элементарной операции счета как сравнению двух предметов. Хотя в каждой такой операции участвуют два предмета (например, рука и предмет, которого она касается), однако результатом является число «один». Начало счета — в некотором смысле более сложная операция, чем его продолжение. Некоторое подтверждение этому можно видеть в индоевропейских языках, где понятие «один» варьируется от языка к языку и явно является производным (см. выше п. 6), в то время как понятие «два» устойчиво выражается всюду одним и тем же корнем⁷. Для того, чтобы наглядно представить себе различия в этой операции, о которых дальше пойдет речь, условимся отмечать этапы этой операции каким-либо знаком, например, произнося слово «Раз!».

Очевидно, что элементарную операцию счета — попарное сравнение двух предметов — можно производить двумя различными способами. 1) Либо мы произносим «Раз!», чтобы обозначить первый из сравниваемых предметов, и промолчим при указании второго; если первым предметом служит палец руки, а вторым какой-либо считаемый предмет, то при этом способе счета мы произнесем «Раз!», подняв палец, — на первом такте операции и промолчим, коснувшись пальцем предмета, — на втором такте. Короче говоря, «сильным моментом», иктусом счета будет обозначение первого предмета из пары и «слабым моментом» — касание второго. Назовем эту систему счета «перспективной» (обращенной вперед). По аналогии со стихом ее можно назвать также «хореической» (от «хорей»). 2) Либо мы сравниваем предметы попарно, произнося «Раз!» на втором такте операции — при касании считаемого предмета (и молчим, поднимая палец, — на первом такте операции). Назовем эту систему счета «ретроспективной». Ее можно также назвать «ямбической» (от «ямб»).

Очень отчетливо различие двух систем счета выступает при счете отрезков⁸, или длин, поскольку отрезок имеет два конца и «иктус» счета может быть приурочен либо к началу, либо к концу отрезка. (Те же две системы отчетливо различаются при счете времени, поскольку время естественно ассоциируется с длиной. См. ниже п. 16.) Положим, мы считаем участки забора, разделенные столбами. При одном способе, «перспективном», мы произносим «Раз!» в тот момент, когда касаемся самого первого столба, чтобы тем самым просчитать весь отрезок, который при нашем движении вдоль забора еще только последует впереди; мы как бы мысленно забегаем вперед и считаем отрезок, еще не пройдя его, видя его перед собой, «в перспективе». При другом способе, «ретроспективном», мы молчим, проходя мимо первого столба и говорим «Раз!», коснувшись второго столба; тем самым мы обозначаем первый отрезок, уже пройдя его, по его дальнему концу, как бы оглядываясь на пройденный отрезок «в ретроспективе».

⁷ Или двумя параллельными, как русск. *два* — *оба* (см. также п. 4).

⁸ По замечанию С. М. Толстой, ознакомившей с данной рукописью, — только при счете отрезков. Нам все же кажется, что это различие двух систем выступает и при счете точек — по отношению, например, к считающему пальцу (см. выше).

Можно было бы предположить, что одна из этих систем более абстрактна и, следовательно, исторически должна быть более поздней, чем другая. Но решить, какая именно более абстрактна, — трудно. Одна более абстрактна в одном отношении, другая в другом. В самом деле, в «проспективной» системе счета предполагается некоторое предвидение результата — наличие второго элемента пары (в примере с забором — дальнего столба каждого отрезка), тогда как «ретроспективная» система фиксирует в счете лишь достигнутое (в примере с забором — только «окончания» проходимых отрезков); в этом отношении «проспективная» система абстрактнее «ретроспективной». Однако «ретроспективная» система оставляет «первый такт» счета вне обозначения, в некотором смысле вне счета (в случае с забором пропускается первый столб), — прообраз будущего числа «нуль» в ряду чисел — довольно абстрактного понятия по сравнению с числами натурального ряда (1, 2, 3 ... и т. д.); в этом отношении ретроспективная система абстрактнее «проспективной». Как мы увидим далее, в реальных системах счета, отраженных в естественных языках, представлены и та, и другая⁹.

8. Исчезновение одной из крайних точек отсчета в обеих системах счета. Выше мы уже видели, что в проспективной системе в некотором смысле исчезает вторая точка отсчета — в примере со столбом это точка, означающая второй, дальний конец отрезка забора. Поскольку слово «Раз!» («Один») в этой системе уже использовано для обозначения первой, начальной точки отсчета, то следующая отметка — «Два!» означает начало следующего отрезка, а не второй конец первого. Конечно, первая точка второго отрезка есть одновременно и последняя точка первого (вообще — предыдущего), но мы говорим о том, какое из этих двух «значений» точки использовано в системе и фиксировано словом-именем. Фиксировано только второе значение.

Напротив, в ретроспективной системе пропускается отправная точка отсчета («первый столб»). В какой-то, точно не определимый момент истории счета она будет обозначена нулем.

(Различные «значения» одной и той же точки, в зависимости от способа «попадания» в нее или «пути» к ней, — общее положение теории графов.)

Сказанное можно иллюстрировать обычной сантиметровой линейкой, по верху которой (ряд «а») зарубки обозначены в ретроспективной системе, она же — обычная современная система с нулем, а по низу (ряд «б») те же зарубки обозначены в проспективной системе, она же — натуральный ряд чисел (без нуля) (рис. 3).

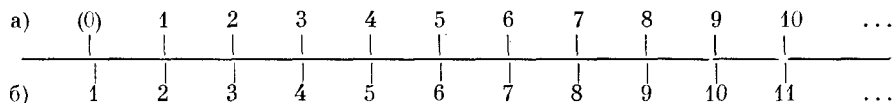


Рис. 3

Десятый отрезок по своему значению в счетном ряду вполне «однозначен» — это именно десятый член последовательности, последний член первого десятка. Однако если попытаться свести его к точке, «зарубке»

⁹ Возможна, по-видимому, и некая иная (третья?) система, когда отрезок считается как точка. Это нередко бывает при счете времени (см. ниже п. 16).

(обозначить через «зарубку»), то его отношение к точке будет двусмысленно. Точка, соответствующая его левому концу, символизирует конец первого десятка, а точка, соответствующая его правому концу, — начало второго десятка. До некоторой степени двусмыслен и знак числа «десять», взятый в тех же двух отношениях.

9. «Исчезновение» (невывраженность «значения») последней точки каждого разряда во всех современных системах счисления. Знак 10 в десятичной системе счисления, т. е. системе с нулем, многозначен. Он означает:

- 1) число (количество) единиц в разряде системы счисления;
- 2) отсутствие единиц в первом разряде и один полный второй разряд;
- 3) одиннадцатую (а не десятую) зарубку на сантиметровой линейке (что по принятой нами терминологии означает ретроспективную систему счета)

Нас будет особенно интересовать сейчас то значение этого знака, которое мы выделили как второе. В соответствии с буквальным чтением этот знак гласит «нуль (отсутствие) единиц первого разряда». Между тем в действительности знак означает также и «последнюю, десятую единицу первого разряда». Но это значение в форме знака остается не выраженным. Иными словами, как мы уже говорили выше, это равносильно тому, что в системе с нулем «второе» значение знака 10 (или десятой «зарубки» по проспективной системе) остается невыраженным, «исчезает».

Это же положение дел можно выразить иначе: в десятичной системе с нулем первые девять единиц первого разряда обозначаются особыми, каждая своим, знаками: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но десятая единица своего знака не имеет и обозначается как «первая единица второго разряда» — комбинированным знаком 10.

Такой способ обозначения последней единицы каждого разряда существует во всех современных системах счисления. Прочитируем в этой связи характерное рассуждение математика: «...Можно было бы с таким же успехом (как в десятичной системе.— С. Ю.) представить каждое число в виде комбинации степеней не числа 10, а какого-либо другого числа (кроме 1), например, числа 7. В этой системе, называемой „семеричной системой счисления“ или „системой счисления с основанием 7“, мы вели бы счет от 0 до 6 обычным образом, а число 7 приняли бы за единицу следующего разряда (разрядка моя.— С. Ю.). Его естественно обозначить в нашей новой семеричной системе символом 10 (единица второго разряда)» [60].

К этому рассуждению нужно сделать примечание. Для семиотических задач необходимо различать количество чисел в разряде системы счисления и количество единиц в разряде. Ноль есть число, входящее в разряд, но это число обозначает отсутствие единиц. Таким образом, знак 0 тоже многозначен. Он обозначает: 1) первое число в системе счета, 2) первую «зарубку», 3) отсутствие единиц в разряде.

Существование второго и третьего значений в форме одного знака говорит, скорее всего, о том, что этот знак не мог возникнуть как абстракция примитивной «проспективной» системы счета, в которой «зарубка» есть одновременно и «единица» считаемых предметов. Если вернуться к иллюстрации с линейкой, то дело можно представить себе таким образом, что к «примитивной, архаичной» линейке, на которой первая зарубка обозначалась как число «1», был приставлен слева еще один отрезок, первоначально никак не обозначенный, «затактовый», если воспользо-

ваться сравнением со стихосложением. (Действительные аналогии систем счета со стихосложением будут рассмотрены нами особо.)

В этом месте ход нашего рассуждения по необходимости расчленяется. Оно может пойти по одной из следующих линий: во-первых, по линии двузначности и многозначности с л о в, обозначающих число-основание системы счисления; во-вторых, по линии обозначения десятой единицы и десятка как целого в а л ф а в и т а х, прежде всего древнегреческом и латинском; наконец, по линии соотношения целых и дробных ч и с е л. Изложение будет следовать именно этому порядку. Но прежде чем перейти к указанным реально наблюдаемым, так сказать, «материальным» следствиям из отмеченных особенностей счета, целесообразно сделать одно семиотическое отступление в обратном направлении — в направлении дальнейшей абстракции элементарной операции счета, отразившейся в некоторых математических понятиях.

(Окончание следует)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. БСЭ. Т. 53. М., 1946. Стлб. 290.
2. Новый энциклопедический словарь / Изд. Брокгауз — Ефрон. Т. 3. СПб.
3. Эдельман Д. И. К генезису вигезимальной системы числительных // ВЯ. 1975. № 5.
4. Trubetzkoy N. Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem 2. Aufl. / Hrsg. von Jagoditsch. R. Graz; Wien; Köln, 1968.
5. Gelb I. Y. A study of writing. 2-d ed. Chicago; London, 1963.
6. Гельб И. Е. Опыт изучения письма. Основы грамматиологии. М., 1982. С. 2.
7. Гамкрелидзе Т. В. Происхождение и типология алфавитной системы письма (Письменные системы раннехристианской эпохи) I. // ВЯ. 1988. № 5.
8. Гамкрелидзе Т. В. Происхождение и типология алфавитной системы письма (Письменные системы раннехристианской эпохи). II. // ВЯ. 1988. № 6.
9. Выгодский М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. 2-е изд. М., 1967.
10. Фридрих И. История письма. М., 1979.
11. Garde P. La logique de l'ordre alphabétique grec // Cratyle. Cahiers de recherche en ling. appl. à l'enseignement du grec. Univ. de Nice. 1984. № 1 (nouv. sér.).
12. Eissfeldt O. Ein Beleg für die Buchstabenfolge unseres Alphabets aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. // Forschungen und Fortschritte. Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft und Technik. 1950. Jg. 26. Hf. 17/18.
13. Alarcos Llorach E. Les représentations graphiques du langage // Encyclopédie de la Pléiade. Le langage. P., 1968. P. 542.
14. Дьяконов И. М. Комментарии // Фридрих И. История письма. М., 1979. С. 215 (примеч. 47).
15. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1— М., 1974—.
16. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
17. Карри Х. Основания математической логики. М., 1969. С. 27.
18. Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 11-e éd. P., 1972. P. 684.
19. Литлвуд Дж. Математическая смесь. 4-е изд. М., 1978.
20. Яновская С. А. О так называемых «определениях через абстракцию» // Яновская С. А. Методологические проблемы науки. М., 1972.
21. Панов М. И. Проблема формирования математических понятий // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. М., 1986.
22. Ольдерогге Д. А. Системы счета в языках народов тропической и южной Африки // Africa. Африканский этнографический сборник. XIII. Л., 1982.
23. Lévi-Brühl L. La numération chez les Bergdama // Africa. 1929. V. 2.
24. Бурчуладзе Г. Т. Из лексики иберийско-кавказских языков. 6. О лексемах, обозначающих «зуб» и «один» в дагестанских языках // ИКЯ. 1988. Т. 27.
25. Szemerényi O. Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.
26. Leumann M. Indogermanisches sk im Altindischen und im Litauischen // IF. 1941. Bd 58.

27. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М. Т. 1. 1964; Т. 2. 1967; Т. 3. 1971; Т. 4. 1973.
28. Jasanoff J. H. Gr. ἀμῶν, lat. *ambō* et le mot indo-européen pour «l'un et l'autre» // BSLP. 1976. Т. 61. Fasc. 1.
29. Оранская Т. И. Местоимения и элементарные числительные (на материале древних индоиранских языков) // ИАН СЛЯ. 1984. № 1.
30. Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика. М., 1988.
31. Gonda J. Reflexions on the numerals «one» and «two» in Indo-European languages. Utrecht, 1953.
32. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1965. С. 77.
33. Маковский М. М. Английская этимология. М., 1986. С. 112.
34. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 353.
35. Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1968.
36. Толстой Н. И. К реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1973.
37. Толстой Н. И. О природе связей бинарных противопоставлений типа *правый — левый, мужской — женский* // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
38. Толстой Н. И., Толстая С. М. К реконструкции древнеславянской духовной культуры (Лингво-этнографический аспект) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1978.
39. Watkins C. The comparison of formulaic sequences // IREX Conference on comparative linguistics. Austin (Texas), 1968.
40. Watkins C. The name of Meleager // *O-o-pe-ro-si: Festschrift für E. Risch* / Hrsg. von Etter A. B.; N. Y., 1986.
41. Watkins C. Questions de poétique, de mythologies et de prédroit en indo-européen // *Lalies. Actes des sessions de ling. et de littér.* Т. 5. P., 1987.
42. Watkins C. Linguistic and archaeological light on some Homeric formulas // *Proto-Indo-European: the archeology of a linguistic problem: Stud. in honor of Gimbutas M.* / Ed. by Nacer Skomal S. and Polomé E. C. Washington, 1987.
43. Watkins C. Latin *tarentum Accas*, the *Ludi Saeculares*, and Indo-European eschatology // *Материалы советско-американского симпозиума по сравнительному языкознанию.* Л., 1988.
44. Les agronomes latins: Caton, Varron, Columelle, Palladius // *Collect. des auteurs latins.* Publ. sous la dir. de M. Nizard. P., 1851. P. 91.
45. *Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1955. С. 131—132.
46. Толковый словарь русского языка / Под ред. Ушакова Д. Н. М., 1940. Т. 4. Стлб. 29.
47. Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1984. Т. 4. С. 16.
48. Zwołiński P. Liczebniiki zespolowe typu *samotrec* w języku polskim na tle słowiańskim i indoeuropejskim. Wrocław, 1954.
49. Benveniste E. Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. P., 1975. P. 162.
50. Кацнельсон С. Д. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949. С. 75—92.
51. Hopper P. J. «Decem» and «Taihun» languages: an Indo-European isogloss // *Bono homini donum: Essays in histor. ling. in memory of J. Alexander Kerns.* Pt. I. / Ed. by Arbeitman Y. L. and Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
52. Хоппер П. Дж. Языки «Decem» и «Taihun»: индоевропейская изоглосса // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. 21. М., 1988.
53. [Böhlingk O.] *Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.* 2. Tl. / Bearb. von Böhlingk O. St. Petersburg, 1881. S. 16.
54. Барроу Т. Санскрит. М., 1976. С. 74.
55. Гажрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Ряды «гutturальных» в индоевропейском. Проблема языков centum и satem // ВЯ. 1980. № 5. С. 17.
56. Ernout A. et Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4-e éd. P., 1967.
57. Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. Bd 1, 1973; Bd 2, 1970.
58. Lejeune M. *Traité de phonétique grecque.* 2-e éd. P., 1955. § 104.
59. *Этимологічний словник української мови.* Київ. Т. 1, 1982; Т. 2, 1985.
60. Фомин С. В. Системы счисления. 5-е изд. М., 1987. С. 6.

ШМИДТ К. Х.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ И КАРТВЕЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ *

Реконструкция праязыка базируется на двух предпосылках: 1) доказательстве генетического родства между исторически вычлененными дочерними языками; 2) выявлении архаизмов и инноваций в этих языках. Доказательство генетического языкового родства — это процесс идентификации, связанный с конкретной субстанцией лингвистических элементов (ср. [1]), при котором рекуррентные закономерные звукосоответствия, установленные путем сравнения морфемных и словарных элементов, образуют на фонологическом уровне (ср. [2—10]) фундамент для обнаружения элементов более высоких уровней праязыка, т. е. морфологии, словообразования, синтаксиса и лексики, на которые дополнительно влияли факторы изменения языка, не мотивированные фонологически. Приведем в этой связи следующий пример: старый «эргатив, совмещающий функции и другого падежа»¹, сохранил в сванском функции эргатива и направительного, в то время как в грузинском и занском вследствие возникновения новых морфем с эргативной функцией (др.-груз. *-maп*, зан. *-k*) его роль была ограничена выполнением функции направительного.

- (1) ЮК косвенный падеж-(a)d — [Первичная функция: эргативный падеж сван. *-(a)d*, др.-груз. *-maп*, зан. *-k*
 Вторичная функция: обстоятельственный падеж др.-груз., зан., сван. *-(a)d*².

Дальнейшее структурное развитие не зависело от засвидетельствованного в мегрельском переходе от картв. *-ad* к зан. *-o (t)*:

(2) Мегр. *koč-o (t)* «в качестве человека», *te cira ma čil-o točo* «я желаю (иметь) эту девицу женою» (ср. [15]).

Происшедшее в грузинском и занском расщепление былого «э р г а т и в а, совмещавшего функции и другого падежа», по-видимому, было результатом потребности обособления эргатива как падежа агенса. Соот-

* В основу статьи положен доклад, прочитанный в Тбилиси 11 сентября 1987 г. За перевод доклада на русский язык я приношу благодарность г-ну В. Сорокину.

¹ По месту, занимаемому в системе падежей, различаются э р г а т и в с а м о с т о я т е л ь н ы й (термин, введенный И. И. Мещаниновым) и э р г а т и в, с о в м е щ а ю щ и й ф у н к ц и и и другого падежа. Самостоятельную падежную единицу эргатив представляет в грузинском и занском языках. Функции творительного падежа он совмещает в аварском, даргинском, удинском, чеченском, ингушском языках, дательного — в адыгейском и кабардинском, локативного — в лезгинском, трансформативного — в сванском, родительного — в лакском языке» ([11]; ср. также [12]).

² Ср. [13, с. 255]; Климов проводит различие между показателями именительного *-i/-e* и эргативного *-maп, -m, -k* падежей как «исторически связанных с категорией определенности» и показателями остальных падежей, включая сван. *-d*, «в которых представлены „собственно падежные“ окончания» [14, с. 17—18].

ветствующий процесс отвечает принципу, сформулированному Куриловичем: «Эмпирический факт, часто наблюдаемый в лингвистической диакронии, состоит в вытеснении или замещении одного морфа другим только в его первичной или вторичной функции. Обновляется не сама морфема, а только морф, соотносящийся с частью ее функциональной сферы» [16].

На основе описанного здесь структурного изменения сванский эргатив на *-m*³, ограниченный в своем употреблении, следует отнести к более молодой формации. Из двух гипотез к объяснению образования⁴, по-видимому, заслуживает предпочтения теория, которая связывает эту морфему эргатива с ее грузинским соответствием:

(3) Груз. *-man* : сван. *-m*

Для пракартвельской падежной системы примечательно, что остальные грамматические падежи — абсолютив, именительный, дательный, родительный (ср. [19]), к которым Г. Топуриа прибавляет и инструментальный падеж [20], — сохранились в парадигме числа всех картвельских языков:

(4)	Абсолютив (casus indefinitus)	*-∅
	им.	*-i
	эрг.-направ.	*-(a)d
	дат.	*-s
	род.	*-(i)š
	твор.	*-t' ⁵

Что касается второй предпосылки для реконструкции доисторической модели, различения архаизмов и инноваций, то способ реконструкции должен брать свое начало в архаических памятниках языка или языковой группы, поскольку они наиболее близко стоят к праязыку. Архаизм языка может иметь различные основания: с точки зрения абсолютной хронологии он объясняется наличием ранней традиции; с точки зрения относительной хронологии он обуславливается консервативным статусом языкового материала, который вовсе не обязательно должен объясняться ранней традицией; раннее вычленение и маргинальная позиция языка (например, грузинские диалекты) или консервативное своеобразие какой-то группы текстов (например, юридические тексты, поэзия) могут способствовать сохранению более древнего состояния. Историческое соотношение картвельских языков по признакам традиции: 1) абсолютная хронология; 2) релятивная хронология; 3) когерентная традиция против фрагментарной традиции; 4) продолжительность традиции, — образует следующую картину:

³ Согласно Дондуа, эргатив на *-m*: «а) налицо только в единственном числе и только в нарицательных именах; б) является единственной формой эргатива в указательных местоимениях (*amñe-m* „этот“; при двойной аффиксации — *amñe-m-d*; *ežñe-m* „тот“ и др.); в) является характерным в именах числительных (*ašwe-m* „один“, *jarwe-m* „два, двое“ и др.); в сравнительной и превосходной степенях (*xoše-m*, *xoše-m-n-ē-m* „старший“; *xoxwre-m* „младший“ и т. п.)» [17, с. 193].

⁴ Ср., с одной стороны, Дондуа [17, с. 194]: «адыгейская форма эргатива возникла в период становления сванской эргативной конструкции, во всяком случае, не позднее возникновения картвельского эргатива»; с другой стороны, Климов [14, с. 53]: «сванская морфема *-m* (или гласный + *m*), совпадающая с отмеченным выше грузинским показателем»; см. также [18, с. 325 и сл.].

⁵ Ср. [19; 14, с. 146]; ср. также [20, с. 114]: «груз. *-(i)t*, мегр. *-(i)t(i)*, чан. *-(i)te(n)*, сван. *-šw // -wš* [...]. Следовательно: **-w-šd > -wš* (упрощение комплекса) *> -šw* (метатезис, Т. С. Шарадзенидзе). Например: *bāš* „камень“ — **bač-w-šd > bač-w-š > bač-šw*. О соотношении груз., зан. *t* : сван. *šd* ср. [6, с. 75; 21].

(5)

	1	2	3	4
Др.-груз.	+	+	+	+
сван.	—	—	—	—
мегр.	—	—	+	—
лазск.	—	—	+	—

С точки зрения а б с о л ю т н о й х р о н о л о г и и грузинский язык, письменные традиции которого восходят к V в., занимает особое место. Архаические черты древнегрузинского можно обнаружить как путем сравнения с новогрузинским, так и путем сопоставления с другими современными картвельскими языками. Признаки, отличающие древнегрузинский от позднего грузинского языка, неоднократно обсуждались, например, А. Чикобава [22], И. Кавтарадзе [23] и в последнее время З. Сарджвеладзе [24]. К трансформациям относятся на фонологическом уровне процессы дедифтонгизации и совпадения увулярного *q* и *x* в *x*.

(6) Др.-груз., сван. *qan*- «пахать»: груз. *xan*-, зан. *xon*-; др.-груз. *qar-i*, сван. *qan* «бык»: груз. *xar-i*, зан. *xož-i*.

На морфологическом уровне у инноваций — таких, как склонение имен собственных в именительном и звательном падежах⁶, или совпадение объектных личных префиксов 1 лица мн. числа — обнаруживается утрата грамматических категорий. Склонение имен собственных показывает, что категориальное различие между индетерминированными апеллятивами и детерминированными собственными именами нейтрализовано. Имена собственные не оформляются в немаркированном корневом падеже (прямой падеж *casus indefinitus*), но следуют морфолого-синтаксической модели апеллятива⁷. Сведение к единому образцу объектных личных префиксов 1 лица мн. числа, по-видимому, означает снятие категориальной дифференциации между инклюзивом и эксклюзивом:

(7) Эксклюзивное др.-груз. *m* : *puri ese čueni arsobisaj motec čuen dγeš* Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον (Мф. 6,11); инклюзивное *gu* «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Высказанное Шанидзе предположение, «что в литературном грузинском древнейшего периода различались формы инклюзива / эксклюзива в 1-м объектном лице множественного числа *gu*- должно было быть показателем инклюзивного лица, а *m*- — эксклюзивного» [25, с. 65], подтверждается двояким образом: 1) благодаря существованию алломорфов *gm*- и *m*- в древнегрузинском; 2) обнаружением категории инклюзива / эксклюзива в сванском.

(8) Притяж. местоимение 1 л. мн. ч. экскл. *nišgwej* при инкл. *gwišgwej*, глагольный показатель субъекта 1 л. мн. ч. экскл. *xw — d*, *w — d* при инкл. *l — d*, *lə — d*; показатель объектного лица экскл. *n*, *nə* при инкл. *gw*.

К трансформациям, изменяющим структуру языка, относится также развитие согласования между дательным падежом и морфемой мн. числа *-t*, на которую уже указал Деетерс [2, с. 57]:

(9) др.-груз. *rametu ganučirav-t* (им. п.) *da arγara xart tkuen misa erad* «ибо он вас покинул и вы уже не его народ»: груз. *qi-čeria-t* (дат. п.) «вы написали».

Ослабление согласования в номинативе способствовало исчезновению глагольного суффикса мн. числа *-n* [23, с. 580], процесс, который, по

⁶ Ср. Шанидзе [25, с. 41]; архаичность древнегрузинского подтверждается, например, черкесским, ср.: «В функции именительного и эргативного падежей имена собственные встречаются в основном без оформления в виде основы» [26, с. 63].

⁷ Ср. Чикобава (ссылка по [14, с. 42]) и см. также [27].

мнению Чикобава [22, с. 12 и сл.], может быть связан с распространением исторически коллективного мн. числа на *-eb*. В то время как для мн. числа в древнегрузинском, выраженного морфемой *-n*, действительна формулировка Чикобава — «в древнегрузинском именительный множественного на *-n* всегда согласуется с глаголом в числе» [22, с. 12], коллективное мн. число на *-eb* не указывается среди глагольных аффиксов: «глагол с ним не согласуется» [22, с. 13] ⁸. Характерным признаком раннего древнегрузинского, в отличие от современных картвельских языков, является флексивный аспект (в терминологии Хольта [29, с. 35]), сложившийся на оппозиции перфективной системы аориста и имперфективной системы презенса и типологически соответствующий древнеиндоевропейскому виду в дефиниции, данной Мейе для классического греческого: «Тема презенса обозначает процесс, рассматриваемый в своем развитии, в продолжении; тема аориста — процесс сам по себе в целом; первый можно обозначить линией, а второй — точкой» [30]. Внутри системы древнегрузинского аспекта особое место занимает пермансив; ср. [31, с. 80]:

(10)	Способ действия (вневременное, обычное) Конъюнктив-футурум Императив	Перфектив Аорист Пермансив Конъюнктив-футурум II Императив II	Имперфектив Презенс, имперфект Пермансив презенс, Пермансив имперфект Конъюнктив-футурум I Императив I
------	---	---	---

Исходящий из основы аориста пермансив не может принадлежать к имперфективному аспекту, хотя Чикобава [32] и Г. Мачавариани [33, с. 123] принимают это; ср. также [31; 34, с. 292].

(11) Аор. *mo-klā* «он убил»: перм. *mo-kl-i-s*: сослаг.-буд. II *mo-kl-a-s*: императив II *mo-kał-n*.

Древнейшая функция пермансива — гномическая, как она описана Деестерсом [2, с. 111]: «Пермансив выражает общие истины, справедливые безотносительно ко времени, следовательно, встречается в сентенциях и — в соответствии с природой текста — особенно часто в высказываниях о боге». Гномическая функция пермансива находит типологическую параллель в гномическом аористе древнегреческого: *ὅς καὶ θεοῖς ἐπιπέθεται, μάλα τ'ἔκλυον αὐτοῦ* (Ил. 1, 218) «Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют» (см. [35]). Синтагматические структуры современных картвельских языков складываются формально на глагольной основе и отличаются также функционально — передаваемым законченным или незаконченным действием — от более старой флексивной структуры, ср. [2, с. 138; 36, 37, 34, 33]. Для грузинского переход к синтагматической структуре Шанидзе датирует периодом между XI и XVI столетиями. К сохранившимся в отдельных языках реликтам флексивного характера относятся лазские свидетельства проспективного сослагательного в функции буд. времени ⁹, соответствующие сванскому образованию имперфективного будущего с помощью суффиксов *un-i*, *in-i* от основы наст. времени:

(12) В.-балт. *aqni* «пахет»: *aqn-uni* «будет пахать»: *ad-qāni* «попахет» [3, с. 112; 33, с. 138; 39, с. 161].

К этим же реликтам относится прослеживаемое во всех картвельских языках образование супплетивных парадигм:

⁸ О соотношении *-n* и *-t* см. также [28].

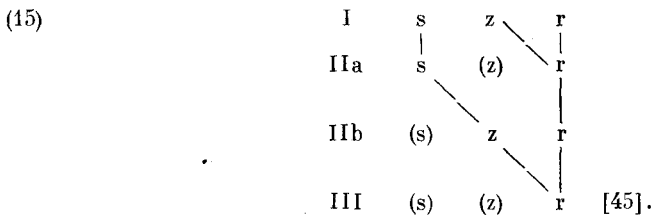
⁹ Ср. [38; 33, с. 134]; из недавних работ см. [39, с. 149] (примеры из [40]).

(13) Груз. аор. *naxa* «увидел»: *tkva* «сказал»: буд. вр. *naxavs, itqvis*: наст. вр. *xedavs, ambobs*; сван. аор. *la-ĩš, la-l-ěš* «выпил»; *la-l-ēm* «съел»: наст. вр. *itre, izbi* (ср. [41, с. 272; 37, с. 111; 33, с. 121; 42, 43]).

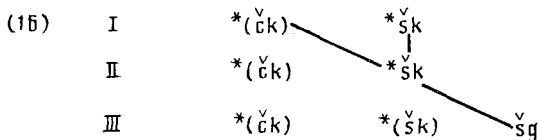
Что касается относительной хронологии, которая и является основным предметом данной статьи, то она как вспомогательное средство реконструкции была разработана на базе исторической фонологии. Гётце называет относительную хронологию «eine Chronologie nach inneren Kriterien» («хронологией по внутренним критериям»), причем ставя временную последовательность диахронических процессов в центр историко-лингвистических исследований и различая четыре потенциальных отношения между двумя фонемами:

- (14)
- «1. Звук развивается из другого;
 2. Другой звук развивается из данного;
 3. Звук влияет на другой;
 4. Звук подвергается влиянию другого звука» [44].

50 лет спустя после Гётце проблему промежуточных ступеней (intermediate stages) при бинарном слиянии (binary merger) двух фонем исследует Хенигсвальд [45]. В качестве иллюстрации он приводит переход сибилантной фрикативной фонемы /s/ — через промежуточную ступень */z/ в /r/:



Представленное в (15) «оптимальное решение» описывается Хенигсвальдом следующим образом: «Оно избегает более нежели минимальные сдвиги за интервал времени; избегает симультанности разделений или слияний и позволяет определить обе ступени II и III наиболее ясным образом, а именно посредством слияний. В то же время оно имеет дело с минимальным числом ступеней» [45]. Картвельский пример слияния дает совпадение *čk и *šk в сванском šg — с промежуточной ступенью *šk:



Сохранившиеся в занском комплексы согласных праязыка трансформировались в сванском и грузинском различным образом:

(17) Зан. *čkimi*: груз. *čemi*: сван. *mi-šgu* «мой»; зан. *škviti*: груз. *švidi*: сван. *išgwid* «семь»¹⁰.

Релятивная хронология в картвельских языках была исследована уже в ряде работ, в том числе в основополагающем труде Гамкрелидзе / Ма-

¹⁰ Ср. [6, с. 57; 8, с. 40]; о развитии *škw > *škw и т. д. см. [5, с. 26 и сл.].

чавариани [9]. При систематическом рассмотрении материала следует, однако, обратить внимание на два обстоятельства: 1) расширение сферы применения относительной хронологии за пределы фонологического уровня, т. е. распространение этого приема на морфологию, синтаксис, словообразование и лексику; 2) учет генетических взаимоотношений картвельских языков. О применении относительной хронологии на морфологосинтаксическом уровне говорилось выше в связи с сохранением в сванском «эргатива, совмещающего функции и другого падежа», ср. (1). Типологические параллели других кавказских языков — среди прочего преимущественно диптогическая система черкесского¹¹ или открытый Г. Топуриа для дагестанского склонения «палеоэргативный уровень» [46] — говорят о пракартвельском статусе этого синкретического падежа, который позже в отдельных языках был заменен эргативом самостоятельным. Дальнейшие подтверждения эффективности приема релятивной хронологии на синтаксическом уровне мы находим в лазском и мегрельском: трихотомия в грузинском и сванском — системы аориста, наст. времени и перфекта —

(18)

Аор.: эрг. п. — им. п.
Наст. вр.: им. п. — дат. п.
Перф.: дат. п. — им. п.

утрачена в обоих занских языках различными путями. В лазском она была сведена к единой модели транзитивной диатезы по примеру аориста:

(19) Аор. *usta-k* (эрг. п.) *doḡodu oxori* (им. п.) «Плотник построил дом» >
> наст. вр. *usta-k ḡodums oxori*, перф. *usta-k doḡodudoren oxori*¹², в мегрельском — распространением эргатива с транзитивной на интранзитивную функцию аориста:

(20) Аор. переходный *xuro-k 'ude kodaagu* «Плотник дом построил» >
> аор. непереходный *tiši tuma-k* (эрг. п.) *doḡuru* «Его отец умер»¹³.
Тенденция к аналогичному выравниванию в серии аориста действовала также в грузинском:

(21) *zaylta daiḡera* «Собака залаяла».

По Харрис, семантический контекст для обобщения эргатива остается ограниченным глаголами, «выражающими направленное движение... производство шума... перемещение с одного места на другое... и другие действия» [49].

Семантически отграниченный контекст подтверждает мнение Деетерса, что «случаи совершенно немотивированной постановки эргатива при непереходных глаголах... могут быть объяснены только аналогичным переносом» [2, с. 98]. Против интересной попытки Климова [50, с. 223] интерпретировать свидетельства эргатива в связи с интранзитивными глаголами как реликты более старой активной конструкции говорит среди прочего и древнеармянский перфект, который обнаруживает типологическую параллель аналогичного переноса агенса с транзитивной на интранзитивную синтагму при «семантически активных глаголах» движения [51, с. 10]:

(22) *Ew anḡeal ənd ayn Yisusi* (род. п.) *etes zayr mi* Καὶ παράγων ὁ ἠρώδης ἐξείδεν εἶδεν ἄνθρωπον (Мф. 9, 9); *sneal Ormazdi* (род. п.) ...*ekn ekaḡ araḡi Zruanay* (Езн. 114) «когда Ормизд родился... пошел он и предстал перед Зрваном» [52—55].

¹¹ Рогава / Керашева различают следующие падежи: «именительный, эргативный, творительный и превратительный» [26, с. 61].

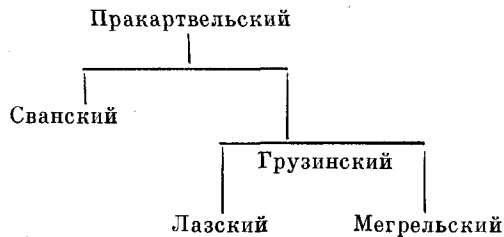
¹² Примеры из [40, с. 103]; ср. также [47, с. 164 и сл.].

¹³ Примеры из [40, с. 104; 48].

Трихотомия, сохранившаяся в грузинском и сванском (18), представляет собой, таким образом, непосредственную пракартвельскую основу синтаксического развития в занских языках. Но если сопоставить лазско-мегрельские конструкции с типологически более старой эргативной моделью северокавказских языков, как она, например, имеет место в черкесском, то следует рассматривать пракартвельскую модель относительно-хронологически только как промежуточную ступень.

Важным условием утраты эргативной конструкции в пракартвельской системе наст. времени явился, видимо, его имперфективный аспект (вид) (ср. [47]). Однако развитие транзитивного презенса в картвельском, по-видимому, трудно объяснить факторами, которые способствовали трансформации доисторического индоевропейского в номинативный язык — т. е. особая близость признаков одушевленности и маркированности при прямом объекте транзитивных глаголов [56—58] и аналогичное маркирование субъекта интранзитивных глаголов. Второй аспект релятивной хронологии — выше постулированный критерий расщепления пракартвельского — базируется на трех теоретических предпосылках: 1) на разработанном Деетерсом [2] родословном древе (Stammbaum), которое обнаруживает раннее отделение сванского:

(23)



2) на принципе Лескина [59]: «Критерии ближайшего родства могут быть обнаружены только в таких позитивных сходжениях данных языков, которые в то же время были бы совместными отличиями». Примененный к картвельскому материалу, этот принцип позволяет ожидать общие инновации не только в лазском и мегрельском, но и в занском и грузинском; 3) на характере сванского как маргинального языка, раннее выделение которого имеет своим последствием сохранение архаических черт. Данную Мейе [6] дефиницию для индоевропейских маргинальных языков можно применить поэтому *mutatis mutandis* и к сванскому: «Языки, занимающие периферию индоевропейской территории, могли принадлежать переселенцам, которые первыми отделились от „индоевропейского“ народа и вследствие этого сохранили архаизмы, не известные тем переселенцам, язык которых, принадлежа к центральному району, сохраняет традицию». Наряду с древнегрузинским, сохранившим в силу абсолютной хронологии архаические черты, сванский своими архаизмами, обусловленными его релятивной хронологией, также вносит значительный вклад в дело реконструкции пракартвельского.

Архаизмы, сохранившиеся в сванском, противостоят инновациям в других картвельских языках. Они подразделяются на три группы:

А. Архаизмы ограничены пределами сванского (принцип маргинального языка); грузинский и занский развивались совместно (принцип Лескина).

Б. Сванские архаизмы подтверждаются грузинским. Консервативность грузинского может объясняться ранней письменной традицией (принцип абсолютной хронологии).

В. Сванские архаизмы подтверждаются их лазскими и/или мегрельскими соответствиями.

Наконец, следует указать на два дополнительных обстоятельства, которые должны учитываться при применении приема относительной хронологии для реконструкции:

Г. Сванский эволюционировал после отделения от пракартвельского праязыка.

Д. Грузинский и занский после вычленения сванского начали расходиться благодаря инновациям в том или другом языке.

Для иллюстрации пяти предпосылок следует обсудить некоторые принципы группирования архаизмов:

Ad А. Классическое доказательство сохранения пракартвельского архаизма в сванском представляет собой уже рассмотренный «эргатив, совмещающий функции и другого падежа». Различное оформление разविшегося затем эргатива самостоятельного (груз. *-ma* или зан. *-k*) указывает на поздние процессы, протекающие в отдельных языках. Следует, однако, проверить, насколько выявленный в сванском, но в своих контекстах ограниченный рамками имен собственных, местоимений, числительных, сравнительной и превосходной степеней, эргатив на *-m* (ср. примеч. 3) может быть вместе с груз. *-ma* сведен к старому падежу картвельской прономинальной флексии.

Дополнительные аргументы для раннего вычленения сванского можно привести как на фонологическом, так и на морфологическом уровне.

Фонологический уровень: 1. Аффиксные и словарные соответствия делают возможной реконструкцию старого латерального, рефлексы которого, ограниченные анлаутом, мы находим в груз. *s* и сван. *l*¹⁴.

(24) Груз. *sa-katme* «курятник» (мегр. *o-kotome*, лазск. *o-kotumale*) : *la-ktalar*; *sa-texi* «стамеска» : *la-txi*; *sze* > *rze* «молоко» : *ləže*; *si-*—префикс (груз. *si-zmari* «сон» : лазск. *i-zmoža*) : *li-*¹⁵.

2. Лексические соответствия груз., зан. *t* : сван. *šd* объясняются палатальными *t'* в картвельском [6, с. 75]:

(25) Груз. *t*, зан. *t* : сван. *št/šd* < */t'/ : *txra* «рыть, копать», *txor* : *šdux*; *txili* «лесной орех», *txiri* : *šdix*; *tagvi* «мышь», лазск. *mtugi* : *šdug*; *otxi* «четыре», мегр. *otxi*, лазск. *otxo* : *wošdxw* и т. д.

Звуковому соответствию *t* : *šd* и в том случае присуще большое значение, если, соглашаясь с И. Меликишвили [21], объяснять *šd* как обусловленный позицией вариант **t*. Долгие гласные, обнаруженные в верхнебальском и лашхском, согласно аргументам Ониани [62] и Гигинейшвили [63], по-видимому, восходят к пресванскому.

(26) В.-бал. *ladey* : мн. ч. *ladyar* «день», н.-бал. *ladey* : *ladyar*; лашх. *legwēr* : *legwēral* «мельница», н.-бал. *lekwer* : *lekwerār* [62]; *dīna* «дочь, девушка» < **dīnā* : *čāš* «человек, мужчина» < **čaši* : груз. *qaci* [63].

Согласно концепции Гамкрелидзе / Мачавариани [9, с. 262 и сл.], можно ожидать существования долгих гласных, кроме того, в пракарт-

¹⁴ Ср., наоборот, груз. *asuli*, зан. *osuri* : сван. *asuš* и т. д. [6, с. 79; 61].

¹⁵ Ср. [2, с. 220; 6, с. 78]. По мнению автора, в занском **si-* едва прослеживается в качестве словообразовательного элемента; в то время как отглагольные имена (Verbalabstracta) образуются посредством циркумфикса *o...u* или суф. *-u* (ср., например, лаз. *o-ikval-u* «сказание, говорение», *gamaxtim-u* «выход»). Морфема *o-*, восходящая к **sa-*, вытеснила из занского элемент **si-* (груз. *si-*, сван. *li-*); подробнее см. статью автора «Место сванского в семье картвельских языков» («Материалы первого международного картвелологического симпозиума». Тбилиси, 1988).

вельском, что нелегко обосновать.

(27)			Груз.	Мегр.	Сван.
	Наст. вр.	(*ber)	v-ber-(av)	v-bar-un-k	a-bēl-e
	Аорист	(*bēr)	v-ber-e	v-bar-i	(čü)-adz-bēl-e
		«дуть»			

Морфологический уровень: 1. Неупорядоченная флексия; 2. Частое использование префиксов; 3. Аблаут: факты, обнаруженные Гамкрелидзе и Мачавариани [9] для общекартвельского, преобразуются аналогично; ср. [10, с. 66]:

(28) *qedni* «приходит» (вм. **qd-eni*): аор. 1 л. ед. ч. *onqwed* < **an-w-qed*, 2 л. *an-qed*, 3 л. *an-qad* < **an-qada* (ассимиляция) < **an-qeda* (аналогия) < **an-qd-a*; *qide* «приносит» (вм. **qede*): аор. *an-qid*.

Для дифференциации диатез (залогов) аблаут при бессуффиксных сильных глаголах систематически перестраивался:

(29)	<i>a-läx</i>	«он возвратился»	<i>a-tix</i>	«он возвратил»
	<i>a-xař</i>	«он сломался»	<i>a-xip</i>	«он сломал»
				(ср. [64; 65, с. 72]).

4. И м п е р ф е к т. На основе примечательного материала В. Топурия [3, с. 73 и сл.] Мачавариани подчеркивает в опубликованной посмертно статье различие между сванскими диалектами: «...диалекты сванского языка подчас больше отличаются друг от друга, чем занский язык от грузинского» [66, с. 207]. Мачавариани различает шесть типов:

(30) 1) тип с нулевым суффиксом (в.-бал., лент.): *řex-en-i* «возвращается» при имперф. *řex-en*; 2) тип с суф. *-a* (все диалекты): лашх. *amār-e* «готовит» при имперф. *amār-a*; 3) тип с суф. *-d*: н.-бал. (лахамульский) *ar-d* «был», *sgur-d* «сидел»; 4) тип с суффиксами *-n* (*-ən*, *-än*, *-on*): в.-бал. *xalař* «любит» при имперф. *xalař-ən* (*da*); 5) тип с суф. *-ol*: в.-бал. *imāri* «готовится» при имперф. *imār-ol* (*da*); 6) тип с суф. *-w* (н.-бал.): *ařxi* «ограждает, ставит ограду» при имперф. *ařxi-w*.

Важен вывод Мачавариани, согласно которому «сложение единого стандарта имперфекта, преобладание в этой функции суф. *-d* кажется вторичным явлением и представляет общую инновацию грузинско-занского» [66, с. 216]. По-видимому, суффиксальные формы различных типов служили первоначально для обозначения ряда образований длительного способа действия в прошлом¹⁶, прежде чем они, подобно образованиям настоящей основы как носителям имперфективного аспекта, были включены в систему флексийного аспекта.

5. Как морфологический архаизм следует рассматривать не единообразно проведенное оформление 3 лица в сванском. В этой связи затронем три суффикса:

1) морфема *-s* остается ограниченной рамками сослагательной функции, которая, по Климову [7, с. 161], соответствует ее «первоначальной дистрибуции»¹⁷:

(31) Ед. ч.: мн. ч.: I. *-s* (груз., зан., сван. в сослаг. накл.): *-en/-an*, *-an* (груз., зан.); II. *-a*, *-u* (груз., зан.): *-es* (груз., зан.); III. *-n* (груз.): *-ed* (груз.).

¹⁶ К вопросу о способе действия в индоевропейском см. недавнюю работу Рикса [67].

¹⁷ Ср. также [2, с. 46; 68, с. 65]. Другую интерпретацию см. [13, с. 261].

Ониани [69, с. 173], кроме того, предлагает дихотомическую дифференциацию форм без *-s* (1 и 2 лицо ед. числа) и форм с *-s* (3 лицо ед. числа плюс все формы мн. числа) — решение, которое представляется мне не бесспорным. Во-первых, возникает проблема обоснования в рамках звукового развития (ср. [68, с. 69]), а также вопрос отсутствия морфемы *-s* в 1 и 2 лице ед. числа:

(32) Сослаг. накл. I 1, 2 л. ед. ч. *xv-a-mār-de* «чтобы я приготовил», *x-a-mār-de* : 3-е л. ед. ч. *a-mār-des*, 1 л. мн. ч. (инкл.) *l-a-mār-de-d* < **l-a-mār-des-d* < **l-a-mār-des-šd* и т. д.

Во-вторых, неясен по своему происхождению суф. мн. числа *-x*, который связали с омонимичным адыгейским *-x*, ср. [17, с. 33]. Морфема не позволяет определить согласование: она относится к субъектам интранзитивных и лицам, совершающим действие транзитивных глаголов, также и в том случае, когда последние выражены объектными префиксами 2 или 3 лица [2, с. 65]:

(33) *çale* «говорит»: мн. ч. *çalex*; *amāra* «готовил»: мн. ч. *amārax* (имперф.), *anmāre* (аор.): мн. ч. *anmārex*; *ži-xal* «ты знаешь»: *ži-xal-x* «вы знаете». В-третьих, лишь в немногих примерах имеется личный преф. *-l*:

(34) *li* «есть»: 1, 2 л. *xvi*, *xi*; мн. ч. 3 л. *lix* : 2 л. *xīšd*; *lə-g* «стоит»: 1 л. *xug*, лашх. *xūg[xvi]*, *ləg xvi*; *lalēm* «съел»: 2 л. *lāxām*; *lalđš* (лашх.), *latš* (в.-бал.) «выпил»: 1 л. *lōxuš*, *loxus*; *lā-n-ṭix* «принес обратно» < **lā-l-ṭix*; *lā-n-ḳid* «взял» < **lā-l-ḳid* и т. д.¹⁸

Эта морфема по своему происхождению не является показателем 3 лица, поскольку грузинские и занские рефлексы для картвельского личного суффикса 3 лица отсутствуют; 2) специально неоформленное 3 лицо ед. числа подтверждается черкесским языком, в котором преф. *-me*, *-ma* встречается только в определенных контекстах¹⁹; 3) неоформленное 3 лицо соответствует также принципу Бенвениста [71]: „Третье лицо“ не есть „лицо“; это именно глагольная форма, функция которой состоит в том, чтобы выражать *не-лицо*. Такому определению соответствуют отсутствие какого бы то ни было местоимения третьего лица (фундаментальный и общеизвестный факт, о котором здесь достаточно напомнить) и совершенно особое положение третьего лица в глаголе большинства языков».

Ad Б. Положение, при котором архаические черты общекартвельского сохранились в сванском и грузинском, возникло благодаря тому обстоятельству, что занские языки после вычленения сванского [ср. (23)] претерпели преобразования. На фонологическом уровне ими был затронут преимущественно вокализм с переходами от *e* к *a* и от *a* к *o*²⁰.

(35) Груз., сван.: зан.: *erti*, *ešxu* : зан. *arti* «один»; *sze*, *ləže* : мегр. *bža* «молоко»; *ḳaci*, *çaš* (*čäš*) : зан. *ḳoči* «человек»; *asuli*, *asuš* : зан. *osuri* «дочь» и т. д.

Terminus post quem для перехода *a* в *o* в занском дает греческий топоним милетской колонии *Ḳāsic*, современный Потти, расположенный у устья Риона [72; 6, с. 27]. На синтаксическом уровне к архаизмам, сохранившимся в грузинском и занском, принадлежат уже упомянутые транзитивные конструкции [см. (19) и (20)] и тмезис, которые независимо от этого сохранились также в дигорском диалекте осетинского; ср. [2, с. 12, 16; 73—75].

¹⁸ Дополнительную литературу по этой проблеме см. в [68].

¹⁹ Ср. [70]; ср. также [26, с. 139]: «В форме третьего лица в глаголах без приставок аффикс динамичности *uə* переходит в *mə*, который воспринимается в качестве показателя III лица».

²⁰ Но в ауслауте *-a* сохраняется: ср. груз. *šma*, *tba* : мегр. *šima*, *toba*.

(36) Др.-груз. *xolo ay-raj-dga gantiad pirvelsa mas šabatsa* ἀναστὰς ἐδ
 πρωί πρῶτη σαββάτου «Воскреснул рано в первый день недели» (Мк 16, 9);
 сван. *mi sga lok otš'edni qarqte* «Я, сказал он, у него в глотке застряну»;
 дигор. *æra-sæ-farsta* «спросил он их (-sæ)».

Сванский различает два класса префиксов: а) обозначенные Деетерсом [2, с. 17] как префиксы направления *an-*, *ad-*, *es-* и *la-*, которые прочно укоренились в вербальных формах; б) адвербальные префиксы *sga-*, *ka-*, *ži-* и *či-*, которые свободно связаны с глагольными формами и отражают тмезис. Действие закона Вакернагеля распространяется только на класс б).

Ad В. Положение, при котором архаические черты общекартвельского сохранились в сванском и занском, возникло благодаря тому, что грузинский эволюционировал после вычленения сванского. Важнейшее свидетельство этого представляет собой оживленно дискутируемое распределение аффрикат и сибилантов в картвельских языках. В теории Мачавариани [9, с. 385] совпадение между сванским и занским противоречит модели вычленения картвельских языков (23):

(37)	*	ž	c	ç	z	s
		ž ₁	c ₁	ç ₁	z ₁	s ₁
		ž	č	ç	(ž)	š

Но если придерживаться более близкого к реальности подхода (теория была в последнее время подтверждена Меликишвили [76] типологическими аргументами), то грузинское отклонение от этой реконструкции (17) объясняется трансформацией, которая произошла в грузинском после вычленения сванского ²¹:

(38)	*	ž	c	ç	z	s
		ž	č	ç	ž	š
		žg	čk	çk	(žg)	šk

Реконструкция Мачавариани, напротив, предполагала бы противоречащее модели вычленения (23) одинаковое развитие фонем в западном картвельском, охватывающем сванский и занский позднего периода, т. е. после вычленения сванского.

Ad Г. Сванские инновации относятся в фонологии преимущественно к обусловленным контекстом ассимиляциям гласных и среди прочего к умлауту (который был обнаружен Шанидзе [80], уточнен В. Топуриа [81, 82] для конечных слогов и исследован в монографии Калдани [83]), а также к лабиализации *a* и *e* [79; 6, с. 30, 35]:

(39) Груз. *tagvi* «мышь», лазск. *m-tugi*: сван. *šdug*, род. п. *šdugwi*; груз. *txemi* «темя, вершина, верх»: сван. *txum* «голова».

Эти комбинаторные трансформации базируются на реконструированной системе картвельских гласных, и их также следует отнести к периоду после вычленения сванского, как и уже упомянутое дальнейшее развитие консонантных групп *šk*, *čk*, *žg*, *çk*; см. (16) и (17). Ограничены пределами сванского также синкопа (редукция гласного) и апокопа. Оба процесса объясняются динамическим акцентом, который в доисторический период, по-видимому, приходился на первый слог слова. Правда, синкопа в лентехском выражена очень слабо. Осидзе выдвинула в недавнее время тезис о взаимозависимости между синкопой и апокопой: «Между редукцией-синкопой и отпадением конечных согласных существует внутренняя

²¹ Ср. [6, с. 54 и сл.]; в последнее время Фэнрих [77] высказался в защиту теории Мачавариани; ср. также [78, с. 20 и сл.] без определенного решения.

связь. Эти два процесса связаны друг с другом: где имеем отпадение конечного гласного, там редукция-синкопа уже не действует, и наоборот» [84, с. 60].

(40) В.-бал., лент. *tu-šwân* «сван»: н.-бал. *tu-šn-i*; в.-бал. *laqân* «пашня», лашх. *la-qan*: н.-бал. *la-qni*.

С другой стороны, выпадение согласных последнего слога — уже общесванское явление, как это показывает автор среди прочего на примере формантов основы наст. времени²². Взаимозависимость между синкопой и апокопой (40) остается в соответствии с этим, по-видимому, ограниченной теми случаями, при которых действие обоих законов, синкопы и апокопы, привело бы к отсутствию слоговой вершины. Что касается словарного фонда сванского языка, то Климов [65, с. 78] насчитывает 400 грузинско-сванских изоглоссе против 1000 грузинско-занских. Всестороннее исследование лексики сванского языка, как исконной, так и заимствованной из таких языков, как грузинский, мегрельский, турецкий, осетинский, абхазский, адыгейский и, наконец, русский, еще предстоит предпринять²³.

Ad D. В плане относительной хронологии к позднему времени следует отнести трансформации, ограниченные грузинским или занским [см. выше: вокализм (35), аффрикаты / сибиллянты (37), (38) и эргативная конструкция (19), (20)]. Возникшие благодаря палатализации переходы *d* в *ž* в занском недавно снова рассматривались Рогава [87], ср. также [6, с. 76; 8, с. 20].

(41) Др.-груз. *ṭredi*: лазск. *ṭorožī*, мегр. *ṭoronžī* «голубь»; др.-груз. *ṭeryedi* «гусь»: лазск. *ṭoryožī*, мегр. *ṭoryonžī*; др.-груз. *qidi* «мост»: зан. *xinži* (ср. осет. *xid, xed*)²⁴; др.-груз. *qundi* «деревянная колодка»: мегр. *xunži*.

Сформулируем кратко наши выводы. Исходя из принципов реконструкции, т. е. процесса идентификации материала с целью выявления генетического языкового родства и разграничения архаизмов и инноваций, были обсуждены некоторые архаизмы древнегрузинского, обусловленные абсолютной хронологией. После краткого исторического экскурса в области релятивной хронологизации явлений, связанных с исторической фонологией, был предпринят анализ последовательности важнейших трансформаций в картвельских языках, строившийся на трех предпосылках: 1. Родословное древо Деетерса (23); 2. Статус сванского как маргинального языка с консервативными признаками; 3. Допущение общих инноваций в грузинском и занском (принцип Лескина). Для иллюстрации этой теории в заключении были представлены обоснования для пяти различных фактов. Это: 1) архаизмы, которые остались ограниченными рамками сванского; 2) сванские архаизмы, которые подтверждаются грузинским; 3) сванские архаизмы, которые подтверждаются лазским и/или мегрельским; 4) сванские инновации, которые возникли после вычленения этого языка из пракартвельского; 5) дифференциация грузинского и занского в период после вычленения сванского.

²² «И в системе сванского языка гласные суффиксы исторически предполагают структуру VC. Показатели основы презенса *-a*, *-e* и *-i* получены из вариантов **-an*, **-ew* и **-il/-el* соответственно» [84, с. 59].

²³ Ср. [65, с. 81]; об элементах иранского происхождения см. [85], об адыгейских заимствованиях — [86].

²⁴ Ср., однако, Мачавариани [8, с. 21]: «из общекартвельской глагольной основы **qed-*».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Benveniste E.* La classification des langues // Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris II. P., 1952—1953 (= *Benveniste E.* Problèmes de linguistique générale. P., 1966. P. 104).
2. *Deeters G.* Das kharthwelische Verbum. Leipzig, 1930.
3. *Топуриа В.* Сванский язык. I. Глагол. Тбилиси, 1931; 2-е изд. Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).
4. *Чикобава А.* Чанско-мегрельско-грузинский словарь. Тбилиси, 1938 (на груз. яз.).
5. *Гамкрелидзе Т.* Сибилантные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
6. *Schmidt K. H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache. Wiesbaden, 1962.
7. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
8. *Мацавариани Г.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
9. *Гамкрелидзе Т. В., Мацавариани Г. И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
10. *Gamkrelidze T. V., Mačavariani G. I.* Sonantensystem und Ablaut in den Kartvelsprachen. Eine Typologie der Struktur des Gemeinkartvelischen / Ins Deutsche übersetzt, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Boeder W. Tübingen, 1982.
11. *Чикобава А.* Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв. ред. Жирмунский В. М. Л., 1967. С. 13.
12. *Чикобава А.* Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1948 (на груз. яз.).
13. *Schmidt K. H.* On the reconstruction of Proto-Kartvelian // Revue de Kartvéologie Bedi Kartlisa. 1978. 36.
14. *Климов Г. А.* Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте. М., 1962.
15. *Кипшидзе И.* Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914. С. 021.
16. *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964. P. 14.
17. *Дондуа К. Д.* Адыгейского типа эргатив в сванском // ИКЯ. 1946. 1 (= *Дондуа К. Д.* Избр. тр. I. Тбилиси, 1967).
18. *Мартиросов А.* Местоимение в картвельских языках. Историко-сравнительный анализ. Тбилиси, 1964 (на груз. яз.).
19. *Machavariani G. I.* The system of the Ancient Kartvelian nominal flecion as compared to those of the Mountain Caucasian and Indo-European Languages // Theoretical problems of typology and the northern Eurasian languages / Ed. by Dezsö L., Hajdú P. Amsterdam, 1970.
20. *Топуриа Г.* К истории творительного падежа в сванском // Изв. АН ГрузССР. Сер. лит-ры и яз. 1977. 3 (на груз. яз.).
21. *Меликишивили И.* К объяснению двух изолированных звукосоответствий в картвельских языках // Вопросы современного общего языкознания. 1981. 6. С. 70 (на груз. яз.).
22. *Чикобава А.* К древне- и новогрузинскому компонентам в морфологической и синтаксической структуре языка «Витязя в барсовой шкуре» // ИКЯ. 1966. 15 (на груз. яз.).
23. *Kavtaradze I.* Der Entwicklungsweg der georgischen Literatursprache // Georgien / Sakartvelo (Wiss. Zeitschr. der Friedrich-Schiller-Universität Jena). 1975. 24.
24. *Сарджвеладзе З.* Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
25. *Шанидзе А.* Грамматика древнегрузинского языка. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
26. *Рогова Г. В., Керашева З. И.* Грамматика адыгейского языка. Краснодар; Майкоп, 1966.
27. *Schmidt K. H.* Casus indefinitus bei Eigennamen // Revue de Kartvéologie Bedi Kartlisa. 1980. 38.
28. *Schmidt K. H.* Eine typologische Übereinstimmung in der altgeorgischen und altarmenischen Verbalflexion // KZ. 1985. 98.1.
29. *Holt J.* Études d'aspect // Acta Jutlandica. 1943.15. 2.
30. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, 4th ed. P.; 1969. P. 249 (=Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л. 1938.).
31. *Schmidt K. H.* Aspekt und Tempus im Altgeorgischen // ЕИКЯ. 1985. 12.

32. Чикобава А. Проблема эргативной конструкции иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1948. С. 79 (на груз. яз.).
33. Мачавариани Г. Категория вида в картвельских языках // Вопросы структуры картвельских языков. 1974. 4. С. 123 (на груз. яз.).
34. Schmidt K. H. On Aspect and Tense in Old Georgian // FoSl. 1984. 7.
35. Шмидт К. Х. Типологическое сопоставление систем картвельского и индоевропейского глагола // ВЯ. 1984. 3. С. 52.
36. Шанидзе А. Изменение системы выражения глагольной категории вида в грузинском и его последствия // Вестник АН ГрузССР. 1942. 3.9.
37. Schmidt K. H. Zu den Aspekten im Georgischen und in indogermanischen Sprachen // Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa. 1963. 15—16.
38. Натадзе Н. О будущем времени в картвельских языках // Вопросы структуры картвельских языков. 1961.2 (на груз. яз.).
39. Чумбуридзе З. Будущее время в картвельских языках. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.).
40. Чикобава А. Грамматический анализ чанского диалекта. Тбилиси, 1936 (на груз. яз.).
41. Шанидзе А. Основы грамматики грузинского языка. I: Морфология. 2-е изд. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
42. Кацарадзе И. К истории основных категорий глагола в древнегрузинском. Тбилиси, 1954 (на груз. яз.).
43. Гагуа К. Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
44. Götze A. Relative Chronologie von Lauterscheinungen im Italischen // IF. 1923. 41. S. 78—79.
45. Hoenigswald H. M. Studies in formal historical linguistics. Dordrecht; Boston, 1973. P. 12—13.
46. Топуриа Г. В. Вопросы морфологии склонения в дагестанских языках // ВЯ. 1987. № 1. С. 72.
47. Schmidt K. H. Ergativkonstruktion und Aspekt // В честь на академик В. Георгиев. София, 1980.
48. Климов Г. А. К эргативной конструкции предложения в занском языке // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / Отв. ред. Жирмунский В. М. Л., 1967.
49. Harris A. C. Georgian and the unaccusative hypothesis // Language. 1982. 28. P. 294.
50. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
51. Trost K. Die Perfekterephase im Altkirchenslavischen und Altarmenischen. Ein Beitrag zur vergleichenden Syntax // IF. 1968. 73. S. 87—109.
52. Jensen J. Altarmenische Grammatik. Heidelberg, 1959. S. 177.
53. Schmidt K. H. Perfekt, Haben und Übergang von Ergativ- zu Nominativ-Konstruktion im Armenischen und Südkaukasischen // Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa. 1982. 40. S. 286.
54. Stempel R. Die infiniten Verbalformen des Armenischen. Frankfurt-am-Main; Bern; New York, 1983. S. 68.
55. Сагокия М. М. Посесивность, переходность и эргативность. Типологическое сопоставление древнеперсидских, древнеармянских и древнегрузинских категорий. Тбилиси, 1985.
56. Comrie B. Language universals and linguistic typology. Oxford, 1981. P. 212.
57. Villar F. Ergatividad, acusatividad y genero en la familia lingüística indoeuropea. Salamanca, 1983.
58. Schmidt K. H. Zur Vorgeschichte des prädikativen Syntagmas im Indogermanischen // o-o-pe-ro-si. Festschrift für Ernst Risch zum 75. Geburtstag / Hrsg. von Etter A. B.; N. Y., 1986. S. 94.
59. Leskien A. Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876 (= Leipzig, 1963). S. XIII.
60. Meillet A. Esquisse d'une histoire de la langue latine. P., 1966. P. 16.
61. Сарджвеладзе З. Звуковое соответствие груз./: сван. § // Юбилейный сборник, посвященный Г. Ахвледиани. Тбилиси, 1969.
62. Омиани А. К вопросу о долгих гласных в сванском // ИГЯ. 1962. 13 (на груз. яз.).
63. Гишгешвили Б. Долгота гласных и вопрос об ауслате в сванском // Изв. АН ГрузССР. Сер. лит.-ры и яз. 1973. 2 (на груз. яз.).
64. Мачавариани Г. «Безаффиксный пассив» в картвельских языках // Вопросы структуры картвельских языков. 1959. 1 (на груз. яз.).
65. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986.

66. *Мачавариани Г.* Имперфект в сванском и его место в системе спряжения картвельских языков // ИКЯ. 1980. 22 (на груз. яз.).
67. *Rix H.* Zur Entstehung des urindogermanischen Modussystems // IBS. Vorträge und Kleinere Schriften, 36. Innsbruck, 1986.
68. *Schmidt K. H.* Miscellanea Svanica // ЕИКЯ. 1982. 9.
69. *Ониани А.* Вопросы исторической морфологии картвельских языков. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).
70. *Deeters G.* Die kaukasischen Sprachen // Handbuch der Orientalistik. 1963. 1. Abt. 7. Bd. S. 52.
71. *Benveniste E.* Structure des relations de personne dans le verbe // BSL, 1946. 43. Fasc. 1 (= Problèmes de linguistique générale. P., 1966. P. 228. = *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974. С. 262).
72. *Allen W. E. D.* A history of the Georgian people. L., 1932. P. 50.
73. *Schmidt K. H.* Zur Tmesis in den Kartvelsprachen und ihren typologischen Parallelen in indogermanischen Sprachen // Юбилейный сборник, посвященный Г. Ахведиани. Тбилиси, 1969.
74. *Schmidt K. H.* Zur Sprachtypologie des Ossetischen // Revue de Kartvélogie Bedi Kartlisa. 1970. 27.
75. *Исаев М. И.* Дигорский диалект осетинского языка. Фонетика. Морфология, М., 1966. С. 83.
76. *Меликишвили И.* Общекартвельская сибилантная система с точки зрения функциональной типологии // Вопросы современного общего языкознания. 1980. 5 (на груз. яз.).
77. *Fähnrich H.* Zur Rekonstruktion der gemeinkartwelischen Sibilanten // Georgica. 1982. 5.
78. *Gudjedjani Ch., Palmaitis M. L.* Upper Svan: Grammar and Texts // Kalbotuga. 1986. 37 (4).
79. *Мачавариани Г.* Случаи лабиализации гласного *a* в сванском языке // Вестн. АН Груз.ССР. 1956. 17 (на груз. яз.).
80. *Шанидзе А.* Умлаут в сванском // Arili. Festschrift I. Dschawachischwili. Tbilissi, 1925 (= *Шанидзе А. Г.* Соч.: в 12-ти т. Т. 2. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.).
81. *Топуриа В.* К истории окончания имен в сванском // Тр. Тбилисского гос. ун-та. 1927. 7 (на груз. яз.).
82. *Топуриа В.* Еще раз об умлауте в сванском // Тр. Тбилисского гос. ун-та, 1928. 8 (на груз. яз.).
83. *Калдани М.* Фонетика сванского языка. I. Система умлаута в сванском. Тбилиси, 1969. (на груз. яз.).
84. *Осидзе Е. А.* Аушлаут в сванском и некоторые вопросы исторической морфологии сванского языка // ЕИКЯ. 1982. 9.
85. *Андроникашвили М.* Разыскания из иранско-грузинских языковых связей. Тбилиси, 1966. С. 600 (на груз. яз.).
86. *Розава Г.* Некоторые адыгейские слова в картвельских языках // Этимологические разыскания / Под ред. Ломтатидзе К. Тбилиси, 1987 (на груз. яз.).
87. *Розава Г.* Вопрос о позиционной аффрикатизации согласных *d* и *r* в картвельских языках // ЕИКЯ. 1986. 13 (на груз. яз.).

БОГОЛЮБОВ М. Н.

ИРАНСКИЕ НАЗВАНИЯ УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ

1. Написанное по-эламски древнеиранское личное имя *ma-ū-šá-pir-na* В. Хинц [1] привел в чтении **vahūššafarnah-* «Glück durch gute Kamele», исходя из того, что М. Майрхофер [2] приравнял *ma-ū-šá-* к *ma-u-iš-šá* **vahušša-*, авест. *vohuštra-* «der mit guten Kamelen». Следуя, однако, строго за написанием, мы должны передать *ma-ū-šá-pir-na* через **vahūšafarnah-*, что распадается на **vahu-uša(h)-farnah-*, где *uša(h)-* отражает др.-иран. *uš-* : *ušāh-* : *aušah-* «утренняя заря». В личном имени **vahu-uša(h)-farnah-* которое значит «тот, чье благо (*vahu-*) от фарна утренней зари», часть *uša(h)-farnah-* является древнеиранским названием Утренней звезды. Фарн — «благо», выступает в составе современного осетинского имени утренней Венеры — *Bonvärnon*, образованного с суффиксом названий *-on* из *-āna-* от *bānu-* «свет, рассвет» и *farnah-*; *Bonvärnon* букв. «чье имя Фарн рассвета, Фарн наступающего дня» (ср. [3]).

Еще один пример подобного названия — *prnwš Farnōš* (*ōš < aušah-*) «Фарн утренней зари» — находим в арамейской версии Армазской билингвы (Грузия) II в. н. э. В этой надписи-эпитафии умершая молодая женщина уподоблена утренней Венере — Фарну утренней зари: *hbl hḅlyk m'zy prnwš l'gmyr whkyn ṭb wšpyr yhw* «Страдания погубили тебя, подобную Фарну Утренней зари, который нескончаем и будет таким же благим и прекрасным».

Интересны согдо-хорезмийские названия лунной стоянки № 12, соответствующей Альфе Девы, звезде Колосу. В них содержится компонент *farn*: согд.-муг. *wušprn*, хорезм. *'xšfrn*, согд. *šy'r* [4, с. 240], так вм. *šf'n*. По-персидски эта звезда называется *Xōša* «Колос», по-хорезмийски — *Wwfyk Wōfik* (при *š > f*). В *wuš°*, *'xš°*, *š°*, как и в н.-перс. *xōša*, ср.-перс. *(h)ōšak*, хорезм. *wōfik*, продолжается др.-иран. **auša-* «колос», др.-инд. *ōṣa-* «трава»: согд. *ōxš°*, хорезм. *uxš°* (со вторичным *x* перед *š*), согд. *šu°*. Иранское название Альфы Девы не имело компонента *farn*. Как простое слово, оно выступает в названии лунной стоянки № 13, соответствующей Альфе Волопаса. Она ориентирована по Альфе Девы и называется согд.-муг. *'strwšk*, хорезм. — *šwšk* [4, с. 240] (при хорезм. *š < str*), что предполагает в качестве исходной формы др.-иран. **ustara- auša-ka-* («находящаяся» выше (севернее) Колоса). Как же объяснить появление компонента *farn* в названии Альфы Девы — согд. *Oxšfarn*, хорезм. *Uxšfarn*, согд. *Sufān*? По-видимому, в среднеиранский период из-за совпадения звучаний *uš-* : *ušah-* : *aušah-* «утренняя заря» и *auša-* «колос» произошла контаминация двух названий — утренней Венеры **Ušah-farnah-*, **Aušah-farnah-* и звезды Колоса **Auša-*. В результате, название утренней Венеры — Фарн утренней зари — *Wušprn Oxšfarn*, *'Xšfrn Uxšfarn*, **šf'n* **Sufān* заняло в таблицах место звезды Колоса, Альфа Девы.

2. Греч. *Zōrōastrēs* отражает не только звучание др.-иран. *Zarathuštra /*

**Zaratuštra*, но и смысловое истолкование имени. На это указывает сходство последовательности °*astr*° в греческой форме с греч. *astron* «звезда». Очевидно, лицо, информировавшее о том, что значит иранское имя, не было склонно видеть в нем *uštra* «верблюд»; звукосочетание °*štr*° воспринималось им (после [u]) как слово *str-* «звезда». Толкуя начало *zarathu*° / **zaratu*°, тот же информатор мог произнести родственные, но лишённые *θu* / **tu* формы. Одна из них вместе с *str-* «звезда» была передана через *Zōrōastrēs*. Предложенное отношение греческого имени к иранскому исключает необходимость введения третьей разновидности **Zarauštra-* (см. [5]) в дополнение к существующим двум — авест. *Zarathuštra-*, продолжающейся в ср.-парф. маних. *Zrhwšt*, и др.-иран. **Zaratuštra*, восстанавливаемой на основе пехл. *Zarduxšt*, ср.-перс. маних. *Zrdwšt*, н.-перс. *Zardušt*.

Из двух форм — *Zarathuštra-* и **Zaratuštra-* — только вторая членится на компоненты **zarat-uštra-* «погонщик верблюдов». Первая этого не допускает, поскольку контактное причастие наст. времени с исходом на [θ] не представлено. В то же время из обеих форм без помех вычленяется часть *zarathu-* / **zaratu-*. Это именное образование отличается тем, что при склонении в исходе основы наряду с *-tu-* из степени *-θv-* развивается вариант *-θu-*; варианты принадлежат говорам, диалектам, ср.: авест. *xratu-* : *xraθv-* и др.-перс. *xraθu-* «разум», авест. *gātu-* и др.-перс. *gāθu-* «место», сюда же н.-перс. *gāh* «место», согд. *γ'āwk* **γāduk* «трон», ягн. *γōtk* «гнездо»; др.-перс. **parathu-*, откуда осет. *fārāt* «топор», но и **paratu-* с продолжением в тох. А *porat*, В *peret* «топор», сак. **par(a)tu-* > *paðu* «топор», и с перестановкой арм. *tapar*, н.-перс. *tabar*; русск. топор.

Глагол *zar-* «сиять, сверкать» (и.-е. *gher-* [6, с. 441—442]) вытеснен глаголом *vah-* «сиять, сверкать» (и.-е. *aves-* [6, с. 86]). Из производных от *zar-* (ср. русск. *заря*, *зорька*; *зарев*, *зарница*; *озарять*) сохранились: авест. *zaramaya-* «весна», *maiduōi-zaramaya-* «весенний период», сак. *pāsāre* «sun's heat», «sunshine» из *zar-* + *pati* [7, с. 234], хорезм. *zrmy* в словосочетании *myθ zrmy ryd* «праздник дня солнечного света» [8].

Примем, что при авест. *zaramaya-* «весна» авест. *zarathu*° значит «утренняя заря», а **Zarathuštar-* / **Zaratuštar-* — «Утренняя звезда». Человека, родившегося под сенью Утренней звезды, утренней Венеры, называли *Zarathuštra-* / **Zaratuštra-*.

3. Обитель, дворец¹ Ардвиг-Суры-Анахиты — *tačar-* (Yt. 5. 90) находится *nōit antarə* **arəδəm* «не в (темных) недрах»², но *upairi hvarəxša-ētāt* «на солнце». Ахура Мазда сотворил богиню *hizvārəna* (Yt. 5.6) «с помощью слова»³; *āat frašusat ...hača daθušač* (Yt. 5.7) «вот идет она от творца» *aurvaiti* «деятельная», *zuš(a)* «привлекательная», *frā srīra ...sispata* «красуясь прелестями». Колесницей, в которой она *vazəmna* «ездит», пра-

¹ По Бартоломе [9, стлб. 628], авест. *tačar-* «путь» восходит к *tak-* «бежать, течь». Но др.-перс. *tačara-* «резиденция», н.-перс. *tazar* «поместье», арм. (заимств.) *tačar* «храм» позволяют принять для авест. *tačar-* сходное значение.

² Значение «в недрах; во внутреннем пространстве» у *antarə* **arəδəm* оправдано однородными авест. *antarə.nāēma-* «Innenseite», н.-перс. *andarūn* «внутренность» < **antar-rauna-*, где *arəda-*, *naēma-*, *rauna-* «сторона».

³ Букв. «работой языка» — авест. *hizvārəna* (Instr. Sg.) **hizvārənā* состоит из *hizvā-* «язык, речь» и **arna-* «работа», ср. авест. *arənat-čāēša* (Yt. 10. 35) «working at the requital» [7, с. 23], н.-перс. *faṃār* «работа, дело» < **abi-arna-*, согд. *ptyrn* «причина, повод» < *pati-arna-*, ср.-перс. *ark*, согд. *'rkh*, ягн. *ark*, вах. *yark* «работа» к **ar-* «работать». В связи с авест. *hizvārəna* укажем на др.-перс. *hd^uug'm* (Acc.f.) «высказывание, заявление» в чтении *hidūgām* от др.-перс. *hidū-* «язык» + *-ga-*, авест. *hizū-* «язык».

вит, держа поводья, *yō Paourvō* (Yt. 5. 14) «сам Первый». «Первым»⁴ в Авесте зовется созвездие Плеяд, в котором в период сложения иранской языковой общности совершалось весеннее равноденствие [10]. Ардви-Сура-Анахита, при таком понимании *yō paourvō*⁵, неотделима от зодиакальных созвездий. По их пути мчат ее *čaθwarō vaštāra spaēta višpa hamagaonāy-hō hama-nāfaēni barəzanta* (Yt. 5. 13) «четыре пары белых лошадей, всех одной масти, одной породы, рослых». Ахура Мазда наделил богиню способностью спускаться на Землю, покидать *avatbyō stərəbyō* (Yt. 5. 85) «способствующие⁶ звезды» в облике прекрасной юной девы.

Есть в гимне указание, в какое время суток и в какой части неба следует искать богиню Ардви-Суру, которая проделывает путь *hača avatbyō stərəbyō aoi Zəm ahuradātəm* (Yt. 5. 88) «от способствующих звезд к Земле, созданной Ахурой». Поэт Парва, которого бог Трайтавна, воплотившийся в птицу, вознес высоко в небо, не способен вернуться на Землю. В надежде обрести помощь Ардви-Суры на рассвете третьей ночи своего полета он *frāymat ušāgham Sūrayā vivaitīm* (Yt. 5. 62) «полетел в направлении зари (т. е. на восток), в направлении блеска Суры». В обороте *Sūrayā vivaiti-* можно ощутить игру слов: *sūrā-* «сильная» — эпитет богини, но *sūrā-* значит также «утренняя». Поэтому оборот понимается двояко: «блеск (Ардви-) Суры (-Анахиты)» и «блеск Утренней (звезды)». *Sūrā-* служила для Парвы в его полете не только ориентиром, но одновременно была и объектом его мольбы: *mošu mē *fasa avayhe nūrəm mē bara upastəm* (Yt. 5. 63) «быстро приди мне на подмогу, сейчас окажи мне помощь». Ардви-Сура на зов Парвы явилась в образе прекрасной юной девы, взяла его в свои руки, и вскоре он был уже дома, у реки Рахи.

Гимн Ардви-Суре произведение сложное, неоднородное. В нем на фоне молитв, обращенных к Ардви-Суре, проходят вереницей герои многих эпических сказаний, из различных источников в него включены эпизоды с человеком Трайтавной (Yt. 5. 33—35) и богом Трайтавной (Yt. 5. 61). Так же и *Arədvī-* с эпитетами *Sūrā-* и *Anāhitā-* является скорее всего именем двух разных женских божеств. Одна *Arədvī-* — обожествленная мифическая река, питающая водой озеро Варукарта и климаты Земли, другая *Arədvī-* — звездная богиня, выступающая в двух ипостасях — Утренней звезды и прекрасной юной девы. Имя *Arədvī-* может действительно быть связано с др.-инд. *rdū-* «flüssig» [9, с. 195], но *Arədvī-* можно предположить и как сокращенное, уменьшительное, ласкательное имя от полного типа **Arədv(a-štan)ī-*, ср. авест. *θrədva-šnī-* «deren Brüste in die Höhe stehen, mit straffen Brüsten» [9, стлб. 350].

Планеты, причисляемые в пехлевийских сочинениях к злым силам, носят тем не менее имена добрых божеств: Юпитер — *Ōhrmazd*, Марс — *Vahrām*, Меркурий — *Tīr*, Венера — *Anāhīd*. Этот факт не должен удив-

⁴ От **parva-* «первый» образованы следующие иранские названия Плеяд: авест. *Paoiryaēinyas*^o (Yt. 8.12) Pl. f., откуда перс. *Parvin* Плеяды; авест. *°paoirya-* (Yt. 8.12) в названии звезды Альдебаран — *Ura.paoirya-* букв. «(Следующий) за Первым»; др.-иран. **Parva-*, поскольку есть перс. *Parv* Плеяды. К др.-иран. **Parva-* может восходить и. сб. авест. *Pāurva-* букв. «родившийся в дни весеннего равноденствия». К **parva-* относятся пехл. *plwys Parviz* Плеяды, пехл. *ph'*, т. е. *(W)pr'prw (U)pāparv* Альдебаран; согд.-хорезм. *prwy Parvi* Плеяды; согд.-муг. *p'prw'k*, согд.-хорезм. *b'brw* Альдебаран.

⁵ В именительном падеже — **yah Parvah* «der Erste» эти слова стоят во всех рукописях, кроме *W₂*, где артикль — в им. падеже, а прилагательное — в инструментальном: *yō paourva*. У Бартоломе [9, стлб. 1418] *yō *paourvō* передается через «der vorn (stehend)».

⁶ Авест. *avatbyō* рассматривается здесь как **avatbyō Abl. Pl.* от **avant-*, причастия от *av-* «заботиться, помогать, способствовать».

лять, ср. [11]. Когда вместе с астрологическими знаниями в среду иранских звездочетов пришло представление о враждебности небесных светил, имена божеств и названия планет соотносились уже как омонимы. Из этого следует, что иранские божественные названия были даны планетам как астрономические термины задолго до приобщения иранских звездочетов к астрологии. Вышеприведенное толкование ряда мест Ардвисур-яшта Авесты приводит к выводу, что Утренняя звезда воспринималась в древности как ипостась богини Ардвисуры-Анахиты, что и послужило поводом присвоения планете Венере имени *Anāhitā*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

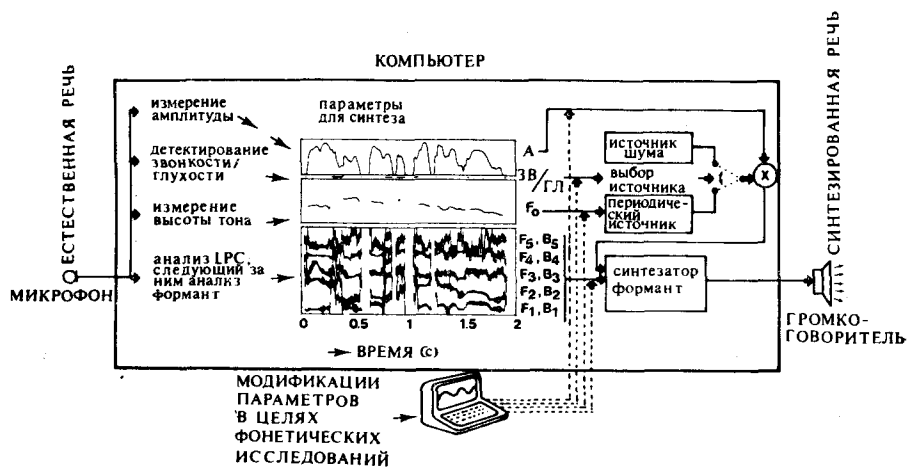
1. *Hinz W.* Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen. Wiesbaden, 1975. S. 252.
2. *Mayrhofer M.* Onomastica persepolitana. Wien, 1973. № 8. 1045.
3. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958. С. 267.
4. *Chronologie orientalischer Völker von Albêrûnî / Hrusg. von Sachau.* Ed. Leipzig, 1878.
5. *Mayrhofer M.* Zum Namengut des Avesta. Wien, 1977. S. 49.
6. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
7. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
8. *Боголюбов М. Н.* Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни. II // ВЯ. 1985. № 6. С. 38.
9. *Bartholomae Chr.* Altiranisches Wörterbuch. 2. unveränderte Aufl. В., 1961.
10. *Боголюбов М. Н.* О древнеиндийском названии Плеяд // Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1987. С. 8.
11. *Scherer A.* Gestirnnamen bei den indogermanischen Völkern. Heidelberg, 1953. S. 88.

ОДЕ С.

**СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКОЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ
ИНТОНАЦИОННЫХ СИСТЕМ: ПЕРЦЕПТИВНЫЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ***

Введение. Цель нашего исследования — дать перцептивное и лингвистическое описание русской интонации. Главным критерием при этом является единое прямое отношение между формой и значением [1, 2]. На этой основе будет составлен курс русской интонации. Система анализа, разработанная сначала для измерений только голландской интонации, оказалось, вполне применима и к английской и русской интонации [3—7]. (Институт перцептивных исследований при Политехническом институте и при фирме Филипс в г. Эйндховен, где проводилась эта работа, оснащен надежной, передовой техникой измерений фонетических признаков интонации.)

Метод исследований интонации. На рис. 1 дана блок-схема системы так называемого LPC-vocoder'a (Linear Predictive Coding), соединенного



по С.Г. Ноотевом и А. Коген, 1984

Рис. 1. Система анализа через синтез по методу LPC.

с компьютером. В нашем исследовании существенны три параметра: амплитуда, высота тона и звонкость—глухость. Естественный речевой сигнал вводится в компьютер, и с помощью техники «анализа через синтез»

* *Примечание редакции.* Редакция в соответствии с общепринятой номенклатурой языков придерживается термина «нидерландский язык». Автор данной статьи, написанной на русском языке, использует термин «голландский, -ая» применительно к фонетическим явлениям.

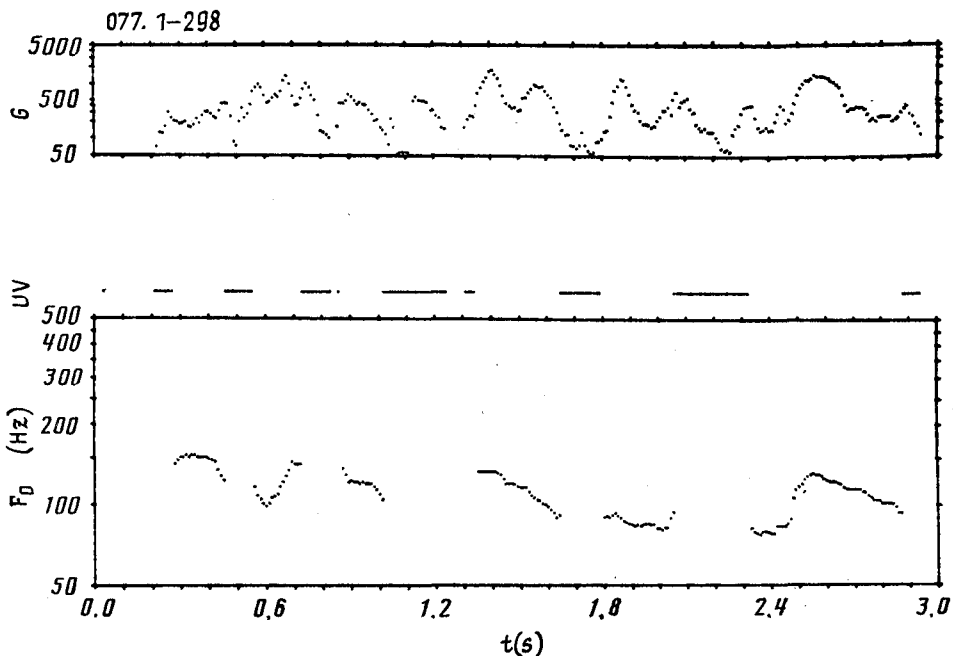


Рис. 2. Оригинал.

проводятся все модификации и сигнал выходит в синтезированном виде. Все модификации в интонационном контуре можно услышать и сравнить с оригинальным контуром. Для сравнения оригинал и модификацию слушают в синтезированном виде [8, 9].

Демонстрируем метод на примере двух основных изучаемых вопросов. На рис. 2—3 изображены оригинальный контур и так называемый *close-scoru stylization* [10—12] фрагмента речи из записи выступления оперного режиссера Б. А. Покровского (...*Нужно сказать, что сцена нам очень понравилась...*). Все перцептивно значимые колебания тона были стилизованы, модифицированы. Сверяя оригинал и стилизацию, мы убедились, что между ними нет перцептивной разницы. Таким образом, интонационные контуры могут быть представлены прямыми линиями, что в большой степени упрощает описание.

Что же представляют собой модификации? Это модификации в синтезированной речи (с помощью компьютера меняется движение тона в последнем слове *понаправилась* с целью установить, какие варианты здесь допустимы). Допустимость этих вариантов проверяется в экспериментах по восприятию носителями языка.

В настоящее время для нас представляют интерес два вопроса в исследованиях по интонации.

1. Сколько тональных уровней мы должны различить и из скольких полутонов состоит каждое расстояние между уровнями? Предлагаются три тональных уровня и один дополнительный, так называемый уровень-пик: 1) частота основного тона (в зависимости от говорящего); 2) средний уровень; 3) высший уровень; 4) уровень пик.

Прослушав большое количество текстов самых разных дикторов и измерив некоторые высказывания, мы установили, что у каждого говоря-

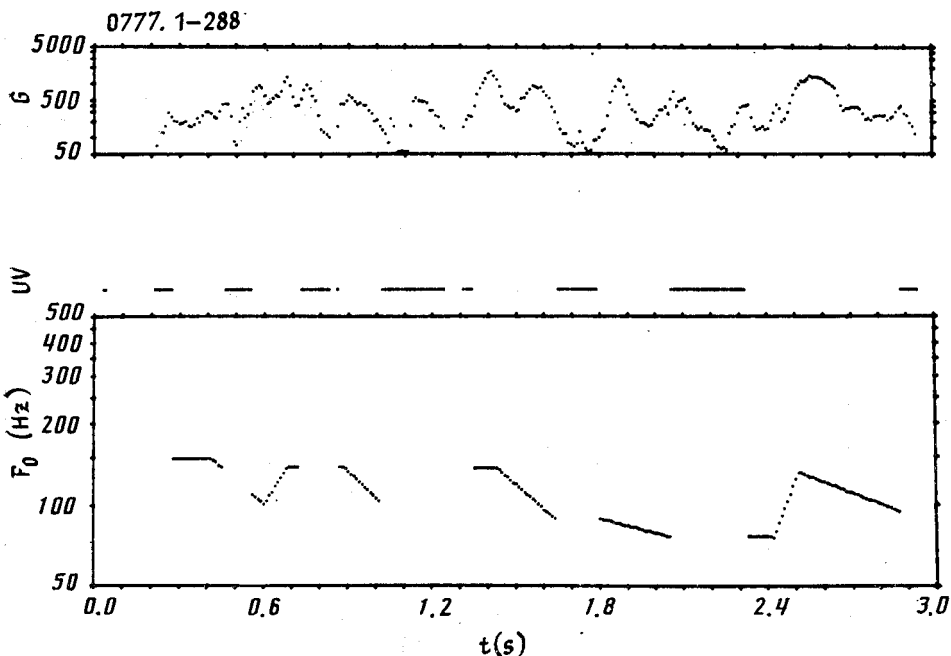


Рис. 3. Стилизация.

щего в речи имеется три относительных уровня и уровень-пик. Расстояние между уровнями состоит из определенного количества полутонов. Полутон — очень удобный термин для описания интонации, так как он выражает абсолютные величины в перцептивном аспекте [13, 14]. На основе записи пяти голосов носителей русского языка разной среды мы надеемся точно установить объем каждого тонального уровня и допустимое варьирование. Это важный момент в исследованиях по интонации для описания функционирования и значения так называемых полудвижений. В пределах одного контура движение тона формализовано. Другими словами, интонационный контур, который представляет единое целое по форме и значению, состоит из одного или более полных движений или полудвижений тона и имеет одно или более выделенное ударение. При этом мы столкнулись с необходимостью различать и полные движения, и полудвижения тона. Полудвижением тона мы называем те движения, которые не достигли нижнего тонального уровня и которые движутся только между первым и вторым или вторым и третьим уровнями. Оно может обозначать передачу следующей мысли, незаконченность мысли, перечисление и др.

2. Как описать физическую разницу между контурами, изображенными на рис. 4—5? На рис. 4—5 представлены стилизация оригинала и модификации фразы «Знаешь, какая новость?» «Знаешь, какая новость!» Изучая данные контуры, мы нашли различие не только в размере интервала, но и в том, в какой точке ударного гласного тон начинает подниматься и понижаться и с какой крутизной. Это различие отмечено не только в ударном слове, но и в окружающих его слогах. Решение этих и других вопросов сможет нас подвести к описанию интонационной системы русского языка с желаемой точностью.

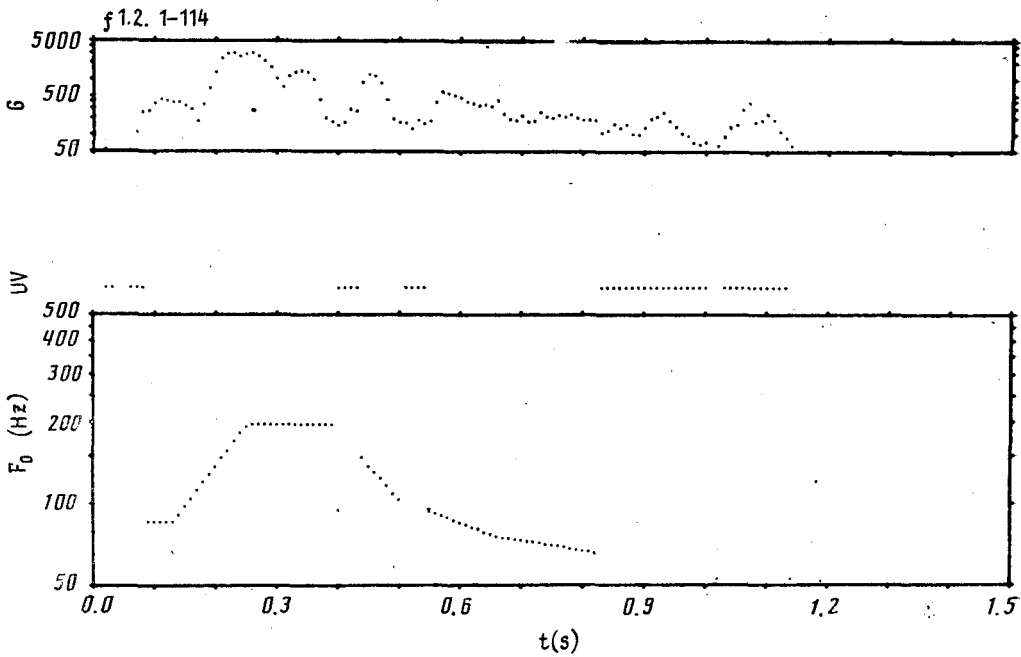


Рис. 4. Стилизация.

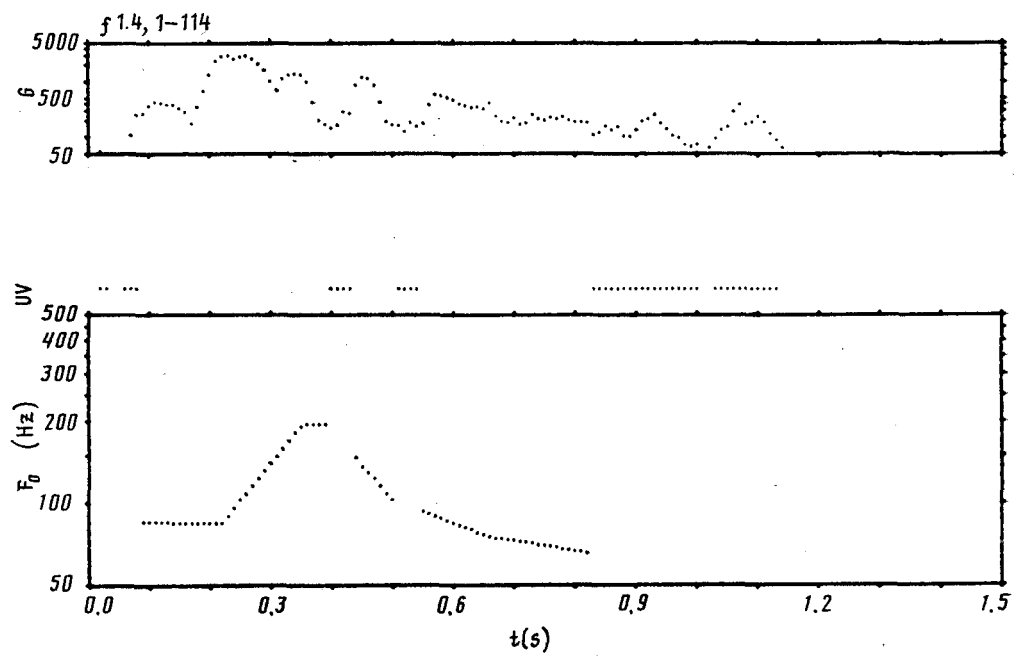


Рис. 5. Модификация.

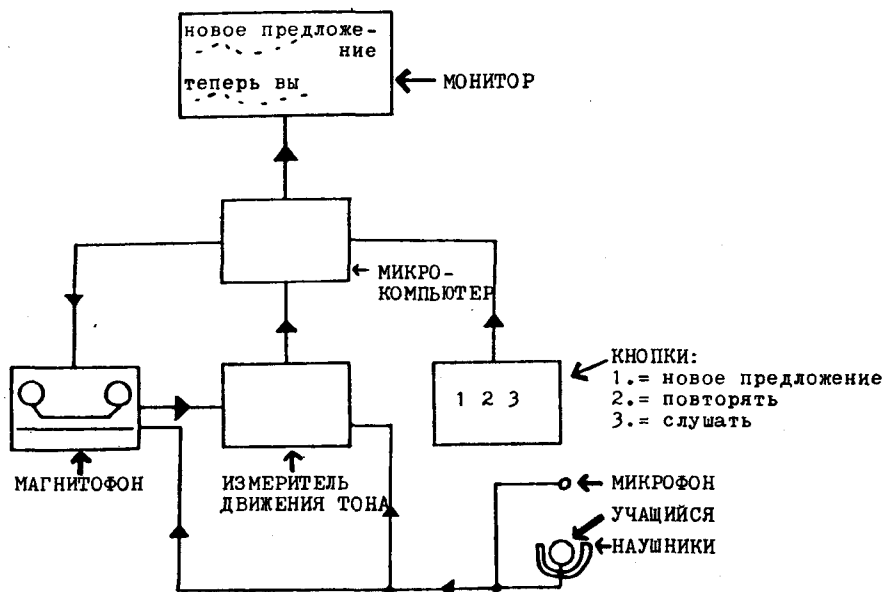
Контрастная интонация в учебных целях. При работе над курсом русской интонации можно сопоставлять русский интонационный контур с голландским. При этом важно исходить из родного языка, так как учащиеся, а также преподаватели, занимающиеся иностранным языком, интонируют даже на своем родном языке неосознанно. Пройдя сначала курс голландской интонации, учащиеся смогут увидеть в сопоставлении с нидерландским, какие различия релевантны при интонировании русского языка. Мы не затрагиваем вопроса о порядке слов при сравнении двух контрастных групп:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) <i>Is moeder thuis?</i> | <i>Мама дома?</i> |
| <i>Wil je een ijsje?</i> | <i>Хочешь мороженое?</i> |
| <i>Kan je hier ook slapen?</i> | <i>Здесь можно спать?</i> |
| 2) <i>Zullen we gaan?</i> | <i>Пойдем?</i> |
| <i>Heb je het koud?</i> | <i>Тебе холодно?</i> |
| <i>En als het nou regent?</i> | <i>А что, если дождь пойдет?</i> |

Главное ударение в нидерландском и русском языках не всегда падает на одно и то же слово (первая группа).

В первой контрастной группе главное ударение падает в нидерландских фразах на другое слово по сравнению с русскими фразами, и интонация в двух языках реализуется по-разному.

Во второй контрастной группе главное ударение падает на лексически одно и то же слово. Поэтому, если исходить из нидерландского языка, мы видим, что интонации русского и нидерландского языков 1) практически совпадают, 2) не совпадают. 3), совпадают факультативно. При составлении курса русской интонации мы должны обращать внимание на важные различия этого порядка.



по К. де Бот (и др.), 1982

Рис. 6. Аудиовизуальный метод преподавания интонации.

Курс русской интонации. К сожалению, курс русской интонации может быть составлен только после того, как будет создано хотя бы самое элементарное перцептивное описание русской интонации [15, 16]. Но мы уже имеем некоторое представление о том, как такой курс может и должен выглядеть. Это будет состоять из интонационной грамматики с перцептуальным и лингвистическим описанием и графическими изображениями различаемых контуров, а также звукового приложения. Учащиеся в работе смогут пользоваться или только пособием и магнитофоном, или же магнитофоном, подсоединенным к микрокомпьютеру, с помощью которого каждый контур визуализируется на мониторе в момент речи. Работая с микрокомпьютером, учащийся слушает пример, который появляется и остается на экране монитора (рис. 6). После сигнала «теперь вы» учащийся имитирует пример, и его имитация тоже регистрируется на экране под примером. Он сравнивает оба контура и темп речи. Если он доволен результатом, идет дальше (т. е. слушает и имитирует следующее предложение). Если недоволен, слушает еще раз пример и свою имитацию, повторяет и сравнивает. Повторять можно неограниченное количество раз, и повторение снова регистрируется на экране, пока не будет достигнут желаемый результат. Примеры учащиеся слушают или в записи, или же их читает преподаватель (желательно, носитель языка), ведущий занятие. Этот аудиовизуальный метод давал до сих пор хорошие результаты, так как представлены две формы обратной связи: визуальная и аудитивная. Работа с компьютером, возможность проверить себя не только на слух, но и зрительно усиливает мотивацию учащихся. Наша работа имеет большое практическое значение, поскольку правильная имитация интонации очень важна в условиях неязыковой среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979.
2. Интонация. Киев, 1978.
3. Оде С. Физические свойства интонационных контуров в современном русском языке // Русский язык за рубежом. 1984. № 4.
4. 't Hart J. The stylization method applied to British English intonation // Working group on intonation. XIII International congress of linguists. Tokyo, 1982.
5. Keijsper C. E. Comparing Dutch and Russian pitch contours // Russian linguistics. 1983. № 7.
6. Odé C. Towards a perceptual analysis of Russian intonation // Studies in Slavic and general linguistics. Amsterdam, 1986. V. 8.
7. Pijper J. R. de. Modelling British English intonation. Dordrecht, 1983.
8. Bot C. L. J. de. The role of feedback and feedforward in the teaching of pronunciation — an overview // System. 1980. V. 8.
9. Bot C. de. Visuele feedback van intonatie. Proefschrift. Nijmegen, 1982.
10. 't Hart J., Cohen A. Intonation by rule: a perceptual quest // Journal of phonetics. 1973. № 1.
11. 't Hart J., Collier R. Integrating different levels of intonation analysis // Journal of phonetics. 1975. № 3.
12. 't Hart J. A phonetic approach to intonation: from pitch contours to intonation patterns // Intonation, accent and rhythm. Studies in discourse phonology / Ed. by Gibbon D. and Richter H. N. Y., 1984.
13. Collier R., 't Hart J. Cursus Nederlandse intonatie. Amersfoort, 1981.
14. Nootboom S. G., Cohen A. Spreken en verstaan. Een nieuwe experimentele inleiding tot de fonetiek. Assen, 1984.
15. Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка. Л., 1982.
16. Торсуева И. Г. Современная проблематика интонационных исследований // ВЯ. 1984. № 1.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Два десятилетия тому назад, 4 октября 1969 года, не дожив несколько месяцев до своего семидесятипятилетия, скончался академик Виктор Владимирович Виноградов, крупнейший филолог-русист нашего времени, создатель и первый редактор журнала «Вопросы языкознания». С самого основания нашего журнала в 1952 году Виктор Владимирович вместе с редколлегией стремился привлечь к сотрудничеству широкий круг лингвистов нашей страны и зарубежных стран и сделать журнал не только общесоюзным, но и международным. Несмотря на условия, в которых развивалась наша лингвистическая наука, условия не всегда благоприятные, В. В. Виноградову это удалось. «Вопросы языкознания» заняли достойное место среди мировых лингвистических журналов, обретя свою специфику, выражающуюся и в особом внимании к исследованию разнотипных и разнотемных языков нашей страны, и в сохранении преемственной связи с традициями русских лингвистических школ от Потебни и Фортунатова до Трубецкого и Якобсона. Жизненной задачей Виноградова было исследование русского языка во всех его ипостасях, во всей его многоликости исторической и современной. Виноградов начинает изучать русские диалекты, берется за решение судьбы русского языка, изучает древнерусские тексты, их связь с церковнославянской традицией, выработывает принципы рассмотрения стилистической системы русского языка на знаменитых аввакумовских текстах и одновременно публикует блестящие наблюдения над творчеством Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматовой. Кажется, что молодой ученый раздваивается, что он готов избрать два пути — путь лингвиста и путь филолога, настолько уверенно развивает он оба направления. Но Виноградов очень скоро осуществляет и синтез этих направлений. Уже в начале 30-х годов появляются труды о художественной прозе, о языке русских писателей-классиков, первые в истории русской науки широкомащтабные очерки по истории русского литературного языка. Виноградову и Трубецкому принадлежит заслуга создания этой фундаментальной дисциплины, хотя, конечно, были и предшественники (Будилович, Булич, Михайлов). Во второй половине 30-х годов, в самые трудные годы жизни В. В. Виноградова, да и всей нашей страны (а Виктор Владимирович разделит участь многих невинно пострадавших и репрессированных), появляется как итог почти полуторавековой русской грамматической мысли его новаторская книга «Русский язык. Грамматическое учение о слове» и к столетнему Пушкинскому юбилею — его книги о языке и стиле Пушкина. В послевоенный период продолжается интенсивная творческая деятельность Виктора Владимировича — десяток книг и более сотни статей написано им за этот период. В это же время до 1950 года продолжалась злобная «критика» первого русиста нашей страны по поводу его книги о русском языке и грамматическом учении о нем; о книге, получившей Ломоносовскую премию, писали: «Нет, это не русский язык!». Лингвистическая дис-

куссия 1950 года на страницах газеты «Правда» изменила положение Виноградова, и он из гонимого ученого стал руководителем нашей филологической науки. Но это не было сменой одного «аракчеевского режима» другим. Именно благодаря В. В. Виноградову и ряду его коллег стало быстро развиваться лингвистическое разномыслие, в том числе и структуральное направление в языкознании. Этот процесс и эту пору хорошо отражают материалы, опубликованные в нашем журнале за первые 10—15 лет его существования.

До последних лет своей жизни В. В. Виноградов продолжал трудиться, разрабатывая тематику своих ранних лет, много занимаясь историей русского языкознания, фразеологией, словообразованием, синтаксисом предложения, выработкой концепции академической грамматики русского языка, языком писателей, языком художественной литературы, историей русской лексики, историей слов. Еще в середине 30-х годов он задумал создать фундаментальную историческую лексикологию русского языка. Часть подготовительных материалов была им издана, но немалая часть осталась в рукописи, осталась недоработанной до конца. Наш журнал публикует фрагменты из этого лексикологического труда.

Двадцать лет без Виноградова-полемиста, Виноградова-учителя и Виноградова — творческого коллеги не удалили нас от Виноградова-ученого, а скорее приблизили нас к нему, усилили нашу потребность в его научной мысли, в его трудах, которые, к счастью, так активно издаются и будут продолжать издаваться.

Н. И. Толстой

ВИНОГРАДОВ В. В.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

В Институте русского языка АН СССР под руководством Н. Ю. Шведовой в течение последних трех лет группа редакторов-составителей готовит к печати неизданную монографию акад. В. В. Виноградова «История слов» (предполагается окончить эту работу к концу 1990 г.; после смерти В. В. Виноградова в течение нескольких лет подготовительные работы над отдельными фрагментами рукописи вела Г. Ф. Благова — см. ФН, 1977, № 5). В состав книги войдет около 600 статей и заметок, как частично опубликованных при жизни автора в виде отдельных статей, так и ранее не публиковавшихся и сохранившихся либо в рукописях и машинописных копиях (с авторской правкой или без нее), либо только в рукописях, часто ветхих и малоразборчивых. Монографию предполагается сопроводить подробными комментариями к каждой статье, а также приложением, в которое войдут выборки из трудов В. В. Виноградова, касающиеся истории отдельных слов и фразеологизмов.

Книга по истории слов готовилась акад. В. В. Виноградовым, начиная с 20-х годов, в течение всей его жизни и была задумана как целостное исследование, состоящее из девяти глав, посвященных задачам исторической лексикологии, проблемам слова и значения, анализу лексического состава русского литературного языка с исторической точки зрения, народной, областной и жаргонной лексике, славянизмам и «славенорусизмам», заимствованиям.

Здесь публикуется девять ранее нигде не напечатанных заметок, иллюстрирующих историю преобразованных на русской почве, а также «мнимых» славянизмов; развитие в слове новых значений, свидетельствующих о непрерывности его семантических преобразований; изменение в иерархии значений слова при сохранении его внутренней формы; пути вхождения иноязычных слов и выражений в русский литературный язык, оригинальность приемов их употребления и переосмысления; способы народно-русской ассимиляции, морфологического приспособления слова к русской лексической системе; продуктивность суффиксальных образований имен существительных от именных и глагольных основ, различие в значениях слов, образованных по сходной словообразовательной модели, их синонимические связи.

Заметки подготовлены к печати В. В. Лопатиным (*Охрана, Уничжить — уничтожить*), М. В. Ляпон (*Поклонник, Момент, Мохры*), В. А. Плотниковой (*Застой, Постепеновец, Потусторонний*), Е. П. Ходаковой (*Решимость — нерешимость*). Библиография и цитаты проверены Ю. А. Смирновой. Предваряющие комментарии даются петитом. Нумерация отсылок сквозная.

ОХРАНА

Заметка сохранилась только в машинописи с поправками автора. Рукописи, а также других материалов, касающихся этого слова, в архиве нет.

Заметка подготовлена по машинописи с авторской правкой.

В статье «О новых исследованиях по истории русского литературного языка» (ВЯ, 1969, № 2, с. 15) В. В. Виноградов, полемизируя с Г. Хюттль-Ворт по вопросу о так называемых «неославянизмах» русского языка, писал: «Но есть вопросы и более сложные, например: куда относить... такие слова, как *охрана* (слово, созданное О. И. Сенковским на основе польского *ochrona*)...».

Слово *охрана* кажется давним заимствованием из старославянского языка. Однако этого слова нельзя найти ни в словарях церковнославянского языка (А. Х. Востокова, Ф. Миклошича), ни в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского. Больше того: в самом русском литературном языке слово *охрана* появилось сравнительно недавно. Это слово — вторичного образования: оно произведено от глагола *охранять* (ср. *похоронить* — *похороны*) или, быть может, от прилагательного *охранный*.

Есть основания предполагать влияние польского языка, в котором есть слово *ochrona*, на рождение слова *охрана* в русском языке. Факты таковы. Слово *охрана* не зарегистрировано ни одним словарем русского языка XVIII и первой половины XIX вв. до «Толкового словаря» В. И. Даля. Ср. у Н. И. Греча в «Воспоминаниях старика» (в «Примечаниях» к ним): «Аракчеев не был взяточником, но был подлец и пользовался всяким случаем для *охранения* своего кармана»¹. Лишь в «Толковом словаре» В. И. Даля под словом *охранять* появляется и *охрана* в таком ряду: «*Охраненье, охрана, охранка, дейст[вие] по гл[аголу]. Охранное войско, гарнизон. Охранный лист, данный властью для охраны кого. Отдать деньги под охрану, на сохраненье. // Охрана, оберег, запись от сглаза или порчи, болезни и пр. // Врачебная охрана, диета в обшир[ом] значен[ии]*»².

В анонимной повести «Авторский вечер» (СПб., 1835), направленной против неряшеств и новшеств языка О. И. Сенковского и редактируемого им журнала «Библиотека для чтения», цитируется такая фраза Сенковского: «Они находятся под *охраною* общественной честности». Главный резонер этой повести — дядя, защищающий чистоту русского классического языка, иронически комментирует это новообразование: «Писатель, может быть, думал, что так как есть слово *опала, остуда*, то почему ж не быть и слову *охрана*? Он, может быть, и прав... Если б теперь употребление и ввело слово *охрана*, то растолкуй мне, почему оно лучше слова *охранение*, которое существует, по крайней мере, со времен Е к а т е р и н ы. *Охрана! охрана!*.. Охранять, сохранять, наблюдать, соблюдать; и от них, охранение, сохранение, наблюдение, соблюдение; а не *охрана, сохрана, наблюда, соблюда*. Вот ведь до какой формации слов может довести жажда новизны. ... Должно преобразовать, но не должно обезобразать» (с. 146—147).

¹ Н. И. Греч. Записки о моей жизни, М.—Л., Academia. 1930, с. 554.

² В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 2-е изд., СПб.— М., 1881, т. II, с. 802.

Очень возможно, что в языке поляка Сенковского слово *охрана* сложилось не без влияния польского слова *ochrona* «сохранение, бережение, изъятие, условие» (ср. *ochronca, ochroniciel*)³.

В «Толковый словарь» Даля слово *охрана* попало не из предшествующего лексикографического запаса, а прямо из живой речи. Следовательно, к 40—50-м годам XIX в. это слово уже глубоко вошло в систему русского литературного языка и успело даже стать почти официальным термином. Между тем, до 20—30-х годов XIX в. оно не было употребительно. В «Словаре Академии Российской» отмечаются слова: *охранять, охраняться, охранитель, охранительный, охранный* — «служащий охранением, оберегательный». *Охранное войско, охранение*⁴. Но слова *охрана* тогда еще в литературном языке не существовало. Мало того: на это слово не считал удобным сослаться даже консервативный «Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 г. Это слово в 30-х годах и даже в начале 40-х годов еще не было канонизировано Академией наук, т. е. блюстителями старых языковых традиций⁵.

Таким образом, несмотря на старославянское происхождение морфемы *-хран-* (русская параллель *-хорон-*), само слово *охрана* и по происхождению, и по своим функциям не может быть названо ни «церковнославянизмом», ни «старославянизмом».

УНИЧИЖАТЬ — УНИЧТОЖАТЬ

Заметка сохранилась в рукописи, озаглавленной «Уничижать». Текст написан на четырех пронумерованных листах плохой бумаги разного формата: трех листках старых и одном листке сравнительно новом, разными чернилами.

В архиве сохранились также две копии разных лет без авторской правки и одна машинописная копия (на старой пожелтевшей бумаге) с правкой автора. Текст заметки сверен с рукописью и подготовлен по этой копии.

Русская струя пронизывает семантический строй многих славянизмов, так как эти славянизмы в ходе своей смысловой эволюции или подверглись народной этимологизации на основе созвучных русских слов, или вступили с ними в морфологическую контаминацию. Пример — глагол *уничижать* (ср. *уничужение, уничижительный*).

В древнерусский язык вошел из языка старославянского глагол, образованный из местоименного выражения *ничъже: уничижити* — «обратить в ничто, счесть за ничто, унижить, пренебречь». Например, в Поучении Климента Болг. (по Троицк. сб. XII в.): «Срѣца же съкроушена и сьмѣрена Бѣгъ не оуничжить». В силу морфологических чередований кратная форма этого глагола приняла вид *уничижати*. Этот фонетический вариант основы и был затем обобщен: *уничижитъ — уничижать*: ср. *уничужение, самоуничужение*⁶. Ср. позднее, в XVI—XVII вв., возникшие формы «причастодетия» и «причастодетельного» прилагательного: *уничижительно, уничижительный*. Весь этот круг слов употреблялся в высоком славянизированном стиле и выражал своеобразные оттенки значений, связанные с религиозным представлением о боге, карающем гордыню, превращающем в ничто человеческую самонадеянность. Но

³ J. Schmidt, A. Erdmann. Nowy [kieszonkowy] polsko-rosyjski i rosyjsko-polski słownik. Lipsk, 1845, с. 125.

⁴ «Словарь Акад. Росс.»², СПб., 1822, ч. IV, стлб. 733.

⁵ См.: «Словарь церк.-слав. и рус. яз.», 2-е изд., СПб., 1867, т. III, стлб. 307. В этом словаре нет слова *охрана*.

⁶ См. И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903, т. III, стлб. 1228—1229.

в XVII—XVIII вв. созвучие с словами *унижать*, *унижение*, *ниже*, ослабление авторитета религиозного средневекового мировоззрения несколько стирают церковнославянскую экспрессивную окраску с лексического гнезда *уничижать* — *уничижить*, *уничижение*, *уничижительный*. Кроме того, утрата этимологической связи с местоимением *ничь(то)* (так как само слово *ничь*, *ничьже* уже к XII—XIV вв. перестало употребляться в книжном языке) привела к изменению древних значений глагола *уничижить* и к сближению их с семантической сферой глагола *унизить* — *унижать*. Понятно, что общий, отвлеченно-психологический ореол семантики этих слов сохранился.

В «Словарях Академии Российской» и в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. *уничижать* истолковывается так: «приводить в презрение, унижать», а *уничижаться* — «унижаться» (ср. в «Толковом словаре...» под ред. Д. Н. Ушакова еще дополнительное объяснение: «подвергать себя, свое самолюбие оскорблениям»). Эта эволюция значений глагола *уничижать*, экспрессивное ослабление их в XVI—XVII вв. вызвали к жизни синонимическое новообразование от местоимения *ничьтоже*. В древнерусском языке было в большом ходу выражение *ни въ что же* со значением: «в ничто, ничтожный, не имеющий значения». Например, в «Повести временных лет»: «Се ни въ что же есть, се бо лежить мертво» (под 6583 г.); в Посл. Симона Поликарпу: «Все бо, елико твориши въ келіи, ни въ что же суть»; в Переясл. лет. (под 6684 г.): «Боляръ ихъ прещеніа ни въ что же положиша»⁷. От *ничьто же* были произведены именные слова *ничьтожьный*, *ничьтожьство*.

По тому же способу, как раньше было сформировано слово *уничьжити*, образуется глагол *ничьтожити*, *уничьтожити*. Он сначала значит то же, что и *уничижити*: «обратить в ничто, превратить в ничтожество». Но в новом слове намечается более тонкая дифференциация значений. С одной стороны, более резко и определенно выступают значения: 1) «превратить в ничто, прекратить существование чего-нибудь, разрушить до основания, погубить, истребить»; 2) «сделать ничтожным, недействительным, лишить значения, отменить, упразднить».

С другой стороны, *уничьтожить* как более сильный синоним постепенно вытесняет и употребление *уничижить* в значении «унизить, умалить чьи-нибудь заслуги, чье-нибудь достоинство, лишить цены, значения». Ср. в «Похождениях Жилблаза де Сантилланы» Г. Лесажа (пер. Вас. Теплова, СПб., 1781—1783): «Я тебе сказываю наперед, что он очень горд. Он любит, чтоб все служители перед ним себя уничтожали» (т. I, стр. 299). Ср. там же: «...королева, ненавидя ее смертельно, взирала на ее слезы с радостью. Сие не устрашило графиню, и она уничижала себя столь много, что просила придворных госпож королевы, чтоб она замолвила за нее слово» (т. IV, стр. 327—328).

ЗАСТОЙ

Заметка сохранилась в рукописи, написанной на ветхой плохой бумаге черными потускневшими чернилами. Части строчек во многих местах расплылись. В архиве есть также машинописная копия (3 экз.) без авторской правки. Текст заметки подготовлен по авторской рукописи.

Слово *застой* в древнерусском языке означало: 1) «Остановка, простой». *Бывает на море кораблям застой* (Акты Историч., IV, стр. 478). // «Вя-

⁷ И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895, т. II, столб. 455.

лость, недостаточная интенсивность в торговле, в хозяйственных делах». 2) В торговом диалекте: «нераспроданные вовремя съестные или кормовые припасы». *Много было застою в продаже, рыбы, мяса, сена* (ср. застойное сено).

С этими значениями были тесно связаны и позднее развившееся медицинское значение: «болезненная задержка кровообращения» (ср. в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г.: Застой в крови, в соках)⁸, и разные областные народные значения, например: «место, где рыба стоит или останавливается» (ср. в «Описании земли Камчатки» Крашенинникова, т. I, стр. 17).

Социально-политическое значение этого слова: «отсутствие прогресса, полная остановка развития в общественной жизни и культуре» — сложилось не ранее 40—50-х годов XIX в., т. е. в тот период, когда распространились понятия: прогресс, прогрессист, прогрессивный, передовой, отсталый, ретроград.

В «Воспоминаниях» Феокистова: «Он [М. Н. Катков] был непримиримым врагом застоя, и ум его неустанно работал над вопросом, каким образом можно было бы вывести Россию на благотворный путь развития»⁹.

ПОКЛОННИК

Заметка сохранилась в рукописи на четырех листках, пронумерованных карандашом (бумага — разного качества: третья и четвертая странички — на желтой, старой оберточной бумаге, текст написан черными чернилами; вторая страничка — на старой бумаге, но другого качества, чернила черные, потускневшие; первая страничка — на листке в линейку, написана карандашом). В архиве есть также машинописная копия заметки в 3-х экземплярах без авторской правки.

Текст заметки подготовлен по рукописи.

Не подлежит сомнению, что книжно-славянский отпечаток лежит на именах существительных с суффиксом *-ник*, произведенных от глагольных основ: *наставник, заступник, преступник, наследник, работник, противник, клеветник, рассадник*.

Слово *поклонник* в языке древнерусской письменности было культовым выражением (ср. *идолопоклонник*). Унаследованное русским языком из языка старославянского, оно обозначало: «человек, поклоняющийся, молящийся (богу), почитающий бога» (ср. в Остром. Еванг., Изборник 1073 г., в Гр. Наз. XI в.)¹⁰. В деловом языке для обозначения лица, являющегося с поклоном и дарами, было образовано слово *поклоньщик* (ср. в IV Новг. Летоп. 6955 г.: «Присла поклоньщики въ Новгородъ, Новгородьци же послаша послы... и князь Дмитрии крестъ цѣлова на встѣхъ старинахъ»)¹¹ (ср. *изменник* и *изменщик*; *советник* и поздн. *советчик*). В этом культовом значении слово *поклонник* дожило до XVIII в. В «Словарях Академии Российской» отмечено лишь это одно значение: «Поклонник, ка, с. м. 2 скл. *Поклонница*, цы, с. ж. 1 скл. Богопочитатель, богомолец. *Истиннии поклонницы поклоняются Отцу духомъ и истиною*. Иоан. 4. 23»¹².

⁸ «Словарь церк.-слав. и рус. яз.», 2-е изд., СПб., 1867, т. II, стлб. 121.

⁹ Е. М. Феокистов. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., Прибой, 1929, с. 222.

¹⁰ И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, СПб., 1895, т. II, стлб. 1109.

¹¹ Там же.

¹² «Словарь Акад. Росс.»², СПб., 1822, ч. IV, стлб. 1398.

Однако в поэзии XVIII в. слово *поклонник* теряет свои религиозно-культовые оттенки. Оно переносится в стили любовной лирики и получает общее эмоциональное значение «почитатель» (ср. изменения значения глагола *обожать*, *обожатель*). Это значение впервые зарегистрировано в Академическом «Словаре церковно-славянского и русского языка» 1847 г. Здесь указываются два значения слова *поклонник*: «1) Поклоняющийся Богу, святыне. 2) Почитатель. *Поклонник красоты*»¹³. Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Поклонник Канта и поэт».

В «Толковом Словаре» В. И. Даля отмечается третий этап в эволюции значений этого слова. В разговорной речи 20—30-х годов слово *поклонник* (так же, как и *обожатель*) стало в абсолютном употреблении, т. е. независимо от сочетания с родительным падежом объекта, обозначать влюбленного, увлеченного обожателя. Например, у Пушкина: «Она окружена была поклонниками».

У Даля читаем: «Поклонник [м], -ница, [ж] — поклоняющийся кому, чему-либо (Богу, Святым местам, мощам). // Почитатель, обожатель, преданный слуга; // влюбленный. *Он поклонник всех пиров. У нее много поклонников и обожателей*»¹⁴.

В современном русском языке — с существенными стилистическими изменениями и с иной экспрессивной окраской — выделяются в слове *поклонник* три значения: 1) Восторженный почитатель. *Он — поклонник Пушкина. «Таланты и поклонники»* (название пьесы А. Н. Островского). 2) Влюбленный, ухаживатель. «*Уж не он ли? спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому*» (Тургенев). 3) Человек, почитающий кого-нибудь в качестве божества или святого (книжн. устар.). *Поклонники Магомета. Поклонники Будды*¹⁵.

Таким образом, «иерархия значений слова» (пользуясь выражением Ж. Вандриеса) резко изменилась, экспрессивные оттенки стали более риторическими и изысканными, но внутренняя форма осталась почти та же.

ПОТУСТОРОННИЙ

Заметка сохранилась в авторской рукописи, состоящей из четырех листов бумаги разного формата; страницы пронумерованы автором. Текст написан выцветшими черными чернилами и карандашом. В архиве имеются также машинописная копия с авторской правкой, гранка и верстка, правленные рукой автора.

Текст заметки подготовлен по машинописи с авторской правкой.

Многие иностранные слова сначала употребляются в русском языке как «цитаты», как чужезычная примесь. В тех случаях, когда такое применение чужих слов и выражений вызывается не модой и не индивидуальным двуязычием, а отсутствием соответствующих слов и значений в семантической системе самого русского языка, возникает естественное стремление или к созданию своих национальных эквивалентов для выражения тех же мыслей, или к русификации, к национализации чужого слова. Для внедрения нового слова в лексическую систему русского языка необходима благоприятная социально-идеологическая почва.

¹³ «Словарь церк.-слав. и рус. яз.», 2-е изд., СПб., 1867, т. III, стлб. 646.

¹⁴ В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. СПб. — М., 1912, т. III, стлб. 622.

¹⁵ «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. М., 1939, т. III, стлб. 496.

Слово — *потусторонний* появилось в русском литературном языке не ранее 30—40-х годов XIX в. Оно было внушено идеалистическими системами немецкой философии, главным образом, влиянием Шеллинга. Оно употреблялось сначала или как эпитет к слову *мир* («потусторонний мир»), или как субстантивированное прилагательное среднего рода. С морфологической точки зрения *потусторонний* представляет собою как бы производную (с помощью относительного суффикса -н') форму прилагательного, связанного с словосочетанием — *по ту сторону*. *По ту сторону* — это эквивалент русского выражения — *там свет*.

По ту сторону — потусторонний — это переводы немецких *jenseits, jenseitig*.

Аполл. Григорьев в «Листках из рукописи скитающегося софиста» (1843—1844) еще пользуется немецким *jenseits* для выражения потустороннего:

«С чего бы я ни начал — я приду всегда к одному: к глубокой, мучительной потребности верить в идеал и в *jenseits*. Все другие вопросы проходят мимо меня: сен-симонизм в своих последних, или по *их*, разумных результатах мне противен, — ибо я не могу ничего найти успокоительного в мысли о китайски-разумном идеале жизни. Оттого — ко всему я в состоянии божественной иронии, ко всему, кроме *jenseits*»¹⁶.

Слово *потусторонний* не отмечено ни одним толковым словарем русского языка до словаря Даля включительно. Широкое употребление этого слова в значении: нездешний, загробный, неземной в стилях книжного языка наблюдается не ранее 80—90 гг. XIX в. Впервые ввел это слово в толковый словарь русского языка И. А. Бодуэн де Куртене. Он поместил его в «Толковом словаре» Даля с пояснением и с скрытой цитатой.

«Потусторонний, по образцу немецкого *jenseits, jenseitig*, по ту сторону лежащий, находящийся; относящийся к предполагаемой загробной жизни. «Лионель, душе которого были присущи страстные стремления к идеальному, к *потустороннему*, не выносит позитивного воспитания и убегает от холодной скуки здешней жизни, путем самоубийства, к неведомому для него Богу»¹⁷.

МОМЕНТ

Заметка сохранилась в рукописи на четырех пронумерованных листках ветхой пожелтевшей бумаги, чернила сильно потускнели. На отдельном листке карандашом автором сделана выписка из «Дневника» Ф. Е. Орлова (бумага тоже очень старая, но другого качества); эта цитата включается в текст заметки.

В архиве есть также машинописная копия в трех экземплярах без правки автора. Текст заметки подготовлен по авторской рукописи.

К слову *момент* В. В. Виноградов обращался также в книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове». Говоря о развитии «местоименных» значений у существительных *вопрос, дело*, он писал: «По-видимому, в современном языке сюда же примыкает слово *момент*». Далее в сноске: «Слово *момент* в этом газетном значении, по-видимому, вышло из сферы военного языка, в котором оно укрепилось во второй половине XIX в. Так, Н. С. Лесков писал в „Печерских антиках“: „Слово „момент“, впоследствии основательно истасканное нашими военными ораторами, кажется, впервые было пущено Берлинским и с его легкой руки сделалось необходимым подспорьем русского военного красноречия“. В философско-публицистических стилях 30—50-х годов это слово было тесно связано с терминологией гегельянства. Ср. в „Рудине“

¹⁶ А. Григорьев. Воспоминания. Л., 1980, с. 86—87.

¹⁷ В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 4-е изд., СПб.—М., 1912, т. III, стлб. 939. Приведенная цитата, очевидно, взята И. А. Бодуэном де Куртене из газетно-журнальной рецензии на русский перевод книги М. Корелли «История детской души» (The mighty Atom — «Могущественный Атом»), 1897 (изд. К. П. Победоносцева).

Тургенева: „Эти господа [Рудин и подобные ему] все развиваются: другие, например, просто спят или едят — а они находятся в момент развития сна или еды“ (слова Пигасова, гл. XII). После сноски читаем: «Но и дело и момент, сближаясь по своеобразию своих лексических значений с местоимениями, остаются именами существительными со всем комплексом свойственных им форм» (В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947. С. 325).

Интереснее всего установить принципы и методы включения заимствованного слова в русскую семантическую систему и последующего его смыслового развития. Тут намечаются не только пути интернациональных языковых связей, но и оригинальные приемы национального русского употребления и переосмысления европеизмов. Примером может служить слово *момент*. Оно вошло в русский литературный язык из латинского языка (*momentum*) и обозначало до 20-х гг. XIX в. «миг, мгновение, кратчайший отрезок времени». Кроме того, в языке физико-математических наук это слово обозначало «двигающее начало».

Особенно известно было выражение *момент силы*. Этим термином обозначалось произведение силы на кратчайшее расстояние от линии направления силы до оси вращения (рычага, тела, системы и т. д.)¹⁸.

В философском словаре 20—30-х годов XIX в. слово *момент* под влиянием терминологии, свойственной немецким идеалистическим системам Шеллинга и Гегеля, получает более широкое значение: «Этап, стадия в развитии чего-нибудь», а затем: «акт, составная часть какого-нибудь сложного процесса, действия». Это значение реализуется в своеобразных фразеологических оборотах. Например, у В. Г. Белинского: «*Распадение и разорванность* есть момент духа человеческого, но отнюдь не каждого человека. Так точно и *просветление*: оно есть удел очень немногих... Чтобы понять значение слов *распадение, разорванность, просветление*, надо или пройти через эти моменты духа, или иметь в созерцании их возможность»¹⁹.

В Дневнике Ф. Е. Орлова (1869—1872 гг.) приводится в переводе текст немецкого студенческого воззвания: «Мы убеждены, что несмотря на все другие различия в национальности и в роде занятий, в целях нас будут соединять два общих двигателя (Momente): н а у к а ... и м о л о д о с т ь»²⁰.

Вместе с тем в военном языке второй половины XIX в. образуется своеобразный оттенок значения слова *момент*: «удобный, подходящий случай, ситуация, надлежащий миг, самое целесообразное время для какой-нибудь военной операции».

На почве этого словоупотребления складывается военное жаргонное применение слова *момент* к лицу: *момент* — «это обер-офицер генерального штаба, командное лицо, принадлежащее к генеральному штабу, генштабист, офицер, окончивший Академию генерального штаба». Например, у А. А. Игнатьева в книге «Пятьдесят лет в строю»: «А я вот решил готовиться в академию. А то завязнешь, как завязли в полку наши милые старички».

— Да, конечно, академия, — задумчиво ответил Чертков, — но не люблю я „моментов“.

Так называли тогда генштабистов за пристрастие многих из них к таким выражениям, как: „надо поймать момент“, „это момент для атаки“, и т. п.»²¹.

¹⁸ См.: «Словарь церк.-слав. и рус. яз.», 2-е изд., СПб., 1867, т. II, стлб. 673.

¹⁹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 462.

²⁰ Ф. Е. Орлов. Дневник заграничной командировки 1869—1872 гг. М., 1898, с. 31.

²¹ А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю, кн. 1 и 2, М., 1941, с. 98.

Ср. также: «Отзывы Гриши Черткова о „фазанах“ и „моментах“ были ходячей характеристикой офицеров генерального штаба. И в гвардии и в армии академию считали специальным поприщем для карьеристов и ловчил»²².

В газетно-публицистическом стиле конца XIX в. у слова *момент* развивается — на основе значения «составная часть процесса, действия» — более общее значение «сопутствующее обстоятельство, отдельная сторона, деталь какого-нибудь явления».

МОХРЫ

Заметка сохранилась в рукописи на двух пронумерованных листках, написанных светло-синими чернилами (бумага старая). В архиве есть также две карточки, на которых рукой автора сделаны библиографические выписки для сносок, вошедших в текст, и машинописная копия в трех экземплярах без авторской правки.

Заметка подготовлена по авторской рукописи.

Принцип народнорусской ассимиляции, морфологического приспособления к русской лексической системе дает себя знать в истории слова *мохры*, этимологически связанного со словом *бахрама*. Слово *бахрама* восходит к араб. *takraite*. Это слово, проникнув в диалекты, дало ряд лексических и морфологических новообразований, с какими оно встречается и в XIX в., что зафиксировано диалектологическими словарями. «Опыт областного великорусского словаря» (СПб., 1852, с. 8) дает форму *бахмара* с основным значением²³. В материалах древнерусского словаря основное значение определяется так: «бахрама — род тесьмы с мягко падающими с одной стороны плетеными нитями и прядями (шелковыми, золотыми, серебряными)». В диалекты проникла форма, более близкая этимону: «*мохра́, Ы с. ж. Кисть бахрамы*»²⁴. Здесь наблюдаем типичную в иранизмах на русской почве замену заднеязычного эксплозивного фрикативным и этимологизацию (контаминацию?) с русским *мох*. Очевидно, на основе ее образовалась форма *мохры*. *Бахрома с золотыми мохрами* (В. Даль, изд. 2-е, II, стр. 359). В этой же связи стоит *махрятник* — «мелочной торгаш, коробочник, офеня». «Махрятничать — промышленать разноскою в народе мелочных товаров по деревням» (В. Даль, II, стр. 315)²⁵.

ПОСТЕПЕНОВЕЦ

Заметка написана на четырех листках разного формата, страницы пронумерованы автором. Основная часть написана на плохой изветшавшей бумаге (две страницы) черными выцветшими чернилами и карандашом, имеются вставки внутри текста, вписанные красными и черными выцветшими чернилами, а также в виде двух отдельных листков. Чтение рукописи затруднено.

В архиве есть также машинописная копия и гранка; то и другое — с авторской правкой. Заметка подготовлена по гранке.

В русском литературном языке XIX — начала XX в. приобрел большую продуктивность, большую жизненную силу тип образования имен

²² Там же, с. 99.

²³ См.: «Бахмара — бахрома. (Тул. губ. Нов. у. Залегощ. вол. Д. Нижн. Залегощ и др.)» — Е. Ф. Будде. О говорах Тульской и Орловской губерний, СПб., 1904, стр. 114.

²⁴ «Дополнение к Опыту областного великорусского словаря», СПб., 1858, стр. 118. Ср.: «Мохры — головной платок с бахромой, образующий на голове мохнатую повязку в виде турецкой чалмы. (Орл. г. Орл. у.)» (Е. Ф. Будде, указ. соч., стр. 127). Ср. *мушара* — золотая бахрома.

²⁵ Е. К. Бахмутова. Иранские элементы в деловом языке Московского государства, «Уч. зап. Казанского пед. ин-та. Факультет языка и литературы», вы. III, 1940, стр. 49.

существительных от именных и даже наречных основ с помощью суффикса *-овец*. Например, *толстовец*, *искровец*, *впередовец*, *кружковец*, *вузовец*, *млатовец*, *метростроевец* и т. п. Легко заметить, что эти образования соотносительны с именами прилагательными на *-овый*, и *-овский* (ср. *толстовский*, *искровский*, *вузовский*, *кружковый*, *млатовский* и т. п.). Отыменные слова этого типа начинают все активнее производиться в русском литературном языке с середины XIX в. Во второй половине XIX в. расширяется круг основ, которые вступают в непосредственное сочетание с сложным суффиксом *-овец*. Зародыши этих новых словообразовательных типов отыскиваются в далеком прошлом.

Среди предвестий таких современных неологизмов на *-овец*, в которых суффикс *-овец* выступает как цельная, самостоятельная форманта, особый интерес представляет слово — *постепеновец*. Оно образовано от имени прилагательного *постепенный* с помощью суффикса *-овец*. Кажется, этому слову нет полных параллелей среди других слов на *-овец*. *Постепеновец* — разговорно-интеллигентское слово с публицистической окраской. Оно оформилось в 60-е годы XIX в., но особенно широко распространилось в русском литературном языке, в его журнально-публицистическом и разговорно-интеллигентском стилях в 70—80-е годы. Оно обозначает сторонника медленного, поступательного, постепенного развития прогресса, противника решительных революционных методов. «Искра» 60-х годов иронически называла «Северную почту» официально-постепенно-либеральной газетой²⁶. Позднее было образовано и отвлеченное слово — *постепеновщина*, получившее еще более пренебрежительную окраску и обозначающее: отрицание решительных, революционных методов.

Очень типично употребление этого слова у И. С. Тургенева в романе «Новь» (1876): «Соломин — и тот заметил, что есть две манеры выжидать: выжидать и ничего не делать — и выжидать да подвигать дело вперед.

— Нам не нужно постепеновцев, — сумрачно проговорил Маркелов.

— Постепеновцы до сих пор шли сверху, — заметил Соломин, — а мы попробуем снизу».

В воспоминаниях доктора Н. А. Белоголового о М. Т. Лорис-Меликове: «По политическим своим убеждениям — это был умеренный постепеновец, который не мечтал ни о каких коренных переворотах в государственном строе и признавал их положительно пагубными в неподготовленных обществах, но, непоколебимо веруя в прогресс человечества и в необходимость для России примкнуть к его благам, крепко стоял на том, что правительству необходимо самому поощрять постепенное развитие общества и руководить им в этом направлении» (Русская Старина, стр. 584, сентябрь, 1889).

У А. П. Чехова в письме А. Плещееву (от 4 октября 1888 г.): «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист»²⁷.

У Д. Н. Мамина-Сибиряка в романе «Ранние восходы» (1896):

«Людей можно разделить на героев и простых смертных, — говорил он. — Героев немного и геройство не обязательно, да и смешно немного, если кто-нибудь считает себя таковым. Значит, прежде всего нужно быть самым простым смертным и добросовестно делать свое дело! У нас везде порыв, увлечение, скачки, а кто же будет делать черную работу? Я так

²⁶ М. К. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX ст., СПб., 1904, с. 177.

²⁷ Русские писатели о литературе, Л., 1939, т. II, с. 429.

и смотрю на жизнь... Мы будем делать свое маленькое дело, а герои в свое время найдутся. Им и книги в руки... Это немножко скучно и прозаично, но так уже складывается наша жизнь.

С этими прозаическими размышлениями были несогласны и Лукина, и Морозова, и Борзенко, которые называли Жиличко „постепеновцем“ и спорили с ним до хрипоты»²⁸.

В романе «Восьмидесятники» А. В. Амфитеатрова: «...все дороги ведут в Рим, а я постепеновец и терпеть не могу сальто-мортале и диких прыжков»²⁹.

РЕШИМОСТЬ — НЕРЕШИМОСТЬ

Заметка сохранилась в неозаглавленной рукописи, состоящей из трех непромуерованных листков относительно старой бумаги разного формата, цвета и качества. Текст написан, судя по чернилам (синим и черным), в разное время. Одна вставка (в две строки) сделана карандашом. Сохранилась также машинописная копия без авторской правки в трех экземплярах.

Заметка подготовлена по рукописи.

Слова *решимость*, *нерешимость* в современном русском языке связываются с другими, более новыми словами на *-мость* типа *возбудимость*, *раздражимость* и т. п. Между тем слово *решимость* более старого происхождения и семантически выделяется из привычного круга слов на *-мость*. В самом деле, *решимость* обозначает способность решиться на что-нибудь, смелость в принятии и осуществлении решений. А. Х. Востоков определял *решимость* непосредственно как «деятельное мужество». Следовательно, слово *решимость* предполагает не пассивное, а активное значение формы *решимый*. Недаром слово *решимость* в литературном языке XIX в. сблизилось с *решительность*, как с своим частичным синонимом. Например, в статье М. Лобанова «Жизнь и сочинения Н. И. Гнедича»: «...непоколебимая *решительность* Гнедича перевести Илиаду размером подлинника» и тут же: «Довольный своею мужественною *решимостью*, он углублялся более и более в тайны гармонии»³⁰.

Слово *решимость* в значении: «твердое на что-либо предприятие, намерение» уже зарегистрировано «Словарями Академии Российской»³¹.

Ср. у Г. Р. Державина в «Записках»: «...Императрица ... отсылала раз шесть с нерешимостью (= отсутствием решения) докладчика, говоря, что он еще в делах нов». (Соч. Г. Державина, 2-е изд., СПб., 1876, т. VI, с. 601). Ср.: «...вдруг нерешимый узел всех долгов графа Чернышева развязался» (там же, стр. 679).

Г. Р. Державин употребляет слово *решимый* как прилагательное в значении: «смело принимающий решения, решительный».

«Решим без скорости, спокоен. (Ум. 498, 11)»³².

В записке генерал-поручика Ржевского «О русской армии» при Екатерине: «Дело Борзова, другое Стратиновича так важны по нерешимости их, что они всю службу и субординацию с основанием искореняют, утверждая на место того наглость, неподчиненность и бесстрашие»³³.

²⁸ Д. Н. Мамин-Сибиряк. Полн. собр. соч., т. 7, Пг., 1916, с. 237.

²⁹ А. В. Амфитеатров. Собр. соч., т. 12, СПб., 1911, Восьмидесятники, кн. II, с. 54.

³⁰ «Труды Имп. Росс. Академии», СПб., 1842, ч. V, с. 34, 35.

³¹ См.: «Словарь Акад. Росс.»², СПб., 1822, ч. V, стлб. 1130.

³² Г. Р. Державин. Соч. СПб., 1883, т. IX, с. 421 (Словарь).

³³ «Русский архив», 1879, № 3, с. 358.

Эти примеры показывают, что абсолютное (т. е. не зависимое от определения в форме родительного падежа имени существительного) употребление слов *решимость* и *нерешимость* было особенно широко распространено в официально-деловом языке XVIII в. По-видимому, в его недрах и сложилось новое значение слова *решимость*.

В самом деле, глагол *решишь* в русском языке XVII—XVIII вв. мог употребляться в высоком стиле с старославянским значением: «освободить, давать свободу» (ср. *вязать* и *решишь*; ср. *разрешишь*). Но это употребление к концу XVIII в. уже отмирало. И слово *решишь* сохраняло два основных значения: 1) деловое: «Мнением своим заключать, приговор делать, определять. *Решишь дело. Решишь сумнение какое. Решишь тяжбу. Решишь ссору*»; 2) научно-школьное: «По правилам какой-либо науки находить искомое, желаемое. *Решишь предложенный вопрос, задачу*»³⁴.

Общие, отвлеченные значения и употребления слова *решишь* — «определить смысл чего-нибудь, найти ответ на что-нибудь, избрать образ действий, прийти к практическому выводу» — сложились уже на рубеже XVIII и XIX вв.³⁵

От делового значения «рассудить, составить приговор, решение» нельзя отделять и такое употребление глагола *решишь* в поэтическом языке Державина:

Ты можешь сам себя решить:

Почтенну ль быть тебе с Сократом,

Или презренну с Геростратом? (Ков. 322, 14)³⁶.

³⁴ См.: «Словарь Акад. Росс.»², СПб., 1822, ч. V, стлб. 1131.

³⁵ Ср. «Словарь церк.-слав. и рус. яз.», 2-е изд., СПб., 1867, т. IV, стлб. 173—174.

³⁶ Г. Р. Державин. Соч., СПб., 1883, т. IX, с. 421.

ЛАПТЕВА О. А.

**МЫСЛИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ВИНОГРАДОВА
О СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРАХ РЕЧИ
В СВЯЗИ С ТЕОРИЕЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

Теория литературного языка возникла в русском языкознании как результат нового освоения языкового материала после и на базе достижений русской диалектологии, исторической грамматики, трудов младограмматиков. Эти направления отличало прежде всего предельно внимательное отношение к языковому и речевому факту, поскольку им приходилось иметь дело с речевыми произведениями отдельных носителей языка — крестьянина, писца. В каждом таком произведении в изобилии присутствовали приметы индивидуальных речевых особенностей, индивидуального речевого творчества. При установлении общих закономерностей языкового развития и функционирования эти приметы оставались за скобками, однако само их наличие не могло не отразиться на характере лингвистического мышления.

Чрезвычайно внимательный и чуткий к любой детали языкового и речевого материала, акад. В. В. Виноградов в каждой области своих русистских изысканий всегда останавливался на том, что относилось к «человеческому фактору» в языке. Этим прежде всего поражает разработавшаяся им на протяжении всей его исследовательской жизни теория русского литературного языка в самых разных ее направлениях и аспектах рассмотрения.

В отдельных идеях и положениях этой теории у В. В. Виноградова были прекрасные предшественники — его учитель А. А. Шахматов, фундаментально разработавший исторический аспект, Б. Гавранек, создавший теорию современного литературного языка, Н. С. Трубецкой, уже в середине 20-х годов в статье «Общеславянский элемент в русской культуре» обосновавший понятие русской национальной личности, разграничивший понятия народного и литературного языка в их отношении к разговорному языку и впервые выстроивший четкую схему исторического развития русского литературного языка с учетом культурологического аспекта [1, с. 98—119].

На этой базе В. В. Виноградов со свойственной ему энциклопедичностью, любовью к каждому отдельному явлению, уже неповторимой ныне широтой охвата единой филологической проблематики создает теорию литературного языка как дисциплину с определенным и многоаспектным объектом исследования, как целостный комплекс самостоятельных, но тесно взаимосвязанных направлений, объединенных разными гранями функционального подхода к литературному языку. Эти направления разрабатываются им в едином плане, в едином ключе, в нерасторжимости и цельности, питая и обогащая друг друга.

Можно назвать по крайней мере следующие направления этой теории, которые разрабатывались и после Виктора Владимировича вплоть до

настоящего времени, хотя и не всегда равномерно и с одинаковым успехом:

1. Соотношение национального и литературного языка.

2. Литературный язык и его состав. Принципы выделения разновидностей, установление характера их соотношения и взаимодействия. Понятие общелитературной основы разновидностей. Понятие функционального стиля как особого единства с определенной композицией, отбором и организацией языковых средств. Расхождения в современной русистике в выделении того или иного состава стилей имеют свои причины. Прежде всего это отсутствие единого основания для выделения разных стилей, недостаточный учет их собственно языковых характеристик и признание приоритета экстралингвистических факторов, разнородность разновидностей книжно-письменного и устно-литературного типов в составе и организации языковых средств. Не решен и вопрос о системном характере стиля и о наличии своего, специфического для каждого стиля, набора средств. Можно констатировать в связи с этим, что сейчас наблюдается кризис понятия функционального стиля.

Соотношение литературного языка как целого с языком художественной литературы — наиболее прямым, полным и ценным источником пополнения и обогащения состава средств литературного языка и с другими его разновидностями.

Иногда полагают, что главная линия этого направления — функциональная стилистика. Это и верно и неверно, потому что для ее выделения и разработки как самостоятельной дисциплины понадобилось вычленение и развитие других линий. Главная из них — характер и способы дифференциации литературного языка и отдельных языковых явлений при его функционировании. Если обратиться к современным славянским литературным языкам, то совокупность социальных, функциональных и территориальных факторов, определяющих возникновение разновидностей литературного языка, предстает неодинаково в разных языках — где-то сильнее оказывается первая группа, где-то вторая, где-то третья. В результате возникает сложное взаимодействие объективных и субъективных предпосылок, которым обязана своим конкретным обликом та или иная разновидность. Для теории русского литературного языка и сейчас остается актуальной и неотложной задача изучения их проявления и взаимодействия.

3. Общность коммуникативных задач в жизни языкового коллектива и тематические особенности общения, определяющие взаимодействие книжно-письменных и устно-разговорных разновидностей литературного языка. Взаимовлияние разновидностей в употреблении языковых средств, которому все они подвержены, но в разной степени и с неодинаковой направленностью влияний. Устно-разговорная разновидность, например, влияет на художественную речь, которая черпает в ней всё новые изобразительные и выразительные возможности, а сама подвергается обратному влиянию в значительной мере. Взаимовлияние письменной научной и деловой речи, с одной стороны, и разговорной — с другой, можно считать несуществующим, поскольку это лишь одностороннее влияние первой на вторую. Иное положение с парой публицистическая — разговорная речь, здесь налицо действительное взаимовлияние. Процессы взаимовлияний и однонаправленного воздействия дают материал для культурно-речевых дискуссий о «канцелярите», нормативном аспекте книжно-письменных и устно-разговорных особенностей, о языке художественной литературы.

4. Соотношение книжно-письменной и устно-разговорной сфер литературного языка с учетом исторического характера этого соотношения. Исторические условия формирования и развития русской письменности способствовали стабилизации книжно-письменных языковых средств, что вело к разъединению двух сфер в истории. Н. С. Трубецкой обратил внимание на выработку в книжном языке «особых строгих синтаксических оборотов, производство множества новых слов» [1, 104]. Раннее формирование литературного языка как языка, обслуживающего письменность, постоянные и все время различные формы взаимодействия церковнославянской и народно-разговорной стихий в истории развития русского литературного языка, самостоятельное развитие многих литературно-языковых явлений в лоне книжно-письменного типа, с одной стороны, и отдельное развитие общерусской разговорной стихии, с другой (на это тоже обратил внимание Н. С. Трубецкой), — все это обусловило правомерность начального изучения литературного языка прежде всего как языка письменности. Устные его формы оставались уделом занятий фольклористики и диалектологии. Лишь в самое недавнее время они стали осознаваться русистами как факты литературного языка. В связи с этим встает задача изучения характера обеспечения основных функций языка этими сферами.

5. Роль формы воплощения литературной речи в дифференциации литературного языка. Чешский лингвист Я. Хлоупек считает устную и письменную формы воплощения речи основными стилеобразующими факторами. Предстоит выяснить их соотношение с социолингвистическими и экстралингвистическими факторами и установить, в каких сферах и разновидностях русского литературного языка актуально действие каждого из них.

6. Роль и характер социальной стратификации литературного языка в его истории и современном состоянии.

7. Роль индивидуально-речевых и творческих факторов в развитии русского литературного языка и в современных процессах его изменения.

8. Соотношение русского литературного языка как системного образования и речевой деятельности коллектива говорящих. Осуществление задач речевой коммуникации и литературный язык.

9. Сопоставительные аспекты в изучении литературных языков, прежде всего славянских. Здесь следует выявить универсальные явления как следствие общих тенденций и общих психолингвистических закономерностей речевой деятельности.

10. Ретроспективный анализ стратификации русского литературного языка в предшествующие периоды его развития с учетом данных о современном составе его языковых средств. Разные аспекты литературного языка в его истории должны изучаться поэтапно.

К сожалению, исследовательское внимание к этим и, возможно, не названным здесь направлениям разработки теории русского литературного языка и в настоящее время распределяется неравномерно. Актуальность таких разработок не всегда сочетается с необходимой организационной поддержкой.

Не приходится специально оговаривать, что внимание к человеческому фактору в названных направлениях занимает отнюдь не периферийное положение. В большинстве трудов В. В. Виноградова так или иначе затрагиваются или специально разрабатываются и обосновываются различные вопросы литературного языка, языка художественной литературы в его отношении к литературному языку и к индивидуально-твор-

ческим особенностям отдельных писателей, языковой нормы и ее вариантов, стиля и стилистики, воздействия индивидуальных и коллективных речевых особенностей на литературный язык в его развитии и, конечно, соотношения в нем книжно-письменного и устно-разговорного начал. В разнотой связи и при рассмотрении разных вопросов В. В. Виноградов не уставал утверждать примат этого бинарного соотношения в общей картине дифференциации литературного языка. Это обстоятельство не всегда учитывается в современных функциональных стилистиках, особенно при выделении некоторого множества стилей. В трудах В. В. Виноградова все эти линии выстраиваются в стройную систему как взаимосвязь различного, но диалектически единого. Любой конкретный вопрос В. В. Виноградов представлял как часть единого целого, проводя его сквозь призму общей теории литературного языка, которая, в свою очередь, при этом обогащалась.

Обращаясь к трудам своих предшественников, В. В. Виноградов мог опереться на интерес к живому языку у А. А. Потебни, Ш. Балли, Л. В. Щербы, Л. П. Якубинского. При этом он неизменно обращал внимание на индивидуально-личностное в их трудах, которое у самого В. В. Виноградова как принцип исследования присутствовало во всем — от подробно разработанной им идеи образа автора при изучении языка художественной литературы до индивидуально-авторского стиля писателя, от идеи реального функционирования литературного языка до пристального внимания к индивидуальным речевым «неправильностям» при наблюдениях над живой современной речью.

Ю. В. Рождественский, говоря о том, как понимал В. В. Виноградов разные способы соотнесения собственно лингвистической и текстовой интерпретации литературного произведения в отечественной науке, писал, что, по В. В. Виноградову, «Потебня в противовес Шахматову видит в языке почти исключительно индивидуальное языковое творчество» [2]; «... никто из предшествующих исследователей русской грамматики не связал так тесно и прочно грамматические вопросы, вопросы языковой техники и речевого творчества с формами мышления и познания, как сам А. А. Потебня» [3, с. 331]. Однако диалектическое видение проблемы позволяет Виктору Владимировичу заметить, что «А. А. Потебня, придерживаясь... концепции речи как индивидуально-неповторимого акта духовного творчества, недооценивает коллективной системы значений слова в лексическом строе языка» [3, с. 336].

Индивидуальное речевое начало проявляется, по В. В. Виноградову, очень явно в языке художественной литературы. Занимаясь языком разных писателей, он показал, что каждое произведение должно изучаться как «выразительный организм законченного смысла» (Б. Кроче), как индивидуально-неповторимая система стилистических соотношений [4, с. 16]. Результатом такого изучения должно стать открытие общих закономерностей исторической стилистики и языка художественной литературы как исторически целостного образования и самой художественной литературы. «...глубокое, детальное изучение индивидуальных стилей великих художников слова в их историческом движении помогает увидеть многое в воспитавшей их словесно-эстетический вкус предшествующей литературе и в перспективах ближайших поэтических задач будущего» [5, с. 7]. «Правда, — добавляет он тут же, — приемы и методы такого историко-динамического исследования индивидуальных стилей по отношению к художественной литературе XIX—XX вв. еще очень мало раскрыты и определены» [5, с. 8]. Это остается справедливым и по отноше-

нию к сегодняшнему состоянию изучения языка писателя. «Стиль, автор как создатель и представитель индивидуального стиля, структура литературного произведения — категории исторические» [5, с. 8]. Рассматриваем ли мы сейчас язык современной литературы как явление историческое?

Соединение индивидуальных и коллективных речевых усилий в едином процессе становления и развития литературного языка приводит к складыванию его неповторимого облика на каждом историческом этапе его развития. «Литературный язык — всегда результат коллективной творческой деятельности» [6, с. 288]. «...по отношению к национальному языку может быть выдвинут тезис об организующей и формирующей роли отдельных индивидуальностей» [6, с. 296]. Поэтому и художественная речь, нерасторжимо связанная с развитием литературного языка, должна изучаться во всех ее аспектах — общенациональном и общенародном, локальном, социальном и художественно-индивидуальном [7] — так же, как и любой вид литературной речи.

Так понимаемое значение индивидуально- и коллективно-творческого момента для структуры не только отдельного речевого акта, но и литературного языка как целостного образования позволяет Виктору Владимировичу разработать теорию языковых и речевых стилей, которая отличается глубоким своеобразием благодаря своей необезличенности, отчетливому осознанию соотношенности стиля с субъектом речи, субъективной направленности стиля. Думается, что этот момент недостаточно учитывается в современных исследованиях функциональных стилей. «Изучение языка... пришло к сознанию важности и даже необходимости разграничения стилей языка (преимущественно в сфере литературно-языковой культуры народа), а в области многообразия общественно-речевой деятельности, особенно в эпоху национального развития — стилей речи или социально-речевых стилей. Чрезвычайно остро выдвигается проблема стиля, когда вообще возникает речь об индивидуальном словесном творчестве. Обычно говорится даже, что стиль — это сам человек, это — неповторимая индивидуальность» [8, с. 7]. «Понятие стиля является везде и проникает всюду, где складывается представление об индивидуальной или индивидуализированной системе средств выражения и изображения, выразительности и изобразительности, сопоставленной или противопоставленной другим однородным системам» [8, с. 8]. Здесь же В. В. Виноградов говорит об «обращении к языку (речи) и его диалектам и стилям как средству или даже как к форме выражения и отображения субъектов (народа, нации, класса, социальной группы, личности)» [8, с. 8].

Именно на этой базе складываются общезыковые закономерности, которые при объективной дифференциации литературного языка ведут к формированию крупных образований — стилей (ср. теорию Б. Гавранка, опубликованную в русском переводе в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» [9]). «Сразу бросается в глаза, что в понятии стиля обнаруживаются существенные различия, связанные с выделением объектно- или объективно-структурных качеств его системы или с описанием его субъективной направленности, соотношенности его с субъектом, формой выражения внутренних индивидуальных свойств и творческих возможностей которого и является соответствующий стиль» [8, с. 8]. «Таким образом, в сфере изучения языка и его стиля обычно господствуют понятия, принципы и категории объектной (объективной) стилистики» [8, с. 10]. Стиль самого В. В. Виноградова, столь способствовавший становлению речевого стиля нашей лингвистики, одновременно высветляет ха-

ракетные черты его личности. Даже в только что приведенных цитатах игра парой *объектный* — *объективный* указывает на внимание к вариативным колебаниям в способах языкового выражения.

«Таким образом,— обобщает В. В. Виноградов,— стилистика речи должна включать в себя не только учение о формах и типах речи, о социально-речевых стилях или о типических тенденциях индивидуального речетворчества, но и учение о композиционных системах основных жанров или конструктивных разновидностей общественной речи» [10, с. 33].

Подробно освещать взгляды В. В. Виноградова на предмет функциональной стилистики мы здесь не будем¹. Тема нашего разговора — индивидуальное, личностное и коллективное в его теории стиля. В этой связи обращает на себя внимание его глубоко диалектический подход к выделению языковых и речевых стилей, которые разграничиваются не механистически, не абсолютно, но имеют общие моменты в тех признаках, которые связаны с их композиционными особенностями. Ведь эти особенности могут носить как общезначимый, так и индивидуальный характер и потому отличать и стиль языка, и стиль речи. В. В. Виноградову было свойственно остро видеть все моменты взаимодействия, взаимопроникновения, диалектического смещения признаков и явлений. Он не устает подчеркивать смещения в языке в разные периоды его существования книжно-письменных и устно-разговорных явлений в той или иной его конкретике, смещения стилей. «Стилистика языка, или структурная стилистика,— пишет В. В. Виноградов,— описывает, квалифицирует и объясняет взаимоотношения, связи и взаимодействия разных соотносительных частных систем форм, слов, рядов слов и конструкций внутри единой структуры языка как „системы систем“. Она изучает исторически изменяющиеся тенденции или виды соотношений стилей языка, характеризующихся комплексом типичных признаков» [10, с. 5]. Далее называются конкретные стили и тут же подчеркивается их изолированный друг от друга характер: «Эти стили соотносительны. Они отчасти противопоставлены, но в значительно большей степени сопоставлены. Иногда они находятся в глубоком взаимодействии и даже смешении» [10, с. 6].

Даже давая наиболее полное, «классическое» определение стиля, В. В. Виноградов тут же подчеркивает условный характер этой категории, связанный с нечеткостью границ между отдельными стилями и их взаимопроникновением, а также их индивидуальным употреблением. Вот это наиболее известное определение: «Стиль — это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приёмов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа. Стили, находясь в тесном взаимодействии, могут частично смешиваться и проникать один в другой. В индивидуальном употреблении границы стилей могут еще более резко смещаться, и один стиль может для достижения той или иной цели употребляться в функции другого» [12].

В работах Виктора Владимировича нет жестко устоявшейся терминологии для обозначения явлений стилистики. Это затрудняет понимание его идей современными исследователями функциональных стилей, но это

¹ Это сделано Д. Н. Шмелевым в его книге [11].

не недостаток теории, а ее глубоко принципиальная особенность. В различных, порой не повторяющихся в разных работах прилагательных-определениях к слову «стиль» проявляется понимание текучей, изменчивой, диалектической природы явления. На первый план выступает признак композиции, т. е. целенаправленного отбора и организации языковых средств. Как уже замечено выше, этот признак роднит стиль языка и стиль речи. Сам он неразрывно связан с творческой природой языка. Иногда В. В. Виноградов связывает его с тем, что он называет «жанром» речи, который он понимает скорее как стиль языка. «...на первый план исследования выступают способы употребления языка и его стилей в разных видах монологической и диалогической речи и в разных композиционных системах, вызванных или кодифицированных общественной практикой — социально-групповой, производственно-профессиональной и т. д. Только такой подход и создает возможность построить стилистику речи на основе анализа форм общественной языковой практики. Именно в ней проявляется подлинная творческая природа языка, как ее определил Гумбольдт. При этом следует ориентироваться на две основных (по крайней мере в настоящее время) сферы общественной языковой практики — на сферу ограниченной коммуникации и сферу массовой коммуникации. ...Однако, перенося все эти проблемы в область стилистики, следует подчеркнуть, что стили речи — это прежде всего некие композиционные системы в кругу основных жанров или конструктивных разновидностей общественной речи.

На долю стилистики выпадает задача разобраться в тончайших различиях семантического и экспрессивно-стилистического характера между разными жанрами и общественно обусловленными видами устной и письменной речи. Ведь такие композиционные формы современной устной речи, как, например, выступление в дискуссии, лекция, консультация, пресс-конференция, доклад, беседа с той или иной аудиторией и т. п., обычно строятся на многообразном чередовании и смешении, взаимопроникновении элементов разговорного и книжного языка» [с. 10, с. 14—15].

Здесь Виктор Владимирович вплотную подошел к постулированию необходимости выявления и введения в научный оборот устно-разговорного, устно-литературного языкового материала. Но в полный рост эта задача встала лишь во второй половине 60-х годов. Чтобы понять такую логику развития науки о литературном языке, необходимо вспомнить некоторые факты истории русского языкознания.

В 30-е годы развитию теории литературного языка способствовала ситуация языкового строительства и разработки письменности для ранее бесписьменных языков. Поэтому в центре внимания оказывалась книжно-письменная речь. Бурный всплеск идей Пражского лингвистического кружка в конце 20-х — начале 30-х годов, многие из которых брали свое начало на русской почве, способствовал направлению исследовательского внимания на определение особенностей ее функционирования. Именно тогда были выявлены и охарактеризованы основные функции литературного языка.

В 50-е годы на фоне расцвета диалектологии акцент переместился на вопросы соотношения национального и литературного языка. Применительно к русскому литературному языку это означало еще и учет фактора его распространения, территориальной дифференциации. Возник вопрос о городском просторечии, о региональных вариантах литературного языка, который не решен до сих пор. Этот вопрос ставился, например, на заседании Комиссии по славянским литературным языкам (Братислава,

1971 г.) и на VIII Международном съезде славистов (Загреб — Любляна, сентябрь, 1978 г.). Было обращено внимание на наличие кодифицированных и некодифицированных региональных вариантов в связи с общей проблемой вариативности литературного языка. Применительно к русскому языку это означает прежде всего необходимость выявления и описания несомненных фонетических различий, обусловленных диалектным окружением, которые проникают в дикторскую речь местного телевидения и радиовещания. Эти различия типизируются, обобщаются и становятся приметой местного литературного произношения. В том, что это приметы именно литературного произношения, убеждает само функционирование регионального варианта: ведь он выполняет многие функции стандартного литературного языка, прежде всего культурную — это речь массовой коммуникации, официальная речь, театральная речь. Например, в Белоруссии в русской телевизионной речи последовательно звучат *ч* и *ш* твердые в соответствии с московским *ч'* и *ш'*. В Воронеже (южно-русский вариант) не оглушаются звонкие перед гласными и сонорными на стыке слов (*вряд ли, начав отступление*), в связи с чем и *й* не утрачивает своего верхнеязычного характера и звучит в заударной позиции как литературный *й* перед ударным гласным (*в нашей области, в самой экскурсии, конец нашей экскурсии, полной автоматизации, быстрее уходите, сороковой армии, нанесли большой урон, развитой электропромышленности, мощный электроламповый завод* и под. — в словосочетаниях не только общелитературного, но и книжно-письменного характера), иное по сравнению с литературным стандартом количественное соотношение гласных ударного и заударного слогов (*области, эта песня* соответственно московскому *облѣсти, этѣ песня* и под.).

В 50—60-х годах на повестку дня встало выявление самой структуры литературного языка, конкретных его составляющих. Стало ясно, что литературный язык, представленный текстами неодинакового функционального назначения, варьируется в их материальном составе. Был поставлен вопрос о том, насколько композиционно-языковая вариативность отдельных текстов способна повлиять на стабилизацию достаточно крупных и структурно четко организованных вариантов (разновидностей) литературного языка. Вместе с вниманием к собственно языковым характеристикам текстов той или иной функциональной направленности пришлось обследовать факторы, связанные с проявлением говорящего (пишущего) субъекта и коллектива в сообществе носителей языка, особенности адресата и адресата речи, т. е. личные и социальные факторы. Вся теория функциональных стилей, все — может быть, и гипертрофированное — ее внимание к экстралингвистике основаны на выявлении взаимодействия системы языка и социальных и личностных факторов порождения и восприятия речи. В работах В. В. Виноградова этого периода постоянно подчеркивается необходимость изучения индивидуальных стилей в системе русской художественной литературы в связи с развитием литературного языка. Он даже говорил о роли личности в формировании национально-литературных языков [13, 83].

В эту же орбиту вовлекаются понятия нормы и узуса. «Основными признаками национального литературного языка, — писал В. В. Виноградов, — являются его тенденция к всенародности или общенародности (опять использование в формулировках синонимов-вариантов! — Л. О.) и нормативность. Понятие нормы — центральное в определении национального литературного языка (как в его письменной, так и в разговор-

ной форме)» [6, с. 295]; ср. также [14]. Последняя оговорка особенно важна, так как она ставит вопрос о существовании особых норм в устно-литературной и обиходно-разговорной речи, что до сих пор не исследовано окончательно и не вводится не только в лингвистическую теорию, но и в практику — например, в преподавание русского языка как неродного (против обучения иностранцев разговорной речи, несмотря на все более усиливающийся интерес к ней во всех регионах мира, выдвигается в качестве аргумента ненормативный характер разговорных явлений). В это время ставятся вопросы о соотношении общелитературных и внутрителивых норм, о разном характере вариативности тех и других. Выявляются, хотя и эпизодически, факты влияния функционального расслоения литературного языка на его грамматику в области как книжно-письменной, так и устно-разговорной речи. При всем многообразии расслоения литературного языка на стилевые и жанровые образования именно эти области благодаря идеям В. В. Виноградова начинают осознаваться как ведущие для общего расчленения литературного языка, которое, таким образом, вновь понимается как бинарное. «Литературный язык, — пишет В. В. Виноградов, — общий язык письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов — язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и устной. Вот почему различаются книжно-письменная и устно-разговорная формы литературного языка, возникновение, соотношение и взаимодействие которых подчинены определенным закономерностям» [6, с. 288]. В связи с этой идеей отношение исследователей к более мелким образованиям в пределах литературного языка вылилось в выявление их специфических характеристик при осознании их недискретного характера. Ю. М. Скребнев прямо говорит о принципиально неконечном числе стилей из-за конвенционального, а не реального характера этого понятия [15].

Теперь ясно, почему осознание научной общественностью необходимости выявления, актуализации, описания, осмысления и введения в научный оборот принципиально нового для русистики языкового материала — живого разговорного — приходится именно на вторую половину 60-х годов. Вспоминается поставленная еще в 20-х годах Б. А. Лариним задача исследования современной устной речи городского населения, варьирующейся по областям и культурным слоям [16]. Но только в 60-х годах накапливается материал, ранее не входивший в исследовательский фундамент науки о русском языке. Первоначально внимание исследователей было обращено на разговорную речь как наиболее специфическое воплощение устной литературной речи. Еще позже, лишь в 70-х годах, этот материал стал расширяться в сторону других образований в пределах устной литературной речи (например, радио- и телеречи, речи публичных выступлений), хотя в трудах В. В. Виноградова уже в 60-х годах постулировано полное и недвусмысленное понимание этой задачи и самого предмета.

В работах В. В. Виноградова последнего периода его деятельности привлекают внимание следующие моменты. Во-первых, соотношение книжно-письменной и устно-разговорной стихий он считал определяющим фактором развития русского литературного языка во все эпохи его существования, в том числе и в нашей современности. Он отчетливо видел, что разговорная речь — кузница языковых изменений, т. е. арена действия

человеческого фактора в языке. Поэтому идея историзма пронизывала не только собственно исторические его работы, но и труды по современному русскому литературному языку. Это позволяло ему всегда увязывать изучение разговорной речи с изучением структуры литературного языка в целом. «Изучение литературного языка, как бы его ни понимать, влечет за собой изучение таких явлений, как „диалекты“, „жаргоны“, с одной стороны, „разговорный язык“, „письменный язык“, — с другой, языковой, речевой и литературный стиль — с третьей» [6, с. 288]. При этом как особая и насущная задача выделяется «...задача, которая относится вообще к практическим вопросам культуры русского языка, — это изучение аномалий и неправомерностей бытовой речи» [17]. Как их изучать? В. В. Виноградов наметил целую программу и разработал ее организационно. «Картотека живой разговорной речи, — писал он, — накопленная Сектором современного русского языка и культуры речи в Институте русского языка АН СССР, должна непрестанно пополняться и систематически обрабатываться...

Кроме того, организация и оборудование экспериментально-фонетической лаборатории при Институте русского языка будут способствовать расширению исследований звучащей речи. Экспериментально-фонетические исследования в области изучения русского и других языков с их диалектами ...должны развертываться по трем направлениям: ...3) составление фонотеки, т. е. систематизированного собрания образцов языка в инструментальной записи, воспроизводящей звучание речи. ...изучение „говорения“, стихии живой речи со всеми ее „случайностями“, в ее стилистическом и пр. разнообразии, где типичное „системное“, нередко смешано с элементами других „систем“, а „языковое“, кроме того, с „неязыковым“, если иметь в виду физиологические и другие явления — „спутники“ речи, дает новый свежий материал для более точного и глубокого понимания отношений между фонетикой и фонологией.

Длительность периода, в течение которого разрабатывались преимущественно „системные“ фонологические проблемы — без обращения к натурально наблюдаемой форме существования языка — к „говорению“, а также значительное влияние концепций, стремящихся к рассмотрению сущности „знака“ независимо от его значения, в свое время привели к тому, что для многих кругов языковедов фонетика живой речи как „говорения“ оказалась чуть ли не за пределами объекта изучения языкознания, основным предметом которого должна быть якобы только „система“ языка, понимаемая при этом не вполне конкретно» [18].

Здесь же называется новая исследовательская проблема — «Русский язык и советское общество». Эта развернутая программа, в которой сейчас особенно важно подчеркнуть разграничение системного, типического и окказионального в разговорных фонетических явлениях, несомненно, с легкостью экстраполируется на другие уровни живой речи. Выполнена эта задача, несмотря на бурное развитие «коллоквиалистики» в 60—70-х годах, лишь частично. Еще не вышел в свет частотный словарь разговорной речи, картотека ИРЯ не стала исследовательским центром для широкого, массивного изучения разговорной речи и целенаправленной работы аспирантов и научных стажеров; картотеки и фонотеки, собранные вне ИРЯ (Г. Г. Инфантовой, О. Б. Сиротининой и ее коллегами, Ю. Г. Овсиенко, а за рубежом — кафедрой русского языка Карлова университета и др.), не централизованы и практически недоступны; в Институте русского языка им. А. С. Пушкина такие коллекции не собираются.

Во-вторых, В. В. Виноградов впервые поставил задачу тщательного

изучения «олитературенной» разговорной речи в художественном тексте. До его работ (особенно [10]) этот момент не принимался во внимание, и разговорные элементы в языке писателя отождествлялись с живым явлением.

В-третьих, он первым обратился к необходимости столь же скрупулезного, как и разговорной речи, изучения (а прежде — накопления материалов) речи устного публичного общения. Еще в 1963 г. в передовой статье писалось: «Недостатком в деятельности Института русского языка является то, что он не оказывает должного воздействия на общественную языковую практику. В институте не поставлено широко изучение языка массовой коммуникации» [19]. В свете понимания структуры современного русского литературного языка как целого вычленяется, таким образом, устная литературная речь как особое образование, на арене которого происходит многообразное чередование или смешение, взаимопроникновение элементов разговорного и книжного языка [10, с. 15].

Уже в статье 1961 г. можно прочесть, что языковеды оказались «...перед новой проблемой: перед проблемой речи. Дело идет не о „речи“ в сословном понимании этой категории, а о речи как особой форме языкового выражения. Массовая коммуникация заставила видеть речь устную и письменную в плане, отнюдь не совпадающем с категориями языка разговорного“ и „литературного“ или „письменного“. Наряду с общей проблемой „речи“ встала проблема языкового стиля как системы различных норм языкового выражения, специфических для тех или иных целей: познавательных, коммуникативных, художественно-творческих, агитационно-пропагандистских и всяких прочих — во всей собственной сложности каждой из них и в их самом прихотливом переплетении и вхождении друг в друга. Очень большие шаги в изучении существа этой второй проблемы у нас сделаны. Сделан серьезный шаг и по пути решения первой» [20]. Здесь четко выражена мысль о решающем значении разграничения устной и письменной форм воплощения речи для дифференциации средств языкового выражения. Эта мысль получила дальнейшее развитие лишь у немногих теоретиков литературного языка (назову К. А. Долинина и Б. М. Гаспарова). Приходится с сожалением констатировать, что прозорливое видение В. В. Виноградовым перспективной и насыщенной научной проблематики по отношению к устной литературной речи в целом и ее публичным разновидностям в частности не было оценено и подхвачено русистами в последующие 25 лет. Этот тип литературной речи так и остается неизученным (один из немногих опытов — коллективная монография [21]). А ведь Виктор Владимирович прямо говорил, что следует ориентироваться «на две основных (по крайней мере в настоящее время) сферы общественной языковой практики — на сферу ограниченной коммуникации и сферу массовой коммуникации» [10, с. 14].

В 1962 г. развертывается еще одна подробная программа изучения речевого многообразия: «...чрезвычайно существенным является изучение развития современного русского национального языка во всем его речевом многообразии: 1) развитие современного русского литературного языка после Великой Октябрьской социалистической революции (изменения в лексике, фразеологии, морфологии, синтаксисе и стилистике в условиях развития советского общества) (эта задача в известной мере выполнена монографией „Русский язык и советское общество“. — Л. О.); 2) развитие живой русской речи в разных сферах общения (коммуникации): бытовой, общественной (эта задача частично выполнена в первой части и не выпол-

нена во второй.— *Л. О.*); 3) процессы развития живого разговорного языка: а) в старых русских городских центрах в условиях компактного однородного диалектного окружения; б) в старых городских центрах в условиях родственно-языкового окружения (например, в городах Украины и Белоруссии); в) в старых городских центрах в условиях иноязычного окружения (например, в городах Грузии, Азербайджана, Средней Азии); г) в новых городах со сложившейся традицией двух-трех поколений (например, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск) и во вновь созданных (например, Братск); д) в новых массовых поселениях совхозных хозяйств (например, в Целиноградском крае) (эта задача — изучение региональных вариантов — не выполнена.— *Л. О.*); 4) современная реалистическая художественная литература как материал и источник для изучения процессов развития живой разговорной речи (эта задача выполнена лишь в малой части.— *Л. О.*); 5) процессы развития русского национального языка и его стилистики, отраженные в „деловой“ письменной и устной речи (газетной, публицистической, ораторской, судебной и т. п.); 6) стилистические разновидности и стилистические средства современного русского национально-литературного языка; 7) проблемы нормализации современного русского литературного языка; 8) вопросы повышения культуры речи на основе изучения закономерностей развития национального русского языка» [22].

Думается, что исследовательским невниманием к первым четырем пунктам этой программы, их преимущественной невыполненностью можно объяснить нынешний кризис понятия функционального стиля. Если снова вернуться к пониманию стиля в трудах В. В. Виноградова, то обращает на себя внимание уже отмеченное выше отнюдь не случайное обстоятельство, что он получает здесь весьма неоднозначное определение. Виктор Владимирович называет стили композиционными системами, конструктивными разновидностями, говорит о поливалентности национального литературного языка, т. е. об охвате им разных областей общественно-речевой практики, которая во многом зависит от специфики социально-исторических условий его развития, о том, что языковой стиль — это система различных форм языкового выражения, специфических для тех или иных целей. Создается впечатление, что уже здесь заложено предчувствие будущего кризиса, понимание того обстоятельства, что одномерной противопоставленности в стилях нет ни в собственно структурно-языковом, ни в экстралингвистическом отношении. Единственная реальность — различные соотношения языковых элементов в «стилях», полное выявление которой и требует осуществления поставленных в программе задач. Идея возникающих в литературном языке синонимических рядов как линии функциональной дифференциации литературного языка заложена в работе [10,] где В. В. Виноградов говорит о том, что внутренняя дифференциация языковых стилей может осуществляться на основе структурных или конструктивных противопоставлений и соотношений между частными системами выражения внутри единой структуры языка (такова, например, синонимия парадигматических форм, синонимия в кругу форм словосочетаний и предложений, синонимия слов и фраз и т. п.) [10, с. 71]. (Далее следует отсылка к идее Л. В. Щербы о возможности моделирования литературного языка в виде концентрических кругов.)

Представляется перспективным поиск путей вхождения разных групп средств — книжно-письменных, устно-разговорных и общелитературных — в такие синонимические ряды, установление самих рядов, ограничений, которые накладывают структурные и экстралингвистические об-

стоятельства на возможность вхождения в ряды различных разрядов языковых средств. Особая роль здесь принадлежит синтаксису. Предстоит выявить ряды и квалифицировать их члены со стороны семантики и функциональной принадлежности. Результатом может явиться построение реально функционирующей грамматики литературного языка с учетом всех выявленных соотношений в письменной и устной формах его существования, которая сможет моделировать литературный язык в его динамике (в дополнение к существующим статическим описаниям).

Конечно, стили выделяются и по выполняемым функциям. Предлагаемый подход не отрицает, а дополняет в другом аспекте выявление функциональной дифференциации литературного языка. В. В. Виноградов писал: «Эти стили обычно называются функциональными, например, разговорный, противопоставленный книжному вообще и отграниченный от других стилей языка коммуникативно-бытовой функцией, поэтому в этой сфере иногда выделяются обиходно-бытовой и обиходно-деловой стили; научно-деловой, специальный, определяющийся своеобразными свойствами и принадлежностями научно-коммуникативной функции; газетно-или журнально-публицистический, выделяющийся по характерным качествам и приметам агитационно-коммуникативной функции; официально-канцелярский или официально-документальный и некоторые другие (например, парадно-риторический, художественно-образовательный). Можно — в связи с различиями понимания основных функций языка — представить и иное соотношение стилей. При выделении таких важнейших общественных функций языка, как *общение, сообщение и воздействие*, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: обиходно-бытовой стиль (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия)» [10, с. 6]. Задача заключается в том, чтобы для этих и других возможных образований выявить реальные способы соотношения книжно-письменных, устно-разговорных и общелитературных средств в их составе и на этой основе выстроить ряды.

Так понимаемое действие различных факторов дифференциации литературного языка, принципов градуирования его разновидностей дало возможность воссоздать целостную систему литературного языка с учетом индивидуально-творческих и субъективных моментов, которые позволяют этой системе быть динамической, исторически изменчивой. В 70-е годы мысли В. В. Виноградова получили плодотворное развитие в деятельности Международной комиссии по славянским литературным языкам. Труды ее участников много способствовали разработке теории литературного языка и выявили линии сопоставительных и типологических исследований в этой области. Ставились вопросы границ литературного языка, особенно в его устной форме, нормы и ее вариантов, систематики и классификации функциональных стилей, соотношения стандартного языка и региональных вариантов, соотношения статуса устно-повседневной речи с социальной, массовой и групповой коммуникациями, отграничения явлений системных от речевых, аспектов структурных от функциональных. Особенно большой вклад в работу Комиссии внесли А. Едличка и ныне покойный Вл. Барнет.

Противопоставляя и сопоставляя объективные и субъективные стили, В. В. Виноградов не устал подчеркивать все значение действия индивидуально-речевого фактора в формировании стиля, где субъективно-речевые моменты преобразуются в объективно-языковые. Это касается и

языка художественной литературы (ср.: «...каждое из созданий поэта должно предстать с стилистической точки зрения, как „выразительный организм законченного смысла“ (Б. Кроче), как индивидуальная неповторимая система стилистических соотношений» [4, с. 287]); «Только по отношению к национальному литературному языку может быть выдвинут тезис об организующей и формирующей роли отдельных индивидуальностей» [6, с. 296]; ср. также [5, с. 7—8] и другие уже цитировавшиеся места из работ [8, с. 7—8; 10, с. 33; 13, с. 83]), и определения самого предмета стилистики как выявления взаимодействия соотносительных частных систем форм, слов, рядов слов и конструкций внутри единой структуры языка [10, с. 5]. В последнем определении особенно важна совсем еще исследовательски не воплощенная мысль о соотносительных рядах.

Таким образом, труды В. В. Виноградова создали прочную базу для выявления характера воздействия социальных и личностных факторов речи на функциональную дифференциацию литературного языка. Следует заметить, что в современной функциональной стилистике первоочередное внимание при выделении функциональных стилей уделяется экстралингвистическим факторам, носящим и личностный, и внеличностный характер. Эти факторы далеко не всегда согласуются и непосредственно соотносятся с собственно языковыми особенностями функциональных разновидностей. Они не находятся с ними в одно-однозначных соответствиях. Одни и те же экстралингвистические факторы могут быть с равным успехом отнесены к разным функциональным разновидностям (например, такие всем привычные качества научной речи, как точность, последовательность, логичность, краткость, насыщенность информацией, в равной степени свойственны и деловой речи). И наоборот — изменение такого фактора может и не повести к изменению функциональной разновидности (например, в устно-разговорной речи фактор темы может варьироваться практически без ограничений). Поэтому первоочередной задачей является установление соотносительности языковых средств книжно-письменного, общелитературного и устно-разговорного характера (а также некоторого ряда специфических для каждой разновидности средств) в функциональных разновидностях литературного языка и разработка их типологии.

Не менее важно разработать и типологию языковых функций и экстралингвистических факторов, на которые отзываются языковые средства в своих функционально-композиционных группировках. Отзываются они также и на форму осуществления речи (устную или письменную), и на вид речи (диалогический или монологический). Функциональная разновидность возникает как результат взаимодействия той или иной комбинации функций и факторов, которые могут быть постоянно действующими или варьирующимися.

Группы факторов, влияющих на отбор и организацию языковых средств, могут быть трех видов: функциональные (выполняемая функция, первичный для нее вид речевой деятельности — говорение, письмо и соответственно преимущественная форма осуществления текста как речевого произведения — устная или письменная, преимущественный вид речи — диалогический или монологический); экстралингвистические (тема сообщения, ситуация общения, а также социальная дифференциация коллектива говорящих); индивидуально- и социально-личностные (пары: говорящий — слушающий, пишущий — читающий, адресант — адресат — ср. идею грамматики говорящего и слушающего). Соотношение «носитель языка — язык», понимаемое в плане воздействия речи на языковую систе-

му, особенно остро реагирует на третью группу факторов. Адресат речи важен для осуществления функции воздействия, ситуативный фактор — для устно-разговорной разновидности, тематический — для книжно-письменной.

Если попытаться соотнести названные факторы дифференциации литературного языка (и соответственно — выбираемых языковых средств) с его разновидностями, то получится такая схема:

От разновидности:

Книжно-письменная сфера: художественная речь — множественность тематических циклов, но преимущественно эстетически значимые темы, релевантность письменной формы речи, нерелевантность ситуации протекания речи, представленность и диалогического, и монологического видов речи, функция эстетическая. Деловая речь — однородность тематического фактора (юридически важные темы), релевантность преимущественно письменной формы речи, нерелевантность ситуативного фактора, представленность монологического вида речи, функция информативная. Научная речь — однородность тематического фактора (познавательные важные темы), остальное как у деловой речи. Общественно-политическая и публицистическая речь — множественность тематических циклов (общественно значимые темы), релевантность письменной формы, нерелевантность ситуативного фактора, представленность обоих видов речи и сразу трех функций — информативной, воздействия и эстетической.

Устно-разговорная сфера: обиходно-разговорная речь — практически любой тематический цикл, т. е. нерелевантность фактора темы, естественно, релевантность устной формы речи, релевантность ситуативных условий протекания речи, представленность обоих видов речи и всех четырех функций, т. е. нерелевантность фактора функции (но все же с преобладанием функции общения). Устная публичная речь — интеллектуализированные и общественно значимые темы, релевантность устной формы и ситуативного фактора (при коллективной коммуникации), преимущественная представленность монологического вида, представленность всех четырех функций при преобладании функции сообщения.

От фактора:

Фактор темы важен для всех разновидностей, за исключением разговорной речи (хотя для нее можно отметить преобладание бытовых тем). В то же время наблюдается неодинаковая степень однородности тематических циклов по разновидностям.

Ситуативный фактор важен для устных разновидностей и нерелевантен для письменных.

Фактор формы речи важен для всех разновидностей.

Фактор вида речи нерелевантен для двух письменных разновидностей (публицистическая и художественная речь) и обеих устных (т. е. там, где представлена функция воздействия) и релевантен для двух письменных (научная и деловая речь).

Фактор адресанта — адресата речи релевантен там, где представлена функция воздействия.

Функции по разновидностям представлены так: информативная — речь научная, деловая, публицистическая, обиходно-разговорная, устная публичная; коммуникативная — речь обиходно-бытовая, устная публичная; воздействия и эстетическая — речь художественная, публицистическая, обиходно-разговорная, устная публичная, т. е. практически одни и те же разновидности.

Все факторы — функциональные, экстралингвистические, индивиду-

альные, а также социальные и личностные — взаимосвязаны, т. к. служат коммуникации.

Системная организация средств литературного языка реагирует на действие этих факторов, объединяемых в группы. Названные разряды языковых средств в зависимости от совокупного проявления факторов выстраиваются в различные соотношения и комбинации. При этом следует иметь в виду, что если книжно-письменные, устно-литературные и специфические для каждой разновидности средства распределяются в разновидности по-разному, то общелитературные, которые должны были бы присутствовать в каждой разновидности, практически входят в них тоже с теми или иными ограничениями, складывающимися в узусе.

Узуальная организация языковых средств реагирует на действие факторов посредством реальной частотности употребляемых элементов. Именно по пути выявления наиболее распространенных средств пошло у нас, например, изучение научной и разговорной речи.

Нормативная организация откликается на них складыванием иерархии норм, которые реагируют на принцип «коммуникативной целесообразности». Общелитературные нормы кодифицированы, нормы отдельных функциональных разновидностей — зачастую нет. Тем не менее при организации каждого конкретного текста взаимодействуют обе системы норм.

Слишком огубленное понятие функционального стиля не вмещает в себя сложную организацию и взаимодействие названных факторов и групп языковых средств. Предложенную схему можно было бы разработать и более подробно, указывая, например, на различия в характере того или иного фактора (скажем, адресанта и адресата) в разговорной и устной публичной речи и т. п. Понятие функционального стиля не имеет единых оснований для применения в каждом отдельном случае и не реагирует на совпадение функций. Оно нацелено на установление границ и постулирование дискретного характера объекта, в то время как он непрерывен и диффузен, что очень отчетливо видел В. В. Виноградов. Недаром Вл. Барнет говорил не о функциональных стилях, но о цельнооформленных жанровых реализациях, проявляющихся в текстах речевых произведений и способных адекватно отражать динамику языковой жизни общества [23]. При этом русский литературный язык рассматривается в качестве языкового континуума, в котором наряду со структурированными образованиями представлены и образования лишь коммуникативно-функционального характера [23].

В. В. Виноградов четверть века тому назад наметил четкую перспективу развития теории литературного языка. Она очень созвучна нашему времени своим демократизмом и гуманистическим звучанием. На повестке дня — исследовательское воплощение основных ее идей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстой Н. И. Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских литературных языках // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981.
2. Рождественский Ю. О работах академика В. В. Виноградова по истории русского языкознания // Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. М., 1978. С. 19.
3. Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). М., 1958.
4. Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдение над стилем Жития протопопа Аввакума // Русская речь. I. Пг., 1923. С. 16.

5. *Виноградов В. В.* Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. М., 1963.
6. *Виноградов В. В.* Литературный язык // Виноградов В. В. Избр. тр. История русского литературного языка М., 1978.
7. *Толстой Н. И.* Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературных языков // Исследования по славянской филологии. М., 1974. С. 9.
8. *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
9. *Гагранек Б.* Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
10. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
11. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях (К постановке проблемы). М., 1977.
12. *Виноградов В. В.* Итоги обсуждения вопросов стилистики // ВЯ. 1955. № 1. С. 73.
13. *Виноградов В. В.* Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967.
14. *Виноградов В. В.* Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 26.
15. *Скрёбнев Ю. М.* Введение в коллоквиалистику. Саратов, 1985. С. 28—31.
16. *Ларин Б. А.* О лингвистическом изучении города // Русская речь. Нов. сер. III. Л., 1928.
17. *Виноградов В. В.* XXII съезд КПСС и задачи филологической науки. ИАН ОЛЯ. 1962. Вып. 1. С. 8.
18. XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза и некоторые задачи русского языковедения // ВЯ. 1959. № 3. С. 5—6.
19. ВЯ. 1963. № 2. С. 6 (Передовая).
20. Языковедение и советское общество // ВЯ. 1961. № 5. С. 5.
21. Современная русская устная научная речь. I: Общие свойства и фонетические особенности / Под. ред. Лаптевой О. А. Красноярск, 1985.
22. XXII съезд КПСС и задачи изучения закономерностей развития современных национальных языков Советского Союза // ВЯ. 1962. № 1. С. 8.
23. *Барнетт Вл.* Проблемы изучения жанров устной научной речи // Современная устная научная речь. Т. I. С. 80—84, 87, 93.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

ДЕМЬЯНКОВ В. З.

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА И ДИНАМИКА АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «LANGUAGE» (К 65-летию основания журнала)

В последние годы мы все чаще говорим о «человеческом факторе» в языке. Но всегда ли мы руководствуемся этим принципом при оценке различных лингвистических теорий наших коллег по науке, как соотечественников, так и зарубежных ученых? Критически оценивая их исследования, не слишком ли часто мы забываем, что критика — не только и не столько повод найти просчеты в чужой теории, но еще и способ выявить все позитивное в ней на общее благо? Не следует забывать, что само занятие наукой, особенно гуманитарной, — эксперимент исследователя над самим собой, а следовательно, предполагает значительную долю самоотверженности. Постараемся поэтому по возможности более глубоко понять теоретиков прошлого и настоящего, не навешивая обидных ярлыков. Не будем забывать, что непонятое нами раньше мы нередко впоследствии принимаем, — но только в лучшем случае с запоздалой благодарностью и с раскаянием в своей непонятливости. В худшем случае и чаще — без благодарности и слишком поздно.

Предметом настоящего обзора является история одного из наиболее авторитетных журналов — «Language» — органа «Лингвистического общества Америки». Мы постараемся проследить смену тенденций в развитии лингвистической науки, отраженную на страницах «Language».

С момента выхода первого номера журнала можно наметить три этапа.

1) 1925 — середина 1940-х годов — подготовительный период. Наиболее представительными публикациями были тогда статьи по частным вопросам индоевропейского, семито-хамитского и финно-угорского языкознания. Так, практически каждый год на страницах журнала можно было встретить несколько крупных публикаций по исторической грамматике хеттского, древнегреческого, романских и германских языков. Эти статьи, как правило, не претендовали на решение общетеоретических проблем, а были нацелены на устранение «белых пятен» с карты знаний о конкретных языках мира. По нашим подсчетам, среднегодовое количество публикаций, затрагивающих проблемы общей теории, методики и методологии языкознания, равняется в этот период трем.

2) С середины 1940-х до середины 1960-х годов — «методический» или даже «методологический период». Индекс теоретических исследований,

в которых решается, как правило, та или иная задача методики лингвистического анализа, удваивается, равняясь теперь примерно шести статьям в год. Резко сократилось число публикаций по древним языкам, преобладающим материалом стали новые языки.

3) С середины 1960-х годов по настоящее время — «теоретизирующий период». Индекс теоретических работ (одновременно с увеличением объема журнала) увеличивается и равняется примерно двадцати статьям в год¹. Пик теоретичности приходится на середину семидесятых годов.

Прежде чем перейти к конкретным проблемам, связанным с нашей темой, сделаем еще несколько предварительных замечаний, с тем чтобы устранить возможные недоразумения.

«Language» — журнал-долгожитель, обладающий давним авторитетом и популярностью в лингвистических кругах. При всех перипетиях своего развития он очень хорошо отражает уровень науки в каждый из названных периодов². Не будем лукавить: уровень теоретической лингвистики в США очень высок, и это — не результат какого-то рывка последних лет, а следствие очень большой, продолжительной и ничем не прерывавшейся научной и организационной работы. Наблюдая за результатами этой работы из года в год, мы констатируем смелость научного интеллекта, а не просто большие достижения американских лингвистов. Лингвистическая теория принадлежит всем лингвистам мира, и большая заслуга журнала «Language» состоит в ее постоянном углублении.

История журнала как жанр, естественно, не самоцель и не исчерпывает всей проблематики в рассмотрении форм науки³. В данном обзоре мы выбрали комплексный ракурс: нас интересовала содержательная сторона в смене тенденций, гипотез, теорий, взглядов на язык⁴. Основным материалом были все номера журнала с 1925 по 1988 годы за исключением нескольких номеров, отсутствующих в библиотеках СССР. Из всего проработанного материала были выделены около 590 публикаций (как правило, оригинальные статьи), затрагивающих общезначимые проблемы лингвистической теории. При этом мы ограничились только наиболее общими направлениями теоретического языкознания, не затрагивая проблем истории и изменения языка, конкретных методов синтаксического, фонологического, семантического и морфологического анализа, теории лексикона, модели языкового варьирования, анализа речевого взаимодействия и мн. др. Проблемы типологии языков и универсалий в данной работе были прослежены только пунктирно: стремясь к выявлению теоретической канвы журнала «Language», мы были вынуждены пожертвовать обзором конкретных достижений в типологизировании и в описании синтаксических, фонологических, морфологических и лексических общностей, обильно представленных на страницах журнала. Сосредоточившись на технике теоретизирования, прекрасные образцы которой мы находим на протяжении всей истории журнала, мы оставляем на будущее

¹ Среди этих статей — и критический анализ той или иной концепции. Очень редко критика была «разгромной». Это отражало (в течение 22 лет) как общую установку журнала, так и личную позицию главного редактора — У. Брайта, только в 1987 г. ушедшего в отставку.

² В последнее время журнал «Language» демонстрирует и высокий уровень технологической оснащенности науки — в частности, использование компьютерной техники при исследовании материала и при подготовке его к печати.

³ Об источниках историографии лингвистики см. в [1].

⁴ Иначе говоря, речь идет о тех моментах, которые в своей совокупности могут характеризовать ту или иную «парадигму», или «философию языка», в смысле, очерченном в работе [2].

описание и результаты техники типологизирования, богатой, разнообразной и очень характерной особенно для последних лет.

Естественно, что рассматривать эти проблемы «в вакууме», вне контекста публикаций соответствующего времени или вне рамок сегодняшнего языкознания не только бессмысленно, но и нереально: ретроспектива всегда — осознанно или неосознанно для историка — опирается на интересы сегодняшнего дня, как в выборе актуального, так и в расстановке акцентов. Поэтому мы обычно отмечаем и «фоновые» мнения конкретного времени, и сегодняшние представления. Ввиду ограниченности объема журнальной статьи, ниже будут отражены только некоторые из общелингвистических тем.

1. «Лингвистическое общество Америки»

В своей знаменитой статье, открывающей первый номер журнала, Л. Блумфилд писал: «Исследователям языка нет нужды спрашивать: „Для чего нужно Лингвистическое общество?“ Этот вопрос задают многие нелингвисты. ... Непосредственно ответить на этот вопрос можно так: естественно, мы стремимся получить возможность встретаться и общаться друг с другом. В нашей стране есть целое поколение ученых, так и не познакомившихся друг с другом лично; впервые они смогли увидеть друг друга только на нашей первой встрече 28 декабря» [3, с. 1]. Но главной причиной создания Лингвистического общества, по мнению Л. Блумфилда, был определенный уровень науки о языке; именно для поддержания этого уровня и необходимо сотрудничество лингвистов: тем самым можно надеяться на создание «профессионального сознания» [3, с. 5] — коллективного мнения американских исследователей языка.

Через 26 лет после этого Э. Хауген писал: «Даже если согласиться с тем, что американская лингвистика сегодня находится в наиболее процветающем положении за всю историю нашей страны, следует отметить следующее. Рост числа наших лингвистов способствовал какой-то научной обособленности их, с налетом высокомерия, от остального мира, и это вызывает только сожаление у тех, кто, подобно мне, полагает, что наша наука должна оставаться интернациональной. Американским лингвистам становится все труднее читать европейские работы в своей области; лингвисты нового поколения не знают о прежних исследователях, так что мы в некоторой степени утрачиваем связь не только с традициями лингвистической науки, но и с современными учеными за пределами нашей страны. В американских работах по лингвистической теории редко найдешь упоминание трудов Соссюра, Трубецкого или других европейских авторов, — а ведь именно они изобрели инструменты исследования, которыми мы ныне пользуемся. Я не меньше других восхищаюсь Блумфилдом и Сэпиром, однако мне кажется провинциализмом мнение, будто все здоровое в языкознании восходит только к ним» [4]. А еще через 23 года Хауген по случаю пятидесятилетия Общества писал с еще большим сарказмом: «...многие из нас по-прежнему год за годом приходят на собрания, чтобы выслушать малоинтересные сообщения, которые удобнее было бы прочитать дома. Сейчас, когда собрания стали многолюдными и неуправляемыми, — отчего их пришлось разбить на несколько подсекций, — утратились некоторые прежние качества нашего объединения. Лингвистическое общество... стало все больше напоминать биржу труда, а не научный форум. Но, как и прежде, молодые ученые, непосредственно наблюдая выступления старших, могут объединяться против их господства, совершенно не догадываясь,

что повторяют то, что делали эти старшие в своей молодости» [5, с. 619]. Достоинства Общества, тем не менее, несомненны: «оно стимулировало академический рост лингвистической науки в... университетах» [5, с. 620], о чем свидетельствует работа Летних лингвистических институтов, где тысячи лингвистов проходят подготовку к профессиональной деятельности и где перепроверяются все новые идеи. Вот почему, считал Хауген, перейдя пятидесятилетний рубеж, Общество должно способствовать углублению знаний о текущем состоянии науки и развитию старых знаний на основе новых идей [5, с. 621].

Поводом для такой критической оценки, видимо, послужило ощущение, преследовавшее американских лингвистов начиная с 1950-х годов и отмеченное Ф. Ньюмайером [6, с. 1]: иллюзией следует признать, будто фундаментальные проблемы лингвистического анализа уже решены и осталось только договориться о деталях. В те годы бывало представляется, что языковые данные, получаемые лингвистом, можно заложить в компьютер и автоматически получить готовую грамматику [6, с. 2]. Заметим, что в пятидесятые годы основной акцент делался на методическую сторону анализа, а сам анализ — по общему мнению — представлялся только как классификация и упорядочение материала речи. Увы, когда потребовалось осуществить компьютеризацию на деле, практика устроила «холодный душ» для сторонников такого взгляда. И от этого шока лингвисты не оправались по сей день.

Зато в третий из названных выше периодов, в частности, в 1970-е годы, по свидетельству П. Коула [7, с. 563], произошла переоценка ценностей, логически продолжившая интерес к методической стороне. Теперь теоретические проблемы стали расцениваться как более важные, чем проблемы описания конкретного языка, а описание как таковое занимает второстепенное место. Для нового, «теоретизирующего» этапа имелись объективные предпосылки: необходимость достичь лингвистически значимых обобщений, приложимых ко всем языкам, к языку вообще.

2. История языкознания

Позволим себе сначала несколько «фоновых» замечаний. Некоторые исследователи [8] полагают, что каждое поколение лингвистов создает свою, каждый раз новую, «историю языкознания», пересматривая взгляды на прошлое, сложившиеся у предшествующего поколения; однако при этом допускается, что имеются такие «инварианты», неизменные части истории языкознания, которые не подвергаются переоценке. Именно они и определяют «физиономию» данной дисциплины. Л. Ельмслев [9] более осторожно предполагал, что лингвистика, как и любая другая наука, периодически переживает классические и критические эпохи. Во время первых отношение к предшественникам более терпимое, имеется линейная передача мер ценностей от одного поколения к другому: не происходит разрушения уже построенного фундамента, а просто одни детали дополняются или безболезненно заменяются другими. В критические, или кризисные, эпохи возможна полная перестройка оснований науки и коренная ломка сложившихся представлений о языке. Однако для такой ломки должны быть определенные предпосылки. Скажем, был такой критический период, когда язык стали рассматривать «как таковой», а не в целях изучения логики, психики человека или памятников истории. В этот период попытались отказаться и от багажа предвзятых мнений, доставшегося в наследство от прежних поколений лингвистов. Однако в любом случае история

языкознания всегда актуальна: «... разрабатываемые ею в разные периоды идеи обновляются и обогащаются вместе с прогрессом совокупного человеческого знания. Источник такой особенности кроется в том, что результаты и выводы наших изысканий прилагаются в конечном счете к человеку, к языковой личности, и это определяет жизненность научных идей всех предшествующих эпох развития лингвистики» [10].

Рассмотрим теперь, как авторы журнала «Language» оценивают чужие достижения в историческом ракурсе. Тем самым мы можем выявить меры ценностей, господствовавшие в тот или иной период, и даже диагностировать (если опереться на гипотезу Ельмслева) критические ситуации в науке о языке.

Так, Р. Холл в статье 1936 г., оценивая лингвистические теории, развивавшиеся в эпоху Ренессанса в Италии, находил следующие «инварианты», созвучные лингвистике нашего столетия: 1) рассмотрение языка как социального явления, 2) признание изменения как существенного момента истории языка, 3) естественнонаучный подход, особенно в отношении фонетических законов [11]. Эти «инварианты», как легко заметить, вполне укладываются в стереотипы американской лингвистики первого из названных выше периодов. Когда же Дж. Ф. Стаал в работе 1962 г. делает попытку реконструировать некоторые из процедур, которые, предположительно, использовал Панини [12], то обнаруживается перенос на далекое прошлое идеалов второго периода существования журнала «Language» — периода поиска методик. Еще более явно это стремление в статье Б. А. ван Ноотена 1967 г., где мы встречаем следующий пассаж, созвучный генеративной лингвистике той поры: «... мы не можем игнорировать то обстоятельство, что грамматика в концепции Панини — это нечто вроде машины, автомата, выбирающего, в соответствии с определенными принципами, те или иные части речи; суть этих принципов — в стремлении достичь самовыражения, опираясь на наличные категории значения. Выбрав эти категории, автомат ищет грамматику для других категорий, которые в свою очередь задают, например, наклонение, лицо или время. Когда же эти грамматические элементы расположены в правильном порядке, их переработкой начинает заниматься морфологическое устройство „машины“, автоматически переводящее их в правильное слово, которое, как кажется грамматисту, можно произнести» [13]. Однако характеристика понятия «правило» у Панини, которое было дано в том же году в работе Дж. Кардона [14], полностью отклоняется от генеративной парадигмы: отмечаются не только позитивные, но и негативные правила (последние запрещают те или иные выражения при определенных условиях, являясь своеобразными фильтрами), а также иерархия общих и специальных правил. Все это отсутствовало в полном объеме в стандартной модели трансформационной порождающей грамматики в то время, но идея подобных усовершенствований уже разрабатывалась в рамках новых моделей.

И вот в 1970 г. Х. Орслефф высказывает открытое возмущение по поводу того, как генеративисты истолковывают историю лингвистических теорий. Он напоминает [15], что нужно не столько стремиться к согласованию идеалов прошлого и настоящего (т. е., в терминах Ельмслева, не только предполагать, что мы находимся в классическом периоде), но и не закрывать глаза на расхождения. Главными критериями адекватности истории являются: 1) хорошее знание конкретных фактов и текстов предшественников и 2) логическая непротиворечивость исторической концепции, не игнорирующая материала, не укладывающегося в прокрустово ложе сегодняшних идеалов (более подробно эти принципы Орслефф демонстри-

рует в своей книге [16]). Острие этой критики было направлено против книги «Картезианская лингвистика» Н. Хомского, появившейся незадолго до этого [17]. В данной же статье автор обвиняет Хомского в вольном истолковании концепций Декарта, Дю Марсе и Локка, а главное, в том, что тот приписывает антиэмпиристскую направленность (созвучную генеративной теории) даже последователям Локка.

Это было проявлением — тогда еще весьма частным — кризиса, возникшего между намечавшимися к тому времени новыми подходами и сложившейся генеративной парадигмой, представители которой уверовали (впрочем, не без оснований) в удобство и гибкость своего формального аппарата, а вместе с тем (но уже с меньшими основаниями) в то, что общие принципы их подхода являются как раз теми вечными «инвариантами», ценность которых всегда была несомненной в лингвистике и в философии языка.

Еще одной иллюстрацией того, как метод подачи фактов истории лингвистики бывает созвучен общей атмосфере (критической или академической, т. е. «классической») в данный момент, может явиться сопоставление высказываний о конкретных ученых как личностях. Так, М. Сводеш в 1939 г. писал: «Интерес Сэпира к антропологии и к психологии полностью вытекал из его интереса к лингвистике. Он рано осмыслил лингвистику как социальную науку, а социальная наука для него была полностью связана с деятельностью личности. Он чувствовал, что оторванность науки о языке от социального окружения лишала ее жизненности. Его собственный ум был настолько диалектичен и способен учитывать самые разнообразные факторы ситуации, что неучет этих факторов другими исследователями выводил его из терпения. Сам же он не замыкался в узких рамках и всегда был готов принять во внимание неожиданные аспекты, обладающие эвристической ценностью» [18]. Это было написано в период стабильности. В этой связи интересно сравнить — по духу, а не по существу — воинствующий тон статьи аналогичного жанра, посвященной Л. Блумфилду и написанной в 1949 г. Б. Блохом: «В его длительной борьбе за превращение лингвистики в науку главным врагом был тот образ мыслей, который носит название ментализма» [19, с. 23]. Это уже время начала «методического периода», когда возрастает интерес к почти автоматическим процедурам «обнаружения грамматики». Естественно, утонченный психологизм (в то время — синоним ментализма) был укором для тех, кто во что бы то ни стало стремился представить структуру языка как классификацию элементов, оперирование которыми совершенно не зависит от личностных качеств носителя языка.

Но вот наступает стабилизация, и Э. Хэррис пишет о Сэпире — главном представителе ментализма — с глубокой симпатией и уважением: «Величайшим вкладом Сэпира в языковедение и свойством, наиболее характерным для его лингвистической работы, была не процедурная модель, а классифицирование данных» [20, с. 292]. И далее: «Методы Сэпира были, в общем-то, одними и теми же, когда он исследовал язык, культуру и личность. Он может быть назван выдающимся исследователем не только за свой реальный вклад, но и за использованные им методы представления результатов. Его труды нередко являются образцом художественности, ...шедеврами филигранности в решении задачи. ... Три главных рабочих метода Сэпира производили на всех огромное впечатление: его способность использовать неуловимое для получения результатов, наглядность его логики, а также остроумие и критичность в выборе подхода» [20, с. 330]. Это высказывание созвучно той характеристике, которую значительно поз-

же, в период стабильности (но на следующем, «теоретизирующем этапе»), дал Сэпиру М. Силверстайн: «В том, как он формулировал свои мысли, было нечто от бессмертия» [21]. Таким образом, можно отметить, что в начале 1950-х годов острой и нерешенной была именно проблема получения из данных речи процедурным путем нетривиальных выводов о грамматике языка, т. е. фактически проблема моделирования именно той способности, которой в высшей степени обладал Сэпир.

Итак, наибольшую неровность и полемичность в оценке достижений коллег мы наблюдаем на стыке названных периодов; наиболее же академичное отношение — внутри каждого из этих периодов. Во время стабильности теоретикам более свойственно искать поддержку своим воззрениям в глубине веков; кризис же в теоретизировании проявляется как обостренное чувство несходства во взглядах с предшественниками, даже с давно ушедшими представителями науки.

3. Лингвистика как дисциплина

Л. Блумфилд в 1925 г. писал: «Наука о языке, имеющая дело с наиболее базисным и простым из человеческих социальных институтов — это наука о человеке (или наука о духовности, или, как принято было когда-то говорить, моральная наука). ...Методы языкознания напоминают методы естественных наук, и то же можно сказать и о его результатах... Отличается же языкознание от естественных наук тем, что его предмет непосредственно связан с компактными и постоянно меняющимися группами людей, с речевыми коллективами. Таким образом, дополнительно к динамике, изучаемой естественнонаучными методами, языкознание привносит еще и тот разряд изменений, который известен под именем „история“, такое изменение более динамично, а потому и более наглядно, чем биологическое изменение» [3, с. 1—3].

Как бы продолжая эту идею — а она отражала дух времени, — Э. Сэпир в статье 1929 г. связал начало языкознания как науки со сравнительным изучением и реконструированием индоевропейских языков: «В ходе своих углубленных исследований индоевропейских языков лингвисты последовательно развили технику, гораздо более совершенную, чем техника других наук о человеческих организациях» [22, с. 207]. Тем самым языкознание следует признать наиболее подходящим инструментом для изучения явлений культуры [22, с. 210]. Но при этом следует иметь в виду, замечает Сэпир, что лингвистика должна взглянуть на вещи шире, выйти за рамки простого классифицирования и упорядочения данных и постараться понять, чем она может быть полезной для интерпретации человеческого поведения в целом [22, с. 214].

Эти два довольно близких суждения характеризуют взгляд на лингвистику в начале первого, подготовительного периода. В конце же этого периода, в 1942 г., происходит заострение собственно таксономической проблематики в преддверии следующей эпохи — выработки процедур анализа. В это время Ч. Хоккетт писал: «Лингвистика — классифицирующая наука. Исходными для такой науки являются: 1) мир дискурса и 2) критерии, используемые при классифицировании. Выбор и предварительное упорядочение данных определяют область применения анализа; выбор же критериев устанавливает уровень анализа. В лингвистике есть различные области применения анализа..., но при этом два основных уровня — фонологический и грамматический — имеют свои подразделения» [23, с. 3]. Аналитическая процедура — это процесс проб и ошибок, когда

одно приближение сменяется другим. Лингвист «собирает фонологический и грамматический материалы одновременно, хотя больше внимания уделяет то одному, то другому уровню... На некоторых стадиях он может опираться на интуицию, но затем вступают в действие строгие критерии. В конечном итоге возникает возможность адекватной оценки материала. Тогда все зависит от того, что наиболее удобно для данного языка; если исследуемый корпус материала — письменные записи, то сами дефекты фиксации могут предопределить и порядок представления результатов» [23, с. 21].

Но вот наступает второй — «методический» — период, период поиска эффективных методов и строгих процедур. Теперь мы встречаем высказывания о том, что лингвистика — исключительно эмпирическая наука, и именно поэтому она не должна заниматься общими проблемами: «Для лингвиста важно решить, какие проблемы теории являются собственно языковедческими, ответ на которые может быть получен на ее собственной почве» [24, с. 298]. Таким образом, стремление найти надежные процедуры анализа привели к предположению о резкой отграниченности языкознания от других гуманитарных наук и о «самоценности» исследования языка; связи же между психологией неязыкового поведения и языковым материалом, как констатировал в 1953 г. Э. Леннеберг, еще не были вполне проанализированы [25].

Стремление к специализации, а также несомненные достижения в разработке строгих процедур (что, скорее, выявило их ограниченность, чем реально приблизило исследователей к решению задачи процедурного «обнаружения» грамматики языка) создали вокруг языкознания в середине пятидесятых годов ореол очень далеко продвинувшейся в своем развитии, систематичной, точной научной дисциплины: «Ученые, исследующие общество, стремясь к точности формулировок своих теорий, с завистью смотрят на столь точные формулировки в грамматике и в описании экспериментально-фонетических исследований, которыми изобилуют лингвистические журналы; да и сами лингвисты порой начинают верить, что именно они могут указать путь к новой научной революции в понимании поведения человека» [26], — так с иронией писал Р. Лиз в 1957 г., когда все яснее намечались контуры нового кризиса и подготавливалась почва для перехода от «методического» к теоретическому периоду развития языкознания в США.

Но как только такой переход произошел, наступило и осознание взаимосвязанности человеческого фактора и статуса лингвистики, создаваемой человеком. В разгар этого нового периода У. Лемани констатировал, что «... лингвисты слишком мало внимания обращают на то, как исследуемый вопрос получает свое преломление в сознании исследователя. Лингвисты-историки занимались путями развития элементов языка, лингвисты-дескриптивисты — этими же элементами, но взятыми в конкретное время. В отрыве друг от друга эти два аспекта неизбежно приводят к разным интерпретациям одних и тех же явлений» [27]. Таким образом, одноаспектность при создании теории и при разработке процедур анализа — слишком сильное огрубление, когда-то неизбежное, но неоправданное на современном этапе развития науки. Вот почему примерно в это же время М. Халле предупреждал, что в лингвистическом исследовании недостаточно пользоваться раз и навсегда закрепленной процедурой; скорее это исследование напоминает игру в шахматы или альпинизм, когда, выражаясь словами самого М. Халле: «...выучивают несколько элементарных принципов, а затем, наблюдая удачи других в использовании этих принципов, уста-

навливают, как эти принципы должны применяться, и пытаются сами их использовать. ...Но при этом никогда нельзя сказать заранее, что и в дальнейшем эти же принципы будут столь же полезны в приложении к другим задачам» [28].

Однако такой взгляд должен привести к впечатлению, что лингвистика — не наука, а искусство, или техника анализа. В этой связи делались попытки выбрать одну из двух альтернатив: именовать лингвистику наукой (со всеми стандартами последней, в том числе и выделяя «парадигмы» ее развития) или признать ее дисциплиной с особым статусом. У. К. Персивал [29] склонен скорее вообще отказаться от концепции научной парадигмы Куна, чем признать якобы «полунаучный» статус языкознания. Нам же представляется, что именно на теоретическом этапе — в отличие от периода накопления материала и от этапа разработки процедур — деятельность ученых в наибольшей степени близка к художественному творчеству. Поэтому можно, вслед за Ю. С. Степановым, но уточняя положение работы [2] (о параллельном во времени развитии одних и тех же парадигм в языкознании, философии и искусстве), сказать, что такой параллелизм в наибольшей степени проявляется именно в «теоретический» период. Лингвистику, ищущую новые идеи и аналогии, на этом этапе можно сравнить — вслед за Р. Лакофф в определенном отношении с психоанализом: обе дисциплины пользуются интроспекцией при получении своих данных; обе принимают во внимание разнородные факторы, которые только в своей совокупности, а не порознь, сказываются на человеческом поведении; результаты обеих дисциплин могут противоречить обыденным представлениям и имеют исключительно качественный, а не количественный характер. Общим же является и стремление лингвистики и психоанализа понять, почему человеческий разум далеко не всегда оптимально решает свои задачи [30].

Кстати, сопоставление с психоанализом и вообще с психологией не случайно: именно в теоретизирующий период многие ученые стали признавать лингвистику ответвлением когнитивной психологии⁵, пользующейся нелабораторными методами: «Непосредственным объектом исследования являются не люди, а язык, которым они пользуются, — та область объектов (предложений), которые они продуцируют и понимают. Причиной называть лингвистику психологией является то, что из свойств объектов, преобразуемых организмом, вытекают последствия для свойств самого организма. Когда Хомский демонстрирует неадекватность грамматик непосредственно составляющих, он не заглядывает внутрь мозга говорящих и не измеряет время реакции в лаборатории. Он просто наблюдает существование зависимостей между частями предложения, зависимостей, которыми руководствуются носители языка, но лежащих за пределами возможностей для любой грамматики непосредственно составляющих. Вот это и указывает на свойства мыслительных операций человека» [31]. Отметим, однако, что указывая на язык как главную область языкознания в конце семидесятых годов, теоретики в принципе остаются в рамках того подхода (называемого иногда «филологизмом»), при котором выводы о человеческом поведении стремятся получить, исходя не из наблюдений над непосредственными действиями человека, а только исходя из наблюдений над продуктами этих действий.

В середине 1980-х годов с осознанием необходимости изучать челове-

⁵ Под «когнитивной психологией» имелось в виду не только теоретическое направление, «когнитивизм», но и «психология когниции», исследующая механизмы переработки информации.

ческие факторы усиливаются и попытки расширить непосредственную область лингвистики. Например, В. Ингве в 1986 г. задает вопрос: «Может ли лингвистика достичь своей исходной цели стать наукой — или же она должна вернуться в лоно философии и вновь подчинить себя логике и теории знания?» И отвечает: «Языкознание сегодня, как представляется, достигло той точки развития, на какой была физика несколько столетий назад. Старые проблемы по-прежнему преграждают ей путь к идеалам современной науки, они не устранены новыми методами. Объекты исследования в лингвистике..., хотя часто считают, что они обладают своими свойствами только в качестве теоретических конструктов, тем не менее не имеют соответствий среди реальных объектов реального же мира, на фоне которых теории могут проверяться. Вообще говоря, объекты исследования в иных науках — реальные предметы, в лингвистике же это не так. ... Не будучи предметами, заданными для изучения с лингвистической точки зрения, они на самом деле создаются точкой зрения исследователя» [32, с. 16]. Отсюда можно сделать вывод, что «лингвистика как наука о языке и как „научная дисциплина“ противоречат друг другу, и в перспективе развития языкознания остается только одна возможность — лингвистика в качестве науки о человеке как объясняющем, исходном факторе. Однако и эта постановка проблемы не совместима с тезисом о языке как объекте языкознания» [32, с. 23—30]. Но именно «лингвистика о человеке» представляется В. Ингве, как, впрочем, и многим американским лингвистам в последние годы (даже если они и не декларируют это в заостренном виде), путем к достижению научного идеала, лингвистики как науки. Об этом говорил еще Л. Блумфилд в 1925 г.

Таким образом, «непосредственной целью лингвистического исследования (как и в любой другой науке) является не столько исчерпывающее описание известных фактов, сколько выявление систем фундаментальных принципов, лежащих в их основе» [33].

Итак, «научное языкознание» было лозунгом (целью, к которой призывали) в подготовительный период; в методический период появилась вера в то, что эта цель уже достигнута. Но только в настоящий, теоретизирующий период можно с уверенностью сказать, что языкознание становится наукой, причем гуманитарной наукой, т. е. наукой о человеке.

4. Эволюция взглядов на лингвистическую теорию

Отношение между теорией и материалом, соотносительность гипотез и данных — вопрос, более типичный для «методического», чем для подготовительного периода. Но в конце подготовительного периода уже находим следующее высказывание: «Теория нами рассматривается как развитая окончательно в том случае, если она может охватить все явления, иллюстрируемые собранным материалом. Ценность теории — не только в ее соответствии фактам, но и в том, что она дает общую структуру (регулярные принципы) явлений, которые в ином случае могли бы быть отражены лишь как серия различных, частичных, ограниченных структур (правил и исключений)» [34, с. 3]; и далее: «Ценность фонологической теории прямо пропорциональна сфере ее приложения и обратно пропорциональна ее сложности» [34, с. 10]. Это суждение очень типично для переходной эпохи, когда только намечались пути к методам обнаружения грамматики и ставился вопрос о соответствующей оценке теории. Однако теория приравнивалась к описанию (между прочим, в учебниках математической логики такое понимание термина «теория» стало стандартным), а язык

теории, естественно, должен был стать технологическим языком, т. е. таким, с помощью которого легко можно было бы описывать конкретные манипуляции с языковым материалом. Именно этот взгляд защищал Л. Блумфилд в 1940-е годы [35].

В рамках такой операционалистской постановки проблемы теория как описание складывается из аксиом, теорем и логических переходов от аксиом к сложным положениям. Достоинство такого способа подачи результатов исследования в конце 1940-х годов видели в наглядности: «После того, как наши предположения, иногда не осознаваемые нами ясно, изложены на бумаге, а термины получили определение, мы можем избежать многих бесплодных споров по поводу расхождений в методах. Два лингвиста придут тогда к четкому выводу об общности их постулатов; если же наборы их постулатов различны, они не смогут успешно обсуждать свои расхождения до тех пор, пока не решат вопрос об этих постулатах» [36]. Эта мысль была прямым продолжением блумфилдовской идеи о методе постулатов в языкознании [37].

Взгляд на лингвистическую теорию как на аксиоматическую систему, а вместе с тем и как на основу для описания конкретного языка, при всех перипетиях развития на протяжении долгой истории американского языкознания, дошел и до наших дней: «Универсальная грамматика — это система подтеорий, каждая со своими параметрами варьирования. Конкретный язык (его ядро) определяется тогда как результат фиксации параметров в рамках этих подтеорий» [38]. Там, где Блумфилд и его последователи видели ровно одну теорию-описание, сторонники подхода «принципов и параметров» усматривают иерархию подтеорий, или «модулей». Это естественное развитие фундаментальной идеи — результат многолетних разработок и заслуживает пристального внимания. Заметим, что тридцатью годами раньше на страницах «Language» Хомский [39] писал, возражая И. Бар-Хиллелу [40]: «Я согласен с тем, что логика может быть использована в языкознании. ...Но правильный путь использования идей и приемов логики состоит в формулировании общей теории структуры языка. Однако это не дает нам еще возможности выяснить, какие виды систем представляют область языкознания и как лингвиста разумно было бы их описывать. Использование логики при построении ясной и строгой лингвистической теории не означает, что логика или любая другая формальная система станет моделью языкового поведения. Я не согласен с тем, что внедрение логических синтаксиса и семантики в лингвистическую теорию якобы решит какие-либо проблемы последней или что теория значения для естественных языков станет яснее в результате конструирования искусственных языков через понятие правил, содержащих в себе слово „синоним“» [39, с. 45]. В середине 1950-х годов это положение свидетельствовало о приближающемся кризисе методического подхода.

Для дескриптивистов в методическую эпоху наибольший интерес представлял сам процесс «обнаружения» систем правил и единиц языка; в более же позднее время на первом плане была уже «работа» этой системы правил (соответствующим образом иерархизированной, как в развитых моделях порождающих грамматик) на основе «лексикона» языковых элементов. В 1970-е годы упорядочение элементов стало привлекать особое внимание в связи с представлением о хранилище единиц языка как о сложно организованной системе, различные подструктуры которой соотносятся с помощью своих правил — «правил лексикона», — отсюда «теория лексикона» М. Ароноффа [41], теория «лексической фонологии»

М. Халле и его учеников [42] и др. Компромиссом между двумя полюсами интересов — к методике построения, «обнаружения» грамматики, с одной стороны, и к «механизмам работы» уже построенной грамматики, с другой, — являлись на рубеже 1960-х годов концепции типа той, которую находим у П. Гарвина [43]: главным свойством процесса анализа является опора на презумпции о функциях естественного языка как системы знаков и о многоуровневом устройстве системы языка. Сам же процесс анализа огрубленно можно представить как серию итеративных циклов операций обнаружения. Эти операции опираются не только на наблюдения над дистрибуцией элементов в текстах, но и на показания информантов; причем каждый цикл соответствует определенному уровню языка. К началу 1970-х годов стало ясно: если, формулируя правила, вскрывающие системный характер языковой структуры, мы не будем пытаться вскрыть еще и универсальные принципы, с тем чтобы конкретные правила представить как частные проявления этих общих принципов, — то трудно будет всерьез говорить о перспективах создания общелингвистической теории [44].

Итак, компромисс между процедурной и объясняющей лингвистиками, в равной степени представленными на протяжении истории журнала «Language», состоит в том, чтобы ввести в процедуру лингвистического анализа (а соответственно, и в общетеоретическое обоснование такой процедуры) нацеленность не только на строгость и объективность наблюдения, но и на дальнейшую применимость опыта этого анализа для достройки той лингвистической теории, которая выступает «спонсором» самого анализа. Отношения между методом анализа и теорией усложняются, появляется обратная связь. До середины 1970-х годов положение о соответствии (довольно близком к взаимнооднозначному) между конкретным набором аналитических приемов и конкретной лингвистической теорией считалось несомненным⁶. Теперь же это соотношение потеряло свою прозрачность. Если еще в эпоху дескриптивизма идею универсальности можно было извлечь из самой презумпции лингвистического анализа как набора операций, приложимых к каждому языку, то за последние двадцать с лишним лет она получила свое дальнейшее развитие за пределами операционалистского подхода. Сегодня лингвистическая теория может рассматриваться как самостоятельная процедура, ценная сама по себе [7, с. 563—564], а потому она выступает не только в качестве методиста-диктатора, но и в качестве заинтересованной стороны: опыт описания естественных языков с помощью процедур, обоснованных данной теорией, приводит к корректировке самой теории.

5. Один старый спор на страницах журнала «Language»

Почти для всех очерков истории американской лингвистики XX в. традиционным и прямо-таки «реквизитным» стало описание перипетий спора между менталистами и механицистами. Здесь мы ограничимся только несколькими замечаниями: очень глубокий анализ проблемы на материале работ до «теоретического» периода (т. е. до середины 1960-х годов) можно найти в работе [46].

В 1936 г. Л. Блумфилд писал: «Лингвистика в нынешнем своем виде использует только такие термины, которые могут быть переведены на язык физической и биологической наук; этим лингвистика отличается почти

⁶ Это наблюдение хорошо продемонстрировано на материале многих операционалистских теорий языка в работе [45], где подробно описаны и группы аналитических операций, позволяющих классифицировать и дифференцировать такие теории.

от всех других дисциплин о человеке. В последующие годы человечество поймет, что эти термины употребимы во всех науках. Термины, используемые ныне, — типа „сознание“, „мышление“, „восприятие“, идеи и т. п., — словом, терминология ментализма и анимизма — исчезнут, как в свое время сошла со сцены астрономия Птолемея. Они будут заменены до некоторой (меньшей) степени физиологической терминологией, а в большей степени — терминами языкознания» [47, с. 89]. Подтверждение этой гипотезы Блумфилд видел, в частности, в физикализме Венского логического кружка [47, с. 93], с которым он солидаризовался. Подводя философский базис под свой антиментализм, Блумфилд считал, что борется против той концепции, согласно которой «...вариативность человеческого поведения объясняется вмешательством какого-то нефизического фактора — *духа* или *воли* или *рассудка*. . . . , наличествующего у каждого человека. Дух же, согласно менталистской точке зрения, коренным образом отличается от материальных объектов и, следовательно, подчиняется иным, чем они, видам причинной связи или вообще неподвластен ей» [48]. Однако сам Блумфилд пользовался и указанными терминами, и термином «язык» в обычном понимании, относя его и к материальной, и к духовной, внешне не всегда наблюдаемой, стороне человеческой деятельности.

В предметодический период «антиментализм» был скорее лозунгом; в последующий же период этот лозунг стал и руководством к действию — к практической замене терминов и понятий. В наше время уже пародийно звучит высказывание, которое можно найти на странице журнала «Language» в 1943 г.: «Это чудовище, ментализм, хорошо известное в лингвистических кругах, постоянно поднимает свою уродливую голову. Например, злоупотреблением терминами можно считать тезис о том, что субъектное спряжение в венгерском языке употребляется, „когда личная форма глагола предшествует объекту в предложении или позиционно находится после него или же в сознании говорящего соответствует чему-либо, характеризующему как определенное“. Ведь только на основе рассмотрения „мысли говорящего“ нельзя утверждать, что мы имеем дело с прямым объектом» [49]. Годом позже, чтобы избежать недоразумений, Блумфилд подчеркнул, что задача антименталиста — не избегать терминов ментальности, а скорее стараться не принять за чистую монету существование отдельного фактора сознания в человеческом поведении [50]. Возражая Блумфилду, Л. Шпитцер в том же году [51] указывал, что в лингвистическом исследовании не думать о духовности — все равно что не заниматься орошением полей до тех пор, пока не будет получен анализ понятия «полив». Антименталист, как указывал Л. Шпитцер, должен, по сути, отвергать человеческий опыт, аккумулятивный в родном языке. Этот опыт, который столь понятен и нагляден, по капризу «механистов» считается «ненаучным».

В конце 1940-х годов ментализм характеризовался американскими механистами просто как пережиток, в лучшем случае бесплодный, а в худшем — смертельно опасный, когда он проникает в научное исследование; он представлялся как «привычка апеллировать к мышлению и к воле как к готовым путям объяснения всевозможных явлений» [49, с. 93]. Но картина начала меняться с осознанием ценности лингвистической теории как таковой и с отходом чисто методической стороны анализа на второй план. В 1950-е годы, например, именно к достоинствам ментализма стали относить стремление учитывать субъективный фактор в языке [52].

В середине шестидесятых годов, в начале «теоретизирующего» пери-

ода, инициативу на страницах журнала «Language», захватывают антимеханисты, прямо утверждавшие, что не ментализм, а именно «ползучий» эмпиризм (понимаемый как опора только на наблюдаемые физические сущности и игнорирование всего, что не может быть подвергнуто чисто механическим операциям) мешает сделать лингвистику наукой [53]. В семидесятые и восьмидесятые годы ментализм в языкознании получил новые качества [54]: он обрел экспериментальную базу в лице психолингвистики. Разработка программного обеспечения для ЭВМ, позволяющего моделировать владение языком, открыла новый полигон для проверки общетеоретических положений. Наконец, психолингвистические и чисто психологические теории восприятия в приложении к лингвистическому теоретизированию (например, при построении теории языковой интерпретации) явились стартовой площадкой для дальнейших исследований в неоменталистском русле. Ментализм стал опираться и на формальные средства описания [55] — отсюда всевозможные формальные модели, широкий спектр которых особенно характерен для второй половины семидесятых — конца восьмидесятых годов [56].

Таким образом, спор решен в пользу менталистов. Но ментализм в сегодняшней американской лингвистике — далеко не всегда в точности является наследником психологизма науки конца прошлого — начала нашего века, против которого выступали последователи Блумфильда ⁷.

6. Язык, мышление, знаковость

В 1925 г. А. Вайсс в русле бихевиоризма выразил следующее отношение к проблеме языка: «Язык как форма поведения, посредством которого индивид приспособляется к социальному окружению, — не то же самое, что язык как средство выражения так называемых субъективных желаний, надежд и чаяний. Как форма поведения язык репрезентирует биологические, физиологические и социальные условия; как средство выражения он предполагает наличие нефизических сил или типов психической энергии, существование которых не было еще адекватно продемонстрировано» [59]. У Вайсса (а эта статья была по существу программой для будущих исследований антименталистов) отношение между языком и реальностью однозначно: реальность управляет языком, язык же дает только описание мира, не творя и не изменяя этого мира.

У Э. Сэпира — иной взгляд: язык дает ключ к «социальной действительности», творимой человеком, и «...предопределяет все наши представления о социальных проблемах и процессах. Люди живут не только в объективном мире, не только в мире социальной деятельности, как это обычно представляют, но во многом находятся во власти конкретного языка, ставшего средством выражения в обществе. Полной иллюзией является считать, будто мы приспособляемся к действительности в основном без использования языка и будто язык — просто привходящее средство решать частные проблемы общения или мышления. В действительности же „реальный мир“ в значительной степени бессознательно строится на основе групповых привычек. Никакие два языка не бывают достаточно сходными в такой степени, чтобы репрезентировать одну и ту же социальную действительность. Миры, в которых живут различные общества — это разные миры, а не просто один и тот же мир с разными

⁷ Очерк этого развития в философском аспекте см. в [57]. Еще раньше достоинства и недостатки психологизма и антипсихологизма в рамках философии языка двадцатых годов рассмотрены в книге [58].

этикетками» [22, с. 209]. Итак, язык — это «символический ключ к культуре» [22, с. 210], в первую очередь продукт культуры или общества, и в качестве такового он и должен изучаться [22, с. 214].

Через сорок лет после этого У. Чейф, отражая дух нового времени, определял язык уже как «систему, в которой знаковые структуры, реализованные в человеческом опыте, воплощаются в виде фонологических структур, реализованных в виде звуков. Иные системы коммуникации (у животных) также задают символизацию знаковых единиц посредством фонологических единиц, но эта символизация взаимнооднозначная. Эволюционное же расширение человеческого опыта сопровождалось развитием, в результате которого язык радикально отошел от взаимнооднозначной модели» — таков ход фонологического изменения и формирования идиом. Поэтому можно сказать, что «язык задает первоначальную организацию опыта в рамках глубинной „семологии“, исходной фонологической символизации и набора переходов, приводящих к окончательной фонологической организации речи, проявленной в звуках» [60].

Итак, в шестидесятые годы взгляд на язык как четкую систему знаковых связей уступил место многофакторному представлению. Еще более очевидным, фактически общепринятым, это стало в семидесятые годы; так, по Дж. Хиту [61, с. 90], язык — это высокоструктурированная система (а не неупорядоченный набор элементов), отвечающая основным требованиям коммуникации, диктуемым структурой речевого акта. Такой семиологизирующий подход, как констатирует М. Шапиро [62] в начале восьмидесятых годов, пришел на смену представлениям о языке как о поведении, исключительно подчиненном правилам⁸.

Как же в этот период представляли себе американские исследователи отношение между языком и мыслью? Эта связь — как и все в языке — стала представляться весьма опосредованной. Например, в рамках все той же «семиотической парадигмы», вышедшей на первый план с середины семидесятых годов и не утратившей своих позиций до сегодняшнего дня (особенно ярко эта парадигма проявилась в интересе к интерпретационной стороне речевой деятельности, а также к понятиям пирсовской семиотики, — особенно к прагматике), Дж. Хейман [63, с. 537] защищал следующий взгляд. Структура языка отражает структуру мысли; исследуя язык, мы тем самым открываем окно в мир мышления. Грамматика языка иконична в том смысле, что моделируемые ею процедуры представляют собой нечто очень сходное с процедурами мышления. В свою очередь структура мысли отражает (пусть и не прямолинейно) структуру действительности. Поэтому открываемые и открытые уже универсалии языка в области синтаксиса и семантики следует рассматривать как то, что в конечном итоге отражает свойства мира, а не просто свойства мышления как такового. Тем самым мы возвращаемся к взгляду Б. Рассела, еще в 1940 г. [64] утверждавшего, что «с помощью изучения синтаксиса можно, по крайней мере частично, получить представление о структуре внешнего мира». Однако сегодня этот взгляд наполняется новым содержанием в рамках языкознания.

Говоря об отношениях между речевыми и мыслительными процедурами,

⁸ Увлечение понятием «правило» было в 1960—1970-е годы результатом влияния формализаторских приемов в рамках порождающих грамматик (вопреки предостережениям самого Хомского не путать формальный аппарат описания с действительными механизмами языка и тем более речи). Тогда понятие «правило» пытались распространить на всю творческую деятельность человека, в частности, пытались построить грамматику поэзии, текста и т. п.

мы сталкиваемся со старой проблемой «произвольности» знака. Как подчеркивал советский ученый Т. В. Гамкрелидзе на страницах «Language» в 1974 г. [65], знаки входят не только в «вертикальные» отношения (знак — означаемое), но и в «горизонтальные» (между самими означающими, а также между самими означаемыми); вертикальное и горизонтальное отношения взаимодополнительны в боровском смысле. Схему «мышление — язык — действительность», вырисовывающуюся на сегодняшний день, необходимо поэтому видоизменить, если принять во внимание взаимодополнительность вертикальных и горизонтальных отношений. Это наблюдение, на наш взгляд, может в дальнейшем привести к более сложному представлению о процессах интерпретации текста: по ходу такой интерпретации значение одного знака выводится не только из вертикальных, но и в значительной степени из горизонтальных отношений. Выкристаллизовалась же эта идея в результате многолетних раздумий над ролью языка в организации человеческого опыта. Еще в 1936 г. Б. Л. Уорф писал: «Мы склонны думать о языке как о технике выражения и не осознаем, что язык — это прежде всего классификация и упорядочение потока чувственного опыта; в результате возникает такое упорядочение мира, которое легко выражается с помощью наличных в данном языке средств символизации. Иными словами, язык осуществляет то, чего добивается наука, но делает это более огрубленно, хотя и с большим охватом и более гибко» [66]. Напомним, что Блуфмилд считал язык средством приспособления человека к окружающему миру; в середине 1970-х годов формулируется тезис об обратной связи. Вырисовывается и «экологический» взгляд, который можно увязать с семиологическим подходом: так, Дж. Хилл [67] утверждал, что сам язык приспособляется по ходу развития человечества к новым условиям; развитие языка, в частности, регулируется теми же горизонтальными связями, о которых говорилось в статье Т. В. Гамкрелидзе.

К середине — концу восьмидесятых годов интерпретационно-семиологический подход получает неожиданное развитие в рамках «модульного» взгляда на устройство языка. Модуль определяется (по аналогии с соответствующим понятием в теоретическом программировании) как более или менее независимый компонент, состоящий из процедур, не «вмешивающихся» в «работу» других модулей грамматики (не влияющих, в частности, на порядок использования грамматических правил, входящих в другие компоненты), но взаимодействующих с другими модулями в процессе построения и/или восприятия речи через промежуточные результаты» (скажем, через те или иные синтаксические или семантические репрезентации предложения). Набор модулей аналогичен сотрудничающим людям: несколько строителей не управляют работой мозга своих товарищей по возведению дома, но взаимодействуют с ними в результате того, что в определенное время и в определенной последовательности подвозят и кладут кирпичи в нужное место постепенно растущей конструкции. Модульный подход сформировался в рамках стандартной порождающей модели к середине семидесятых годов. А. Вудбери [68] приравнивает принцип модульности к положению о двойной артикуляции: единицы одного уровня (например, фонологического) не имеют иных функций, кроме комбинирования между собой для образования единиц более высокого уровня (например, уровня слова). Иначе говоря, горизонтальные отношения, регулируемые в рамках одного модуля, аккумулируются, после чего за счет работы другого модуля дают единицы более высокого уровня. В результате эволюционного развития языка происходит такое «приспо-

соблеще» языка к новым «горизонтальным» условиям, в итоге которого былая иконичность становится все более опосредованной. Сохранение внутренней непротиворечивости в рамках отдельных модулей приводит к потере прозрачности в отношениях между знаком и его означаемым именно потому, что усложняет отношения между модулями (это показывается в статье [69]).

Под иным углом, но в том же семиологическом ключе смотрит на эту проблему Дж. Хейман [63]. Хотя языковые знаки в изолированном виде обладают символичностью, тем не менее система, или грамматика, их соотносящая, может быть иконичной в следующих двух отношениях: а) в результате изоморфизма, когда взаимнооднозначное соответствие имеет тенденцию устанавливаться между означающими и означаемыми, и б) в результате мотивации, когда структура языка прямо отражает некоторый аспект структуры реальности. Это по существу переформулировка положения Уорфа (см. выше). Изоморфизм можно тогда охарактеризовать как отношение, возникающее в результате работы процедур одного и того же модуля, а мотивацию — как результат взаимодействия модулей. Но тогда в общую схему рассмотрения мы должны ввести и модули «освоения действительности».

В конце 1980-х годов идея о том, что языковую деятельность невозможно четко отграничить от неязыковой, становится очень популярной и в теоретическом языкознании, и за его пределами в связи с попытками построить системы искусственного интеллекта. В этом отношении интерес представляет наблюдение, сделанное Дж. Робертсоном [70]: в результате исторического развития символическая система, изначально далеко не полностью использовавшая логические возможности различительности, постепенно все более широко осваивает их. Это развитие в той степени «экологично», в какой не нарушает грани между категориями, а только «заполняет» пространства знаковых отношений, до некоторых пор существовавшие только потенциально («экологические ниши»). Возможно, механика такого заполнения регулируется «постулатами когниции», соотносящими простые и производные когниции между собой [71].

Однако язык не был бы языком, если бы соотносил только элементы внутри сознания одного человека. Середина семидесятых годов, когда пристальное внимание все больше стали привлекать процессы восприятия речи, характеризуется и межличностным подходом к языковому сознанию [72]. В это же время подчеркивалась необходимость установить универсальные механизмы языковой «когниции». Например, по гипотезе «языковой относительности» Сэпира—Уорфа, человеку, кроме его «калейдоскопического потока впечатлений», каждый язык навязывает еще и специфическую (присущую именно данному языку) семантическую структуру. Последние двадцать лет многие лингвисты в США склонны сомневаться в самой относительности семантических структур [73]. Хрестоматийными стали в свое время примеры с варьированием цветообозначений, интерпретируемые сторонниками гипотезы Сэпира — Уорфа как результат давления, оказываемого родным языком на восприятие человека. Сейчас же скорее считают, что именно зрительное восприятие навязывает языку соответствующие категории, ядро которых (как показали Б. Берлин и П. Кей [74]) не меняется от языка к языку, представляя собой универсальную систему, только внешне модифицирующую (не влияя на модуль зрительного восприятия) языковой репертуар терминов цветообозначения. Универсальность языковых свойств, как становится теперь очевиднее, распространяется не только на отношение «язык — говорящий инди-

вид», но и на отношение тройного порядка: «говорящий — язык — интерпретатор». Именно такая постановка проблемы языковых универсалий (универсалий восприятия и интерпретации чужой речи) и характеризует сегодняшнее состояние типологических исследований.

В середине семидесятых годов установление синтаксических универсалий состояло в обнаружении тех или иных ограничений на «работу» конкретного синтаксического правила, а не в объяснении причины такого ограничения [61, с. 89]. Теперь же на констатацию универсалий смотрят как на проявление в языке общечеловеческих когнитивных механизмов, оперирующих в рамках биологически ограниченных человеческих возможностей и ресурсов, — включая ограниченность памяти, восприятия, внимания, скорости реакции и иные естественные для человека ограничения.

Тем самым в конце восьмидесятых годов мы возвращаемся к тому, с чего начался интерес к открытию универсалий в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Так, в статье 1948 г., ставшей манифестом для дальнейших разработок в этой области, Б. и Э. Агинские [75] рассматривали универсалии как свойства человеческой культуры, частью которой является язык. Но сейчас истоки этих общих свойств обнаруживаются еще глубже — в самом человеческом познании; культуру, как и язык, при этом относят к важным, но частным проявлениям человеческого интеллекта. Разумеется, поиск универсалий всегда был актуален для лингвистики как научной дисциплины [24, с. 289]. Однако в начале пятидесятых годов развитие исследований в этой области стали связывать с превращением языкознания в самостоятельную науку, построенную на основе логических обобщений и глубокого освоения широкого эмпирического материала. Но когда поиск универсалий языка и их объяснение были объявлены одной из важнейших задач теоретической лингвистики, эта наука получила веские основания претендовать на статус объясняющей, а не только классифицирующей дисциплины. Выделяя универсалии, теперь подчеркивают те принципы, из которых они могут быть логически выведены [76].

Итак, язык как набор компонентов — «модулей», — упорядочивающих речевую деятельность человека, — частично пересекается с внеязыковыми модулями, которые прямо или косвенно сказываются на продуцировании и восприятии речи. Но и языковые модули сказываются на внеречевой деятельности человека. Таков итог, — сформулированный в новых терминах, — размышлений о связях языка и мышления.

7. Некоторые итоги

Мы попытались объяснить многие изменения в научном «климате» журнала «Language» на основе периодизации его истории. Первый, подготовительный период в меньшей степени связан с конкуренцией конкретных методов, чем второй, «методический»; третий же период, названный нами условно «теоретизирующим», характеризуется плюрализмом перспектив в рассмотрении языка. Именно на этом последнем этапе главное внимание лингвисты уделяют интегрированию результатов, полученных с помощью различных методик, в цельную концепцию.

О теории ставили вопрос и в первый, и во второй из названных периодов. Но в первый период речь шла о зачатках будущих теорий, пути построения которых не всегда были ясны. Во второй период это были скорее теории метода, созвучные операционалистской направленности в науке сороковых — пятидесятых годов. Тогда теория призвана была подвести

основания под используемые практические методы и иного предназначения не имела. В третий же период мы наблюдаем синтез этих двух линий. Теория имеет в качестве своего непосредственного объекта человека и его языковую (в частности, речевую) деятельность и развивается теперь не в безвоздушном пространстве чистого размышления, не на основе прямого созерцания языкового материала (что было типично для первого периода). Она не замыкается и на наличных средствах (на методах), как это было на втором этапе. Теоретизирование третьего периода не удовлетворяется рассмотрением продуктов речевой деятельности и даже рассмотрением языка — инструмента, постулируемого как источник речи⁹.

Нынешние теории языка в США точнее было бы назвать теориями языковой когниции, — во всяком случае, такова тенденция, которую мы можем наблюдать, анализируя последние публикации в журнале «Language». Это — сложный пучок проблем, включающий хранение, приобретение и использование языковых знаний, преобразование и освоение человеком внешнего и внутреннего (духовного) миров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hymes D., Fought J. American structuralism. The Hague, 1981. P. 22.
2. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семнотипские проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
3. Bloomfield L. Why a linguistic society? // Language. 1925. V. 1. № 1.
4. Haugen E. Directions in modern linguistics // Language, 1951. V. 27. № 3. P. 211.
5. Haugen E. Half a century of the Linguistic Society // Language. 1974. V. 50. № 4.
6. Newmeyer F. J. Linguistic theory in America. 2-nd ed. Orlando, 1986.
7. Cole P. The interface of theory and description // Language. 1976. V. 52. № 3.
8. Brekle H. Einführung in die Geschichte der Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1985. S. 3.
9. Hjelmslev L. Sproget: En introduktion. København, 1963. S. 7.
10. Караулов Ю. Н. Эволюция, система и общерусский языковой тип // Русистика сегодня: Язык: Система и ее функционирование. М., 1988. С. 6.
11. Hall R. A., Jr. Linguistic theory in the Italian Renaissance // Language. 1936. V. 12, № 2, P. 96.
12. Staal J. F. A method of linguistic description: The order of consonants according to Pāṇini // Language. 1962. V. 38. № 1. P. 3.
13. Nooten B. A. van. Pāṇini's replacement technique and the active finite verb // Language. 1967. V. 43. № 4. P. 899.
14. Cardona G. Negation in Pāṇini's rules // Language. 1967. V. 43. № 1. P. 34—56.
15. Aarsleff H. The history of linguistics and Professor Chomsky // Language. 1970. V. 46. № 3. P. 571.
16. Aarsleff H. The study of language in England. 1780—1860. Princeton, 1967.
17. Chomsky N. Cartesian linguistics. N. Y., 1966.
18. Swadesh M. Edward Sapir (Obituary) // Language. 1939. V. 15. № 2. P. 133.
19. Bloch B. Leonard Bloomfield (Obituary) // Language. 1949. V. 25. № 2. P. 87—98.
20. Harris Z. // Language. 1951. V. 27. № 3. Rec.: Selected writings of Edward Sapir in language, culture, and personality.
21. Silverstein M. Closing statement // New perspectives in language, culture, and personality: Proc. of the Edward Sapir Centenary Conference (Ottawa, 1—3 October, 1984). Amsterdam; Philadelphia, 1986. P. 594.
22. Sapir E. The status of linguistics as a science // Language. 1929. V. 5. № 4.
23. Hockett Ch. A system of descriptive phonology // Language, 1942. V. 18. № 1.
24. Robins R. H. Noun and verb in universal grammars // Language. 1952. V. 28. № 3. Pt 1.
25. Lenneberg E. H. Cognition in ethno-linguistics // Language. 1953. V. 29. № 4.

⁹ Такое положение было характерно для структурализма в общенаучном смысле, принятом в гуманитарных науках, таких, как теоретическое литературоведение, антропология и т. п. По времени структурализм только частично пересекается с началом теоретизирующего периода.

26. *Lees R. B.* // *Language*, 1957. V. 33. № 3. P. 375. Rec.: Chomsky N. Syntactic structures.
27. *Lehmann W. P.* Subjectivity // *Language*. 1974. V. 50. № 4. P. 627.
28. *Halle M.* Confessio grammatici: The presidential address delivered at the Golden Anniversary Meeting of the Linguistic Society of America in New York, 29 December 1974 // *Language*. 1975. V. 51. № 3. P. 525.
29. *Percival W. K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // *Language*. 1976. V. 52. № 2.
30. *Lakoff R. T.* // *Language*. 1978. V. 54. № 2. P. 392. Rec.: Edelson M. Language and interpretation in psychoanalysis.
31. *Fodor J. D.* Semantics: Theories of meaning in generative grammar. N. Y., 1977. P. 103.
32. *Yngve V. H.* Linguistics as a science. Bloomington, 1986.
33. *O'Grady W.* Principles of grammar and learning. Chicago; London, 1987. P. XI.
34. *Swadesh M., Voegelin C. F.* A problem in morphological alternation // *Language*. 1939. V. 15, № 1.
35. *Bloomfield L.* Twenty-one year of the Linguistic Society // *Language*. 1946. V. 22. № 1. P. 3.
36. *Bloch B.* A set of postulates for phonemic analysis // *Language*. 1948. V. 24. № 1. P. 5.
37. *Bloomfield L.* A set of postulates for the science of Language // *Language*. 1926. V. 2. P. 143—144.
38. *Chomsky N.* Barriers. Cambridge (Mass.), 1986. P. 2.
39. *Chomsky N.* Logical syntax and semantics: Their Linguistic relevance // *Language*. 1955. V. 31. № 1. pt 1.
40. *Bar-Hillel Y.* Indexical expressions // *Mind*. 1954. V. 63.
41. *Aronoff M.* Contextuals // *Language*. 1980. V. 56. № 4.
42. *Halle M., Mohanan K. P.* Segmental phonology of modern English // *Linguistic inquiry*. 1985. V. 16. № 1.
43. *Garvin P.* Computer participation in linguistic research // *Language*. 1962. V. 38. № 4.
44. *Shapiro M.* Explorations into markedness // *Language*. 1972. V. 48. № 2. P. 343.
45. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 14.
46. *Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С.* Американский структурализм. // Основные направления структурализма. М., 1964.
47. *Bloomfield L.* Language or ideas? // *Language*. 1936. V. 12. № 2.
48. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968. С. 47.
49. *Sebeok T.* // *Language*. 1943. V. 19. № 2. P. 196. Rec.: Tihany L. C. A modern Hungarian grammar.
50. *Bloomfield L.* Secondary and tertiary responses to language // *Language*. 1944. V. 20. № 1. P. 52—53.
51. *Spitzer L.* Answer to Mr. Bloomfield // *Language*. 1944. V. 20. № 4.
52. *Hatcher A. G.* Syntax and the sentence // *Word*. 1956. V. 12.
53. *Katz J. J.* Mentalism in linguistics // *Language*. 1964. V. 40. № 2. P. 126.
54. *Fodor J. A., Bever T. G., Garrett M. G.* The psychology of language: An introduction to psycholinguistics and generative grammar. N. Y., 1974.
55. *Зевгинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976. С. 63.
56. *Демьянков В. Э.* Специальные теории интерпретаций в вычислительной лингвистике. М., 1988.
57. *Auwera J. van der.* Language and logic: A speculative and condition-theoretic study. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
58. *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929. С. 41—50.
59. *Weiss A. P.* Linguistics and philosophy // *Language*. 1925. V. 1. № 2. P. 52.
60. *Chafe W.* Language and symbolization // *Language*. 1967. V. 43. № 1. P. 57.
61. *Heath J.* Some functional relationships in grammar // *Language*. 1975. V. 51. № 1.
62. *Shapiro M.* Russian conjugation: Theory and hermeneutic // *Language*. 1980. V. 56. № 1. P. 67.
63. *Haiman J.* The iconicity of grammar: Isomorphism and motivation // *Language*. 1980. V. 56. № 3.
64. *Russell B.* An inquiry into meaning and truth; The William James lectures for 1940 delivered at Harvard University. L., 1940.
65. *Gamkrelidze T. V.* The problem of 'l'arbitriare du signe' // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 102.
66. *Whorf B. L.* The punctual and segmentative aspects of verbs in Hopi // *Language*. 1936. V. 12. № 11. P. 130.

67. *Hill J. H.* Possible continuity theories of language // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 134.
68. *Woodbury A. C.* Meaningful phonological processes: A consideration of Central Alaskan Yupik Eskimo prosody // *Language*. 1987. V. 63. № 4. P. 685.
69. *Frishberg N.* Arbitrariness and iconicity: Historical change in American sign language // *Language*. 1975. V. 51. № 3. P. 696.
70. *Robertson J.* From symbol to icon: The evolution of the pronominal system from Common Mayan to Modern Yucatecan // *Language*. 1983. V. 59. № 3. P. 529.
71. *Osgood Ch., Richards M. M.* From Yang and Yin to *and* or *but* // *Language*. 1973. V. 49. № 2.
72. *Chafe W.* Language and consciousness // *Language*. 1974. V. 50. № 1. P. 111.
73. *Kay P., McDaniel Ch. K.* The linguistic significance of the meanings of basic color terms // *Language*. 1978. V. 54. № 3. P. 610.
74. *Berlin B., Kay P.* Basic color terms, their universality and evolution. Berkeley; Los Angeles, 1969.
75. *Aginsky B., Aginsky E.* The importance of language universals // *Word*. 1948. V. 4.
76. *Greenberg J. H.* Synchronic and diachronic universals in phonology // *Language*. 1966. V. 42. № 3. P. 511.

РЕЦЕНЗИИ

Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М.: Наука, 1988. 239 с.

Автор книги не нуждается в рекомендациях, его работы по этнолингвистике, диалектологии, фольклору в течение трех десятилетий находятся в центре внимания современного славяноведения. Тем больший интерес должна вызвать рецензируемая книга, посвященная тому разделу науки, который оказался в последние годы одним из основных для отечественной филологии и в который вклад автора также весьма значителен.

Возникнув как учебный предмет высшей школы, история литературного языка приобретает понемногу научный авторитет. Ее самоповелеющее значение заключается в глубине и всеобъемлющей точности характеристик языка отдельных текстов на всем протяжении истории письменности, в оценке вклада отдельных авторов, групп или жанров в развитие повествовательных и изобразительных средств национальной речи, в общей разработке социолингвистической ситуации различных эпох. В качестве дисциплины история литературного языка, с одной стороны, открывает пути для постижения культурно-социальной истории общества, выражающейся через язык и через отношение к языку, а с другой стороны, предлагает критерии для филологической оценки источников по исторической лингвистике, развитие которой в последнее время замедлилось, вероятно, именно из-за нехватки такого рода критериев.

Книга Н. И. Толстого появилась в такой момент, когда высказано немало противоречивых и взаимоисключающих суждений по истории русского литературного языка, когда в среде специалистов ценятся не столько усилия по неспешной разработке материала, сколько новые концепции, способные по-новому осветить уже имеющийся материал. Оценка книги в этих условиях связана с ее содержанием, к рассмотрению которого мы и обратимся.

В книге пять разделов, они связаны между собой последовательным развитием методологической концепции исторического изучения феномена литератур-

ного языка: типология славянских литературных языков, их внутренняя взаимосвязь, возникновение и развитие славянской письменности в связи с этническим и культурным состоянием эпохи, формирование литературных языков нового времени у южных славян, история изучения славянских литературных языков.

Первый раздел открывается главой «Славянские литературные языки и их отношение к разным языковым идиомам (стратам)» (с. 8—27), содержащей опыт типологической классификации славянских литературных языков. Сходную попытку Д. Брозовича [1] автор признает не вполне удачной из-за того, что в ней перемешаны синхронные и диахронные признаки, а рядом с простыми признаками выведены сложные, сводимые к ряду простых (с. 11—12). Это справедливо, но кажется, можно было бы согласиться с Д. Брозовичем в том, что как маркированные должны быть оценены свойства литературного языка совмещать в литературной норме дублеты, обладать независимостью от фольклорной стилистики, развитостью устных форм литературной речи,— все они свидетельствуют о большей «литературности», стандартности литературного языка.

Предложенная Н. И. Толстым система типологических универсалий для характеристики славянских литературных языков представляет собою итог большой работы, она основана и на собственном исследовательском опыте автора, и на достижениях отечественной филологической традиции в изучении литературных языков, в частности — что важно отметить — она принципиально близка взглядам В. В. Виноградова (см. особенно [2]). Я позволю себе перечислить эти универсалии, чтобы еще раз привлечь к ним внимание читателей и иметь возможность выразить в отдельных пунктах несогласие, к чему призывает сам автор (с. 14).

Н. И. Толстой насчитал в общей сложности 19 признаков, объединив их в четыре группы. Первая содержит восемь признаков синхронного (имеется в виду «современного», «наличного») лингвисти-

ческого аспекта: характер диалектной базы, наличие фольклорной койне, наличие обиходно-разговорной разновидности, наличие территориальных вариантов литературного языка, степень стабильности нормы, наличие просторечия или городской койне, наличие автономных литературных языков, функциональная поливалентность. Здесь не все равноценно. Например, комментарий не оставляет полной ясности в отношении того, с чем следует отождествлять «разговорно-обиходную разновидность»: с «субстандартом» Д. Брозовича, которому отводится промежуточное положение между диалектами и устной формой литературного языка, или же как раз с этой последней? В первом случае встает вопрос, как отличить эту разновидность от просторечия (наличие которого как самодовлеющей лингвистической системы в рамках русского языка, безусловно, вызывает сомнения), во втором случае — не сводится ли дело к степени развития поливалентности. Наличие малых литературных языков характеризует, как представляется, не литературный язык, рядом с которым они существуют, а самое социолингвистическую ситуацию в данном ареале. Признак «стабильности/нестабильности нормы» является не альтернативным, а градуальным (у Д. Брозовича «сосуществующие/поляризованные дублеты»), что вызывает затруднение при обращении к нему.

Вторая группа содержит четыре признака диахронического лингвистического аспекта: сохранение традиции, непрерывность исторического развития, неизменность диалектной базы в процессе развития, давность литературного языка.

В третью группу входят три признака историко-культурного аспекта: гомогенность/негомогенность двуязычия, двуязычие/диглоссия, наличие/отсутствие культурных центров. По первому признаку славянские земли делятся на *Slavia orthodoxa* и *Slavia latina*; второй мне представляется всего лишь потенциальным, потому что даже в юго-западной Руси XVII в., где развитие зашло дальше всего, дело ограничилось лишь тенденцией к формированию двуязычия. Для третьего признака в комментарии (с. 24) предусмотрено наличие одного или нескольких центров, но вовсе не полное их отсутствие, так что признак этот может оказаться градуальным.

Четвертая группа образована четырьмя признаками этнокультурно-филологического аспекта: взаимообусловленностью языковой ситуации и системы литературных жанров, взаимообусловленностью структуры фольклора и народно-поэтической койне, соотносенностью литературно-языковой ситуации с народной

духовной культурой, наличием социально обусловленных разновидностей языка и литературы.

В главе «К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его стандартности» (с. 27—33) в дополнение к предыдущему характеризуется связь между историей формирования нормы литературного языка и его стилистическими возможностями. В ходе сопоставительного описания феноменов «стандартный литературный язык» и «стандартность» выясняется, в частности, что для русского литературного языка основная стилистическая характеристика лексических средств связана с хронологическим аспектом (архаичность/неархаичность), тогда как в сербскохорватском главную окраску слову дает его локальная приуроченность.

Второй раздел открывается главой «К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян» (с. 34—52). Смысл ее сводится к тому, что православное славянство с IX по XVIII вв. обладало единым литературным языком, в качестве которого выступал язык церковнославянский. Впервые опубликованная в 1961 г. в «Вопросах языкознания» статья под таким названием определила новую эпоху в изучении языка древней славянской и русской письменности. Н. И. Толстой первым и в крупном масштабе применил пражскую концепцию литературного языка к разработке исторического материала, при этом он обратился не к предьстории какого-либо национального литературного языка, существующего и ныне, а к языку мертвому, который хотя и дожил до сложения славянских наций и участвовал в становлении национальных языков, но выполнив эту высокую миссию, вновь замкнулся в тех пределах, в которых он и возник в IX в. — в пределах языка церковного богослужения, языка священного. С начала славянской филологии в XVIII в. церковнославянский язык был в центре научного внимания, им занимались конъектуральная филология, лексикология и лексикография, младограмматика, индоевропеисты, открыть в нем новую грань — социолингвистическую действительность — было, безусловно, нелегко. Убедительная интерпретация истории церковнославянского языка как языка литературного, анализ всей общеславянской средневековой культуры показали, что изучение истории русского литературного языка вне типологии средневековых литературных языков и вне языковой ситуации во всем славянском мире не может привести к адекватной лингвистической теории и к правильному описа-

нию предмета. К сожалению, в последующие годы вопреки ожиданиям распространение получили обскурантистские теории автохтонного происхождения литературного языка Древней Руси, которые, изолируя Русь в культурном отношении, ставили в изоляцию и самое отечественную русистику. Предложенная Н. И. Толстым гибкая схема включения международного литературного языка славянского средневековья в культурно-языковую ситуацию каждого отдельного региона может уточняться в деталях, но принципы ее представляются неизбежными.

Не получили до сих пор полного освоения и соответствующего научного развития высказанные здесь мысли о том, что церковнославянский язык имел внутреннюю лингвистическую историю (с. 41) и что периодизация литературного языка строится на других основаниях, чем периодизация языка диалектного (обиходного) (с. 43).

Между тем термин «древнеславянский литературный язык», предложенный здесь вместо термина «церковнославянский язык» и получивший одобрение таких знатоков дела, как Н. А. Мецкерский и М. М. Копыленко [3, 4], мне не кажется достаточно удобным уже потому, что приходится говорить о «среднедревнеславянском» (с. 39) или «среднеславянском периоде» древнеславянского литературного языка (с. 37). Новый термин, включая в свой состав указание на функцию этого языка — «литературный», может навязать представление о том, что церковнославянский язык всегда и везде за свою многовековую историю был языком литературным. Но ведь язык этот возник как священный, он был предназначен для церковно-литургического применения, лишь в ходе развития письменности он приобрел ранг литературного языка у славян православных, тогда как у славян католиков остался исключительно в церковном употреблении, так что, например, хорваты-глаголиты в качестве собственно литературных языков использовали итальянский язык и народную хорватскую речь. Как уже упоминалось, в эпоху сложения национальных литературных языков церковнославянский язык вновь замкнулся в рамках церковно-литургического применения. Конечно, существование в условиях средневековья литературного языка с единственной коммуникативной функцией мы считаем нормальным, но в таком случае предпочитаем и именовать его по этой функции — «русский деловой». Функции церковнославянского языка менялись на протяжении тысячелетия, но неизменно и непременно за ним сохранялась одна функция — языка церковного богослужения.

Мне думается, что новый термин был предложен Н. И. Толстым в тот особый исторический момент, когда занятия церковной культурой, церковной литературой и церковным языком казались в нашем обществе предосудительными. Тогда же Л. П. Жуковская ввела в употребление уникальный эвфемизм «тексты традиционного содержания» для обозначения св. Писания. Следует благодарить подвижников исторической науки за преданность истине в трудных обстоятельствах. Горько сознавать, что за недостатки наших трудов ответственность нередко несет эпоха.

Глава «Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода» (с. 52—87) дает лаконичный, но содержательно полный анализ социолингвистической ситуации в юго-западной Руси XVI—XVII вв. на основе очень большого материала. Показывается функциональное распределение трех одновременно существовавших здесь литературных языков — церковнославянского, польского и простой мовы. Выясняется, что для первых опытов построения национальной культуры может использоваться старое наследие средневековья — в данном случае церковнославянский язык. В свете этой выразительно очерченной картины, мне кажется, недостаточно отметить, что появление грамматики Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого, Острожского братства вызвано было кризисом церковнославянского языка. Одновременно в этом регионе во множестве издаются грамматики новых литературных языков — чешского, польского, словенского, хорватского, перечень которых приводит Н. И. Толстой (с. 71—72), в этом ряду следует рассматривать и названные церковнославянские грамматики. Кризис охватил лишь традиционное положение церковнославянского языка, но зато вызвал попытки возвести его в ранг национального литературного языка, придать его нормам стабильность путем кодификации (довольно искусственного, разумеется, характера). В сходных условиях в Санкт-Петербурге в начале XVIII в. переиздавалась грамматика Мелетия Смотрицкого, в Сербии во второй половине того же столетия с такой же целью обращаются к церковнославянскому языку (об этом идет речь в четвертом разделе книги). Громадное достижение Н. И. Толстого заключается в том, что он уловил и описал несогласованность, разновременность, имеющие место в ходе исторического становления национального самосознания, национального литературного языка и нации как таковой. Вероятно, опережающее развитие самосознания неизбежно, потому что как раз ему в даль-

нейшем приходится выступать в качестве созидательного фактора всего сложного и многостороннего процесса.

Глава «Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв.» (с. 87—108) описывает последний этап истории церковнославянского языка, когда он стал вытесняться в разных частях славянского мира вновь складывавшимися национальными литературными языками. Автор делает важное наблюдение над характером влияния русского литературного языка на литературные языки сербов и болгар: «У сербов и тем более у болгар мы не наблюдаем полной проекции русского литературно-языкового состояния XVIII в. Проецировалось на южнославянской почве преимущественно то, что было связано с многовековой церковнославянской традицией и что было в своей далекой основе южнославянским» (с. 93).

В главе «Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.)» (с. 108—127) приведены взгляды восточнославянских (Зиновия Отенского, Нила Курлятева, Никиты Добрынина-Пустосвята, игумена Ильи и справщика Григория), южнославянских (Константина Костенецкого, Юрия Крижанича), западнославянских (Матвея Меховского) филологов на природу церковнославянского языка. Язык этот именуется и славянским, и сербским, и русским, но не отождествляется ни с одним местным диалектом, а рассматривается как межрегиональный и литературный. Публикую эту главу в виде статьи в 1976 г., Н. И. Толстой первым в отечественной науке оценил важность языкового вопроса — *Questione della lingua*, — т. е. истории языковой полемики и совокушности прямых высказываний по социолингвистическим проблемам для характеристики природы и судеб литературного языка в его истории.

Две главы следующего раздела «Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян» и «Роль кирилло-мефодиевской традиции в истории восточно- и южнославянской письменности» (с. 128—140, 140—153) раскрывают значение церковнославянского языка, его письменной формы, в частности и алфавита, для становления этнического, исторического и национального на его раннем этапе самосознания, для консолидации этнических и культурных сил. В центре внимания здесь стоят периоды создания славянской письменности и алфавита, деятельности терновско-редавской школы, второго южнославянского влияния на Русь, православно-като-

лической полемики XVI—XVII вв. на западнорусских землях.

Четвертый раздел (с. 154—209) включает в себя шесть небольших глав, посвященных истории формирования национальных литературных языков у южных славян — словенского, сербскохорватского и болгарского. Речь идет о событиях XVIII—XIX вв., внимание исследователя сосредоточено на двух вопросах: 1) почему при формировании нормы побеждает тот или иной вариант? 2) каково наследие церковнославянского языка в норме трех южнославянских литературных языков? А ведь это историческое наследие наложило свой отпечаток и на результаты деятельности Вука Караджича, провозгласившего по видимости полный разрыв с традицией, но в действительности освобождение от нее не было полным. «В этом разделе очень выразительно проявляется историко-филологическое дарование автора, его умение выявить среди исторического хаоса центральные события и придать их исследованию принципиальное теоретическое значение. Протицирую несколько конкретных мыслей и наблюдений, заключающих в себе максимум исторической социолингвистики: «В преднациональный период соперничество форм с отдельными окказиональными или провизорными нормами достигает апогея, а прекращение такого соперничества можно считать началом функционирования единого национального литературного языка» (с. 155); «Отрыв от традиции у южных славян (...) диктовался, как правило, внелингвистическими причинами: стремлением а) в минимально короткий срок сделать новый литературный язык орудием культуры широких масс (временной момент), б) пойти на сближение с соседними этническими зонами в целях максимального территориального распространения нового национального литературного языка и сделать его орудием культуры не одной только нации (локальный момент)» (с. 163); «Одновременное употребление двух или больше норм (...) не создает конкуренции норм, оно обуславливает их известную иерархию» (с. 187); «...*Путь Вука*» не был ни легким, ни проторенным. Но только так можно было выполнить важную социальную задачу — как можно быстрее вовлечь широкие народные массы в создание национальной культуры, облегчить им усвоение литературного языка и по возможности преодолеть пропасть между языком сельских диалектов и языком литературы. „Славяносербский“ язык имел очень узкую социальную базу: им пользовались круги, близкие ко двору митрополита, священники и отдельные представители городской буржуазии» (с. 195). Социолингвистической

истории русского литературного языка еще далеко от столь точных и столь конкретных оценок.

Особое место здесь занимает глава «Отношение древнесербского книжного языка к старославянскому языку (в связи с развитием жанров в древнесербской литературе)» (с. 164—173), где перечислены 14 основных жанров древнесербской письменности и установлена их связь с определенными языковыми формами. А именно: церковно-конфессиональные жанры существовали только на церковнославянском языке, часть жанров допускала языковое смешение и меньшую выдержанность церковнославянской нормы (например, хождения), деловая и бытовая письменность целиком относятся к сфере народного сербского языка. В целом эту классификацию громадного материала можно признать удачной, значение ее выходит за рамки сербской письменности, она применима и к восточнославянской литературной традиции. Но эта схема, как и всякая другая, вносит в сложный материал большую определенность, чем от него можно ожидать. Едва ли иерархия жанров была действительно строгой, и можно быть уверенным, что агнография иерархически располагалась выше панигирика, а Физиолог выше Номоканона. Самой схеме, графически изображающей иерархию жанров, придана форма треугольника или пирамиды (с. 167, 168), как если бы каждый верхний ярус обладал меньшим объемом текстов, образующих его. Я думаю, что нельзя выводить за рамки церковной (конфессиональной) письменности историческую и повествовательную литературу, ибо такие произведения, как История Иудейской войны, Варлаам и Иоасаф, могли рассматриваться как сочинения из области священной истории и учительной литературы соответственно. Апокрифы как жанр единством не обладают: библейские апокрифы стоят очень близко к каноническим книгам св. Писания и по происхождению, и по литературным особенностям, и по языку; апокрифическая гадательная письменность резко отличается от них своими сниженными литературными и языковыми чертами. Можно сомневаться и в том, что деловая и бытовая письменность создавали с конфессиональными жанрами единую иерархическую систему и что основой всей пирамиды служила устная народная словесность. В. О. Ключевский, например, считал, что в средневековом обществе — в частности, в России — церковь и государство представляли собою две параллельные автономные иерархии [5].

В последний раздел книги входят два этюда по истории разработки славянских литературных языков: «Взгляды В. В.

Виноградова на соотношение древнерусского и древнеславянского литературного языка» (с. 210—220) и «Мысли Н. С. Трубецкого о русском и других славянских языках» (с. 220—235). Он интересен не только квалифицированным анализом трудов двух выдающихся русских филологов, но и той оценкой, которую дает Н. И. Толстой своим научным предшественникам в избранной им области исследования.

Обзор содержания рецензируемого издания позволяет сделать вывод, что автор попытался воплотить свой план создания всесторонней истории одного литературного языка и воплотил его на материале церковнославянского языка. Почти все главы, вошедшие в книгу, публиковались в том или другом виде (указание на этот счет, а также перечень других работ Н. И. Толстого по славянским литературным языкам даны в конце издания), их объединение теперь наглядно показывает, что Н. И. Толстым исподволь совершенно монографическое изучение судеб церковнославянского языка от его возникновения до времени растворения в новых национальных литературных языках. Нужно добавить, что своими работами Н. И. Толстой придал значительное движение изучению церковнославянского языка как языка литературного и в особенности привлек внимание к его региональным изводам (см., например, недавние работы [5; 6]). Для полного завершения предложенного автором плана необходимы дальнейшие усилия, потому что объем неизученного материала — прежде всего языка отдельных церковнославянских текстов — еще очень и очень велик. Современное литературоведение, изучая древнерусскую, древнеболгарскую, древнесербскую и т. д. литературу, как будто не замечает существования литературы церковнославянской (обшчеславянской) и возникающих при этом научных задач. Как видим, среди филологов-лингвистов есть лица, способные рассмотреть соответствующую проблематику во всей ее универсальности. Обрисовав место международного литературного языка славянского средневековья в общеславянской культуре и в социолингвистической ситуации каждого славянского региона, Н. И. Толстой убедительно показал, что попытки создания полноценной истории русского литературного языка на всем протяжении исторического бытования письменности у восточных славян останутся тщетны до тех пор, пока не будет написана история языка церковнославянского.

Можно было бы упрекнуть автора в том, что он не высказал своего отношения к другим концепциям истории литературного языка, появившимся в послед-

ние годы: имею в виду прежде всего подход к феномену литературного языка с позиций исторической диалектологии, с одной стороны, и с позиций теории диглосии, с другой. Полемический момент мог бы привести к большей четкости в определении ключевых понятий. Ведь в историческом аспекте пражский подход к литературному языку все еще выдвигает немало трудностей. Свойства современного литературного языка — омнифункциональность, стилистическая дифференцированность, кодифицированность, общеобязательность — теряют свое конкретное очертание и даже меняют свое существо, когда исследователь пытается проследить их более или менее отдаленную историю, установить их истоки.

Теперь мы как будто не путаем понятия «литературный язык» и «язык литературы» (с. 29), но, говоря о литературном языке средневековья, часто не уверены, относятся ли к его источникам деловые документы и св. Писание, т. е. тексты, не претендующие на художественную занимательность. И даже в трудах наиболее выдающихся исследователей нашего литературного языка с этим не все ясно. Теория В. В. Виноградова о двух типах литературного языка опиралась на летопись, летописную повесть, переводные хронографы, а это — наиболее беллетризованные жанры славянской средневековой письменности. Н. С. Трубецкой полагал, что «собственно литературным языком оставался все же язык церковнославянский», а не деловой, и Н. И. Толстой сочувственно цитирует эти слова (с. 228). Сам автор, говоря о средневековье, противопоставляет «литературный» и «разговорный» языки (с. 39, ср. также с. 199), приравнивая литературный к письменному, а эпитет «священный» применительно к языку употребляет в определении литературному: «...т. е. нормированный, функционально отличный от народно-разговорного языка как всякий литературный язык, в известной степени искусственный и в эпоху средневековья ареально-интернациональный...» (с. 35).

Вопрос о стилистической дифференцированности и общеобязательности в употреблении заменяется для донационального литературного языка вопросом об обусловленности языковой формы, в которую воплощен текст, его жанром и содержанием, — и этот вопрос у Н. И. Толстого хорошо разработан в главе о классификации сербских средневековых текстов (см. выше). Но как быть со стилистической нагрузкой, скажем, церковнославянских и русских языковых средств в составе летописного текста? Попытки рассматривать их как высокие и низкие в стилистическом смысле все

еще широко распространены в среде историков языка.

В отношении кодификации автор сделал важное историческое наблюдение: роль нормативного кодекса в эпоху до появления грамматик играла книжная справа, что можно назвать текстологическим путем стабилизации нормы (с. 72—73). Позднее было обращено внимание на то, что образцовые тексты вроде Евангелия, Псалтыри исполняли свои кодификационные функции и при создании новых текстов, и даже просто при переписке [8], и Н. И. Толстой согласился с таким расширенным пониманием механизма текстологической кодификации [9]. В связи с этим вопросом автор очень уместно отмечает, что при отказе от образцовых текстов — а в условиях православного славянства это значило отказ от традиционной славянской версии св. Писания — возникали узкие локальные нормативные тенденции у славян, исповедовавших мусульманство, католицизм или протестантство (с. 42).

Однако основная теоретическая трудность возникает при определении хронологических границ литературного языка, за чем скрывается особо значимый вопрос о тождестве объекта самому себе. Считать ли, что возникновение новых литературных языков национального периода происходит постепенно путем накопления литературными языками средневековья особых качеств и что этот процесс приводит в какой-то момент к появлению нового по своей сути феномена — национального литературного языка? Осуществляется ли этот процесс в условиях историко-лингвистической непрерывности или же разные состояния литературного языка характеризуются дискретностью? Напротив, можно полагать, что литературные языки средневековья и национальные литературные языки всегда не тождественны по своей природе и что народ, вступая в национальный период своего развития, оставляет один литературный язык и вырабатывает другой.

Судя по четырем признакам диахронического лингвистического аспекта, названным в первой главе книги (перечень их дан выше), и по комментарию к ним (с. 22), автор признает возможным перерастание литературного языка средневековья в литературный язык национальной эпохи. Он даже выносит на обложку книги слова Н. С. Трубецкого о том, что русский литературный язык представляет собою модернизованную и обрусевшую форму церковнославянского языка. Мне представляется, что этот афоризм о перерождении одного литературного языка в другой противоречит пражскому учению о социальной и исторической обусловленности литературных языков,

о их внутреннем единстве, равно как и авторской концепции о церковнославянском языке как международном литературном языке православных славян средневековья. Сходное суждение Н. С. Трубецкого приведено и в тексте книги (с. 227), но, к счастью, Н. С. Трубецкой не последователен, и на с. 230 мы находим его слова о том, что «...современный русский литературный язык получился в результате прививки (<...> церковнославянского языка — к „дичку“ разговорного языка правящих классов государства». В таком случае русский литературный язык отнюдь не входит в континуум с языком церковнославянским. Можно лишь гадать, почему чуть ли не всем нам со времени А. А. Шахматова свойственны колебания в этом пункте.

Перечисленные вопросы теории и типологии применительно к истории литературных языков еще ждут своего полного освещения, но в книге Н. И. Толстого сделан первый и громадный шаг вперед в осуществлении этой задачи. Кроме того, книга ставит перед филологической наукой три актуальные задачи: 1) усвоение и дальнейшее развитие отечественной традиции изучения литературных языков; 2) создание полной истории церковнославянского языка как языка литературного; 3) построение истории национального литературного языка в виде комплексной дисциплины с лингвистическими и культурологическими методами и результатами. Автор прокладывает или намечает путь к решению этих вопросов, что не должно остаться бесследным для повышения общего уровня исследования и осмысления соответствующего материала.

В отношении технического исполнения книги, нужно выразить сожаление ее небольшим по нашим книгоиздательским масштабам, несмотря на важность темы, тиражом — 2800 экземпляров, наличием нескольких серьезных опечаток, связанных главным образом с путаницей в римской цифри (крещение Сербии отнесено на с. 129 к XI в., рукопись жития Саввы Освященного — к XVIII в., с. 214, конец праславянских процессов — X—XI вв., с. 223). Почти отсутствуют внутренние ссылки, а преобладают отсылки к первым изданиям статей, вошедших в качестве глав в книгу. Книге суждена долгая жизнь, и эти недостатки тем более досадны.

Автору свойственна широта и восприимчивость, он связан с этимологией, почему в книге появился не только своеобразный и ценный раздел, но и термин «сакральный», более пригодный все же для тех, кто изучает языческие ритуалы; он связан с современной структуральной культурологией, откуда идет выражение *Rachslavia orthodoxa* (нам, впрочем, уже при-

шлось отметить, что для типологии литературных языков продуктивность этой концепции невелика [10]), но более всего видна в книге связь с отечественной филологической традицией, представленной в данном случае именами А. С. Будиловича, А. А. Шахматова, Н. С. Трубецкого и особенно В. В. Виноградова. Это сказывается не только в выборе темы, перемещении идей, но и в особом духовном родстве, в тождественной мере культурных ценностей, которой свойственна серьезная и честная любовь к изучаемому предмету и великая терпимость к разному мнению. От такого наследия не отказываются, и книга Н. И. Толстого заполняет пустоту, оставшуюся в науке и во всей русской культуре после смерти В. В. Виноградова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брозович Д. Славянские стандартные языки и сравнительный метод // ВЯ. 1967. № 1.
2. Виноградов В. В. Литературный язык // Краткая литературная энциклопедия. М., Т. 4. 1967. С. 323—331.
3. Мещерский Н. А. Древнеславянский — общий литературно-письменный язык на раннем этапе культурно-исторического развития всех славянских народов // Вестник ЛГУ. 1975. № 8.
4. Копыленко М. М. Как следует называть язык древнейших письменных памятников? // Советское славяноведение. 1966. № 1.
5. Ключевский В. О. Соч. Т. 6. М., 1959. С. 327.
6. Dell'Agata G. Unità e diversità nello slavo ecclesiastico: il punto di vista del copista // *Studia slavica mediaevalia et humanistica* R. Picchio dicata, V. 1. Roma, 1986.
7. Живов В. М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания / Под ред. Горшковой К. В., Хабургаева Г. А. [М.], 1988.
8. Едличка А. Проблематика¹ нормы и кодификация литературного языка в отношении к типу литературного языка // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах: Докл. на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам. 22—25 октября 1974 г. М., 1976. С. 19.
9. Толстой Н. И. Литературный язык у сербов в XVIII веке (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. М., 1979. С. 166.
10. Алексеев А. Языковой вопрос у славян // *Russian linguistics*. 1986. Т. 10. P. 311.

Алексеев А. А.

Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987. 560 с. (Языковеды мира); *Trubetzkoy N. S. Opera slavica minora linguistica* 1988. 344 S. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. 509. Bd)

Прошло более полувека со дня смерти Н. С. Трубецкого (1890—1938), основоположника фонологии, неиссякаемого генератора лингвистических идей, одного из пионеров лингвистического мышления XX века. Между тем интерес к его научному наследию не затухает, а, пожалуй, напротив, возрастает. Об этом свидетельствует издание двух сборников его работ, вышедших в свет почти одновременно. Первый опубликован в Москве, на родине ученого, второй — в Вене, где он работал с 1922 по 1938 г.

Московский сборник составили В. А. Виноградов и В. П. Нерозник, венский — внучка Николая Сергеевича Варвара Александровна Кюнелът-Леддин в сотрудничестве с М. Труммером. Составители, а также редакторы (Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов и Н. И. Толстой) первого сборника стремились по возможности полнее отразить многогранную филологическую деятельность Трубецкого, включив в свое издание переводы с немецкого, французского и польского языков (перепечатки русских изданий занимают незначительное место). Здесь находим работы по общему, индоевропейскому и славянскому языкознанию (I раздел, с. 11—232), отдельно по кавказскому языкознанию (II раздел, с. 233—345), поэтике и метрике (III раздел, с. 346—407). Сборник сопровождается обширными комментариями (с. 408—491), подробный очерк о жизненном пути и научной деятельности Трубецкого (с. 492—519), список его филологических трудов (с. 520—523) и указатели.

Состав публикации второго сборника (издатели — Ст. Хафнер, Ф. Мареш, М. Труммер и В. Кюнелът-Леддин) отражает основную деятельность профессора славистики Венского университета, слависта, выдающегося исследователя исторической фонетики славянских языков, глубоко проникшего в эпоху их «доисторического» развития, основоположника фонологии. Он представляет собой собрание фототипических копий изданных в то время работ с сохранением и прежней пагинации (сюда вошли статьи на немецком, французском, а также русском языках).

Содержательный и строго сбалансированный очерк о Н. С. Трубецком, гениальном ученом и выдающемся человеке, составили для Московского сборника Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов и Н. И. Толстой (Послесловие, с. 492—519). К известной широким кругам наших языковедов характеристике Трубецкого как

фонолога (ср. [1, с. 326 и сл.]), одного из зачинателей ареальной лингвистики, впервые сформулировавшего понятие языкового союза, а также кавказоведа-компаративиста, здесь присоединяется его характеристика как специалиста по теории стиха и поэтике, фольклориста, финноугроведа-этнографа и культуролога. Русский читатель с удовлетворением убеждается в том, что основоположника фонологии можно считать и основоположником науки об истории литературного языка, прежде всего — русского. Кавказовед найдет в очерке справедливую общую оценку кавказоведческого наследия ученого с акцентом на важности пропагандированных им путей и методов сравнительно-исторического изучения языков Кавказа в условиях господства в этой сфере приемов, предлагавшихся Н. Я. Марром и рядом его учеников. *Далее отмечается его неизменное внимание к взаимодействию в истории языков факторов генетического и ареального порядка. Любой очерк подобного рода был бы явно ущербным без указания на особое место, принадлежащее в творчестве Трубецкого его докладу «Мысли об индоевропейской проблеме», идейное богатство которого недооценивается и в современном языкознании в виду ряда содержащихся в нем ошибочных положений. Авторы очерка отмечают, наконец, и значимость работ ученого по поэтике и метрике.

Ст. Хафнер, автор венского очерка о Н. С. Трубецком, сосредоточил внимание читателей на последнем периоде его творчества (с. IX—XXXVIII). Здесь находим некоторые сведения об обстоятельствах, которые привели ученого в Венский университет. Отмечен глубокий интерес Запада к истории рода Трубецких (см. примеч. 9 на с. IX). Ст. Хафнер детально проследил зарождение интереса Трубецкого к истории праславянского языка, развитие идей и представлений о языке и методах его реконструкции. Здесь мы узнаем о трагической судьбе первого и второго вариантов рукописи книги о праславянском языке. «Опыт праистории славянских языков» был сдан на хранение в отдел рукописей Ростовского университета, где в 1919—1920 гг. ученый занимал должность доцента. Материалы второго варианта вместе с архивом Трубецкого после обыска на его квартире и в университете (март 1938 г.) оказались в гестапо (см. с. XIV, XXIII). Характер грандиозного труда, ответственность работы над которым сам Н. С. Трубецкий

сравнивал с «шапкой Мономаха» (с. XXI), просматривается как в сохранившихся письмах ученого, изданных Р. О. Якобсоном [2], так и в материалах, тщательно собранных в рецензируемом сборнике.

С публикацией в переводе основных кавказоведческих исследований Н. С. Трубецкого, разбросанных по трудодоступным (особенно — для специалистов на Кавказе) зарубежным изданиям, читатель получает наглядное представление о передовых рубежах лингвистического кавказоведения 20—30-х годов. Совершенно очевидной становится ведущая роль ученого во внедрении фонологического подхода в описание звукового строя языков Северного Кавказа, а также сравнительно-исторического метода в их диахроническое изучение. По этим переводам нетрудно увидеть, насколько тесно с его именем связана качественно новая ступень в развитии кавказского языкознания, характеризовавшегося до той поры почти исключительно синхронными описаниями языков. Неудивительно поэтому, что ряд кавказоведческих идей Н. С. Трубецкого, например, о важности соблюдения определенной последовательности в решении вопроса о генетических взаимоотношениях автохтонных языков Кавказа, о необходимости опоры в этом исследовании на испытанный инструментарий сравнительного языкознания, о первичности одной серии латеральных согласных в нахско-дагестанских и абхазско-адыгских языках, достаточно актуально звучит и в настоящее время. Только в наши дни можно должным образом оценить героические усилия ученого-кавказоведа, когда в его распоряжении обычно оказывались более или менее фрагментарные и недостаточно адекватные грамматические очерки и записи материала, выполненные его немногочисленными предшественниками (и, тем более — повять издержки его работ, отражавшие начальный этап развития научного кавказоведения).

Перечитывая тексты, изданные фототипическим способом в венском издании, можно проследить, как росла фигура Трубецкого-компаративиста. Они наглядно демонстрируют, как в его творчестве усиливается аспект внутренней реконструкции и относительной хронологии явлений, как историческая фонетика закономерно превращается у него в диахроническую фонологию со все более и более четким представлением о системе и системообразующих связях, внутренней движущей силой которых оказываются фонологические оппозиции и корреляции (ср. статьи о гуттуральных, о депалатализации 1933—1934 гг.). Вместе с тем становится очевидным, что именно историческая фонетика славянских языков слу-

жила ученому важнейшим полигоном апробации его фонологических идей.

Сборник отражает упорные поиски ученым «внутренней логики языковой эволюции», формирование его концепции телеологизма, в которой система рассматривается как важнейший источник саморазвития, самодвижения. Большинство его статей представляет собой своеобразные фрагменты «Опыта праистории славянских языков», работа над которым была начата еще в 1915 г. (см. с. XII), когда Трубецкой прочитал доклад «О методах восстановления праязыка», который произвел, по его словам, впечатление «разорвавшейся бомбы». Еще тогда на заседании Московской диалектологической комиссии он поставил задачу поиска более совершенных методов реконструкции праязыка. Завершает книгу публикация письма Трубецкого Л. Новаку «О словацкой, чешской и русской исторической фонетике» (с. 299—302).

Судя по статьям сборника, опубликованным письмам и планам лекционных курсов, над реализацией плана создания фундаментальной истории праславянского языка ученый работал на протяжении всей своей жизни, так и не успев осуществить его: то пропадала рукопись, то выяснялось, что над книгой необходимо еще и еще работать, согласовав накопленные факты с более совершенной теоретической находкой, то приходилось откладывать любимое детище для срочной организационной работы по фонологии... И, может быть, главным трудом его жизни и должна была стать именно история праславянского языка, в то время как опыты исторической фонетики, полабские штудии, исследования по фонологии и др. оказывались своего рода побочными продуктами производства. В опубликованных очерках можно разглядеть заделы и диахронической фонологии, и диахронической морфологии, теории реконструкции и относительной хронологии, базирующиеся на исходном пункте лингвистического мировоззрения Трубецкого, согласно которому язык всегда представляет собой систему взаимосвязанных элементов, явлений и процессов.

Оба сборника содержат библиографию трудов Н. С. Трубецкого. Весьма тщательно собран и систематизирован список опубликованных работ в венском сборнике (с. XXXIX—XVIII). Все изданные работы здесь распределены по разделам: общее языкознание, фонология и морфология, языковое родство и лингвистическая география, индоевропейское и (отдельно) славянское языкознание, кавказское и неиндоевропейское языкознание, литературоведение, фольклористика, история культуры и др.

Библиография отчетливо свидетельствует о неуклонном росте интереса лингвистов к трудам Трубецкого. Так, в частности, «Основы фонологии» были изданы 7 раз на немецком (1939—1977), 5 раз на французском (1949—1976) и по одному разу на английском (1969), итальянском (1971), испанском (1973), польском (1970), японском (1980) и русском (1960) языках. Вообще чаще издаются и переводятся его фонологические работы. Так, брошюра «Введение в фонологическое описание» (1935), не переводившаяся, впрочем, на русский язык, только на японском языке издавалась трижды (1936, 1964, 1975).

В какой-то мере оба сборника дополняют друг друга (сферу их пересечения составляют лишь восемь статей, воспроизведенных в обоих случаях). Так, в частности, для понимания сущности научной фигуры Трубецкого, его profession de foi, большое значение имеют характеристики, данные им некоторым крупным лингвистам. Редакторы венского издания перечислили опубликованные ученым три некролога: Ватрослава Ягича (1838—1923), с. 191—198 — его предшественника по кафедре славянской филологии в Венском университете, Виктора Поржевинского (1870—1930), с. 262—266 — его наставника по Московскому университету, Эриха Бернекера (1874—1937), с. 316—320 — выдающегося немецкого компаративиста-слависта, ученика Ф. Ф. Фортунатова. В то же время разносторонние материалы московского сборника (равно как и филологическое и нефилологическое наследие Трубецкого, оставшееся за пределами рецензируемых изданий) подчеркивают, что в конечном счете объектом исследований ученого всегда оставался человек в широком спектре проявлений его духовной активности.

Обе рецензируемые книги хорошо изданы. В частности, переводы московского сборника выполнены квалифицированно и, как правило, внимательно отредактированы. Технические погрешности сведены до неизбежного минимума (досадна сохранившаяся на с. 495 опечатка Трубецкого в параллельном обозначении восточ-

нокавказских языков как «лезгино-черкесских»).

Пожалуй, общим недостатком обеих публикаций является отсутствие библиографических данных по литературе о Н. С. Трубецком и о его трудах. Так, в биографических очерках следовало бы, вероятно, упомянуть фундаментальное исследование М. Вьеля [3]. На общем фоне отличающихся своей полнотой библиографий работ ученого в обоих изданиях можно отметить отсутствие в соответствующем списке московского сборника статьи «Ostkaukasische Wörter für „Frau, Weibchen, Gattin“», помещенной В. Дресслером в журнале «Die Sprache» (№ 19, 1 за 1973 г.). Этот сборник вместе с некоторыми предшествовавшими ему другими изданиями серии «Языковеды мира» свидетельствуют, на наш взгляд, о целесообразности продумать единые принципы организации их вспомогательного аппарата (так, едва ли оправданы пространные комментарии — в одном случае почти равные объему публикуемого материала — особенно, когда они отражают субъективную точку зрения комментатора).

В заключение остается подчеркнуть, что выход в свет двух собраний орамина Н. С. Трубецкого составляет значительное событие в лингвистике, отражающее разносторонний и глубокий вклад ученого в нашу науку и констатирующее его приоритет в выдвижении целого ряда идей, плодотворно развиваемых в современном языкознании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Реформатский А. А.* Н. С. Трубецкой и его «Основы фонологии» // Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
2. *Jakobson R.* N. S. Trubetzkoy's letters and notes. The Hague; Paris, 1975.
3. *Viel M.* La notion de «marque» chez Troubetzkoy et Jakobson. Un episode de l'histoire de la pensée structurale. P., 1984.

Журавлев В. К., Климов Г. А.

Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика. Опыт топологической стратификации языковых структур. М.: Наука, 1988. 232 с.

Рецензируемая монография М. М. Маковского является третьей, заключительной частью большого исследования, посвященного диалектике языковых систем. Его первая часть — «Теория лексической аттракции» — вышла в свет в 1971 г., вторая — «Системность и асистемность в языке» — в 1980 г. М. М. Маковский известен своими работами в области общего языкознания, диалектологии, социолингвистики, этимологии, критики и эмендации текста

древних памятников языка. Все эти аспекты лингвистического исследования удачно сочетаются в рецензируемой книге. Она состоит из двух глав (гл. 1 — «Общие проблемы лингвистической комбинаторики», гл. 2 — «Комбинаторные процессы в языке»), а также содержит Примечания, Список сокращений, Литературу, включающую 511 названий, и Аннотацию на английском языке.

Согласно дефиниции автора, *лингвистическая комбинаторика* — это отрасль языкознания, изучающая в рамках лингвистического времени качественные и количественные характеристики как языковых континуумов, так и входящих в них языковых элементов с целью определения возможности (нескольких возможностей или невозможности) и результатов различных видов их взаимодействия» (с. 5). Она включает в себя, в частности, анализ совместимости или несовместимости различных конфигураций, или чертжей (комбинаторных схем), как внутри отдельного слова (точечного континуума), так и между отдельными словоформами, входящими в систему. Значительная роль отводится исследованию категорий свободы и необходимости, прерывности и непрерывности, причин и результатов определенной группировки и перегруппировки отдельных элементов и целостных систем, а также их преобразований: пересечения, наложения, слияния, включения в систему или исключения из нее, свертывания, развертывания.

Значение данной дисциплины, с точки зрения автора, определяется тем, что «комбинаторика пронизывает все звенья и ярусы языковой системы, начиная с более мелких единиц (фонетические элементы слова, морфемы, слова и их значения) и кончая наиболее крупными (предложение, сверхфразовое единство, языковые континуумы — лексемные и семантические), причем оба указанных вида комбинаторики взаимодействуют между собой. ... Именно комбинаторика является основным принципом организации всех без исключения языковых единиц, формой их существования, эволюции и взаимодействия (с. 6).

В плане изучения ? комбинаторики М. М. Маковский считает весьма важными такие свойства элементов и систем, как порядок следования, протяженность, иерархия, функциональный статус, а также смежность и несмежность, влияние одних конфигураций, входящих в систему, на другие (например, наложение и снятие запретов), предел определенных отношений, свойств, связей.

Основным объектом рецензируемого исследования служит слово, которое рассматривается в качестве уникальной комбинаторной единицы, образующейся

путем «сцепления» определенного фономорфологического комплекса с одним или несколькими значениями. Соответственно М. М. Маковский обращает особое внимание на природу комбинаторики «формы» и «содержания» в пределах отдельного слова. В этой связи он ставит следующие вопросы: «чем обусловлены те относительные связи, которые неизменно устанавливаются в языке между материальной формой слова и значениями, каковы те факторы, которые могут нарушить или, наоборот, никак не влиять на эти связи?» (с. 65). В поисках ответа автор, опираясь на результаты исследования, формулирует ряд языковых антиномий. Из них для объяснения относительных связей между материальной формой слова и значениями наиболее существенной представляется последняя, ибо в ней преломляется один из основных системных принципов — иерархичность структурной организации: «каждый языковой элемент или значение отражает и повторяет свойства и структуру как более крупной, так и более мелкой по отношению к ним языковой единицы; в свою очередь свойства и структура данного элемента языка отражаются и повторяются в иерархически более мелких и более крупных языковых единицах. Вместе с тем, однако, любой языковой элемент или значение является уникальной комбинацией качественных и количественных показателей, присущих только данной единице или значению» (с. 68). (Этот вывод М. М. Маковского хорошо согласуется и с результатами моих исследований сегментной и суперсегментной организации слова.)

В то же время автор отмечает противоречивость и многообразие видов структурного взаимодействия формы и содержания в слове. С одной стороны, единицы плана выражения и плана содержания обладают определенной, впрочем, весьма относительной, автономностью, вследствие чего они обычно организуются на основе совершенно различных комбинаторных схем, причем «...комбинаторные схемы одного из этих уровней не могут использоваться в сфере другого» (с. 65). Ввиду указанной автономности семантические и фонетические изменения могут протекать как будто независимо друг от друга. «Известно, что при изменении значения материальная оболочка слов обычно не меняется, при изменении материальной оболочки слова (ср. разного рода подживные формативы, мену гласных и согласных, тмезис и др.) значение не меняется, при одновременном же изменении формы и значения слова происходит его разрыв, образование нескольких новых слов (ср. этимологические дублеты...)» (с. 65—66). Однако незави-

смое, на первый взгляд, изменение либо только звучания, либо только значения — это, согласно М. М. Маковскому, лишь один из видов структурного в а и м о д е й с т в и я формы и содержания, взаимодействия, выражающегося в а п р е т е на изменение формы, если изменяется содержание, и наоборот (с. 36). Высокая частотность и даже «обычность» такого рода запретов, порождающая иллюзию независимости фонетических и семантических изменений, обусловлена необходимостью преемственности и самосохранения языка как средства общения.

С другой стороны, фономорфологические и семантические континуумы в рамках слова «... являются взаимопорождающими, взаимонастраивающими, взаиморегулирующими, взаимомоделирующими, находящимися в отношении дополнительной дистрибуции» (с. 29—30). Само образование слова как комбинаторной единицы состоит в таком сцеплении того или иного фономорфологического спектра с семантическим, при котором они выступают по отношению друг к другу в качестве среды: «форма» слова — это среда для его значения, а значение — среда для его фономорфологической формы. При таком подходе (с моей точки зрения, совершенно правильном) отсутствие « е с т е с т в е н н о й » связи определенного фонетического комплекса с тем или иным значением не может означать отсутствия вообще какой-либо связи между ними. Как показывает М. М. Маковский, значение вл я е т н а фонетический состав слова (налагая определенные ограничения или «запреты» на количество, качество и порядок следования фонетических элементов или, наоборот, снимая такие ограничения), а «форма» слова, фонетический комплекс может оказывать влияние на качественные и количественные характеристики сочетающихся с ним значений. Неслучайно то или иное значение, сочетаемое именно с данным корнем, «ведет себя» иначе, чем при взаимодействии с другим корнем, а словоформа, сочетающаяся с одним значением, «ведет себя» иначе, чем при сочетании с другим значением (с. 10). Точно так же не является случайным тот факт, что одни словоформы могут «пропускать» через себя огромное количество значений, другие же сочетаются со строго определенными значениями; одни значения соотносятся со строго определенными формами, другие же не обнаруживают такой строгости (с. 31, 112—113). Все эти проявления взаимодействия звучания и значения, естественно, заставляют автора усомниться (и совершенно справедливо, на мой взгляд) в правомерности тезиса о произвольности связи между означаемым и означающим.

Поскольку каждое отдельное слово как элемент системы связано определенными отношениями с другими ее элементами, в ней благодаря взаимодействию внутрисловной и межсловной комбинаторики (с. 114) устанавливается известное равновесие словоформ и значений: «... определенное количество словоформ предполагает определенные качественные характеристики значений, которые в них реализуются, а определенное количество значений налагает ограничения на качественные характеристики словоформ, с которыми они сочетаются. Однако в процессе существования языка нарушение количественного баланса на уровне словоформ может привести к глубоким изменениям на уровне семантических связей, а нарушение количественного баланса на семантическом уровне ведет к качественным преобразованиям на уровне словоформ (изменению комбинаторики существующих и возникновению новых словоформ)» (с. 49). На этой основе М. М. Маковский формулирует следующую закономерность: «количество фонетических конфигураций (resp. сред) обратно пропорционально качеству семантических конфигураций (resp. сред), а качество фонетических конфигураций (resp. сред) обратно пропорционально количеству семантических конфигураций (resp. сред)» (с. 49).

Отмеченная автором соотнесенность формально-содержательных характеристик той или иной языковой подсистемы представляется несомненной. Существование такой соотнесенности подтверждается, в частности, анализом акцентных характеристик лексико-семантических категорий слов в русском языке [1]. То обстоятельство, что более близкие в семантическом отношении синонимы чаще имеют различные акцентные характеристики, нежели антонимы, говорит об определенной сбалансированности семантических и фонетических различий. Эти выводы в большей мере совпадают с теми, которые сделаны в рецензируемой книге М. М. Маковского: «нередко близость фонетической стороны языковых единиц сочетается с большей или меньшей отдаленностью их значений друг от друга, а семантическая близость нескольких единиц может сочетаться (в большей или меньшей степени) с несходством их фонетической стороны» (с. 115). Аналогичная обратная пропорциональная сбалансированность отмечается в эволюции разных языковых подсистем. Так, по наблюдениям И. А. Бодуэна де Куртэна, в истории польского языка «в произносительно-слуховой, или фонетической, области количественное мышление слабеет; зато в области морфологии — растет и усиливается» [2]. По данным А. К. Ог-

лоблина, степень эволюции новых малайско-яванских языков сравнительно с древнеяванским по фонологическим и морфонологическим признакам обратно пропорциональна степени их грамматической эволюции [3]. Обратное пропорциональные соотношения одних характеристик могут сочетаться с прямо пропорциональными соотношениями других. Например, в русском языке непроизводные слова с простым морфемным строением обладают обычно более развитой семантической парадигмой [4] и более сложной альтернативной и акцентной парадигмой, чем производные высоких ступеней словообразования со сложным морфемным строением [5, 6].

Как видно, и в эволюции языковых систем, и в их синхронном состоянии действует тенденция к некоторому равновесию комбинируемых разнородных характеристик. Поэтому, если «представить себе язык в виде пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи» [7], то, как указывает М. М. Маковский, «при исследовании языка необходимо учитывать, что в нем тесно переплетаются и по-разному комбинируются несколько различных плоскостей» (с. 48). Изучая изолированно одну какую-либо языковую плоскость (например, только таксономическую) и игнорируя другие, нельзя понять специфику, свойства и признаки каждой из них. При этом следует иметь в виду, что наличие той или иной плоскости языковых явлений (как и определенной языковой категории) вовсе не обязательно связано с представленностью тех или иных показателей (маркеров).

Применительно к слову в языке существует и так называемое комбинаторное словообразование (с. 17—28). Суть его состоит в том, что комбинаторные варианты фономорфологического комплекса, образующиеся путем перестановки и/или чередования фонетических элементов, по отношению друг к другу являются одновременно и семантическими комбинаторными вариантами, представляя в совокупности некое фоносемантическое единство. Это явление, обнаруженное С. С. Майзелем на материале семитских языков [8], развито, как убедительно показал М. М. Маковский, опираясь на основополагающие работы Т. Зибса, Г. Гюнтерта и Ф. Р. Шрёдера, также в п.-е. языках и, по-видимому, представляют собой универсалию. Языковые единицы, образуемые в результате такого словообразования, считаются разными словами и обычно в специальной литературе никак не соотносятся друг с другом¹. Согласно точке зрения автора, основанной на большом фактическом материале, все эти

слова являются результатом комбинаторных преобразований одного и того же фоносемантического комплекса и потому связаны с ним.

Исключительный интерес в этой связи представляет введенное М. М. Маковским разграничение «внутренней» и «внешней» семиотики: под внутренней семиотикой понимаются определенные комбинаторные схемы, действующие в языке и дающие определенные внутренние сигналы, которые предопределяют возможности строго определенного движения (гесп. невозможности движения) и реактивности того или иного отрезка языкового пространства (языковые гены). Внешняя семиотика — это реальное использование языка как знаковой системы в целях коммуникации.

Существование комбинаторного словообразования приводит автора к заключению о том, что в компаративистике при установлении тождества слов в близкой и неблизкородственных языках следует учитывать не только фонетические, но и семантические соответствия, которые могут быть не менее строгими, чем фонетические. Об этом свидетельствуют приведенные в работе семантические спектры, образуемые значениями, которые соотносятся с семантическим элементом «гнуть» и с семантическим элементом «бить» и «резать», «колоть» (с. 36—39). Поскольку «связь и есть переходы» [11], указанные соответствия значений — это не искусственные построения, основанные на произвольных ассоциациях исследователя, «...а установленные на базе строгой эмпирии реалии, выявляемые в процессе сравнительно-исторического анализа семантических преобразований в индоевропейских языках» (с. 39). По мысли автора, «необходимо учитывать, что звуковые законы в значительной мере несут атомистический характер: они не принимают во внимание то обстоятельство, что статус каждого фономорфологического сегмента следует рассматривать только в пределах фономорфологического комплекса (слова), в котором он занимает определенную функциональную позицию, обусловленную не только совокупностью остальных фонетических элементов, входящих в данный комплекс, но и значением» (с. 45). Значительное место отведено в книге

¹ Данные положения М. М. Маковского развивают и уточняют сходные высказывания А. С. Мельничука (в рецензируемой книге имеются ссылки на соответствующие работы). Жаль, однако, что в монографии М. М. Маковского отсутствует ссылка на весьма важную в этом отношении книгу А. С. Мельничука [9], а также на работу Х. Карстина [10].

и исследованию комбинаторных процессов в языке. Рассматриваются следующие процессы: замещения, взаимодействия (реакции) нескольких материальных и смысловых элементов, перестановки (перемещения) и, наконец, определенные изменения последовательности слов и значений. Кроме того, подробно анализируются процессы дезинтеграции и интеграции.

Что касается процесса дезинтеграции, то здесь большой интерес представляют приводимые автором акрофонетические и акросиллабические образования в английском и французском языках (особенно в английском сленге и во французском арго). Весьма показательна в плане дезинтеграции слов история готского глагольного префикса *ga-*. В свое время М. М. Маковский провел монографическое исследование этого готского префикса [12] и обнаружил, что этот префикс не являлся грамматическим (видовым) показателем и использовался факультативно. В настоящей монографии автор развивает свою концепцию. По его мнению, *ga-* в готском исторически представляет собой осколок самостоятельного слова, ранее использовавшегося в качестве вспомогательного элемента в конструкции с другим (полнозначным) глаголом.

В целях изучения процесса интеграции и во второй главе рассматриваются случаи слияния индоевропейских корней, в частности, в пределах числительных первого десятка. Исследование проводится на основе словаря Ю. Покорного [13]. В ходе анализа М. М. Маковский строго следует не только известным фонетическим закономерностям, но и определенным семасиологическим переходам, некоторые из которых устанавливаются им впервые. Фонетические и семасиологические закономерности в построениях автора уравнивают и взаимно корректируют друг друга. Тем не менее автор считает обнаруженные им слияния корней гипотетичными. Он далек от мысли, что приводимые в работе амальгамы являются единственно возможными, и на ряде примеров показывает, что одна и та же амальгама может состоять из разных корней.

Во всех своих построениях М. М. Маковский исходит из тезиса Э. А. Макаева о динамическом [14] (а не статическом, как у Э. Бенвениста) характере индоевропейского корня. В соответствии с этим сложение и разложение корней является неотъемлемой формой существования и эволюции языковых единиц. В формулировке автора взаимодействие корней подчиняется следующим закономерностям:

«Не все корни (т. е. относительно ус-

тойчивые фомоморфологические комбинации) могут вступать друг с другом в реакцию в том или ином порядке следования. В некоторых случаях слияние корней ведет к возникновению у результирующих комбинаций запрета на дальнейшие реакции со всеми другими корнями или с какой-то частью корней, обладающих теми или иными качественно и/или количественно определенными свойствами или признаками. В других случаях, наоборот, слияние корней может привести к снятию запретов на соединение корней, ранее невозможное.... В индоевропейских языках обнаруживается весьма ограниченный инвентарь исходных корней, вступающих в реакцию и дающих все многообразие известных корневых комбинаций (речь идет о таких, например, корнях, как **bhāu-*, „schneiden“, **mai-*, „schneiden“, **geu-*, „biegen“, **rei-*, **reu-*, „reißen“, **lei-*, „biegen“, **leu-*, „schneiden“). Комбинация ограниченного числа корней дает и целую гамму значений, представленных в языке» (с. 129). В своей книге М. М. Маковский показывает, что одними из наиболее древних значений в индоевропейской были значения «бить, резать» и «гнуть». Так, на с. 36 приводятся 47 значений, восходящих к «гнуть», а на с. 37—39 даются 112 значений, производных от значения «резать».

Большое внимание уделяется в работе исследованию лингвистического времени. По определению М. М. Маковского, «лингвистическое время — это один из важнейших параметров существования языковых структур, неравно проявляющийся в развитии языковых континуумов в зависимости от их структурных свойств и действующих на них внутриязыковых и экстралингвистических факторов, ускоряя или замедляя эти процессы или нейтрализуя их» (с. 118). В работе установлен ряд закономерностей действия лингвистического времени и, в частности, обосновано понятие показателя стабильности. Значение этих закономерностей проистекает из того, что «возраст» языковых единиц чрезвычайно важен для понимания их сущности: характер ограничений и условия их снятия на различных этапах жизни языковых единиц неодинаковы, причем на более поздних этапах развития нередко повторяются закономерности, свойственные более ранним периодам.

В заключение следует особо подчеркнуть, что теоретические положения автора являются, как правило, всесторонне и глубоко аргументированными, ибо основываются на огромном фактическом материале из многих и -е. языков (в книге использованы примеры более чем из 100 древних и новых языков: см. с. 213—

214). При этом М. М. Маковский дает много оригинальных этимологий различных индоевропейских слов с привлечением фактов материальной культуры и мифопоэтической символики индоевропейцев. Ср., например, этимологии таких слов, как нем. *Blut* «кровь» (с. 80—82), русск. диалектн. *menamь* «бить» (с. 75—77), англ. *broad* «широкий» (с. 77) и др. Вполне естественно (и это подчеркивает сам автор), что приводимые в книге этимологии являются не окончательными решениями, а лишь гипотезами, правда, подкрепленными большим фактическим материалом. Понятно, что при всей своей привлекательности гипотезы эти могут оказаться более или менее дискуссионными.

К сожалению, в книге имеются опечатки (на с. 15, 32, 80, 180 и др.) и допущен ряд неточностей. Так, на с. 3 приводится цитата из статьи В. И. Абаева «О фонетическом законе», напечатанной в сборнике «Язык и мышление» (т. I, М., 1933, с. 7—8), а ссылка дается на первый том «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В. И. Абаева. На с. 32 дана ссылка на «Этимологический словарь древнеисландского языка» Ф. Хольтхаузена, а в списке литературы этой работы нет. На с. 133 рассматриваются апеллятивы, соотносимые с числительным «три». К сожалению, здесь не приводится др.-инд. *stri* «женщина», которое, видимо, является парным словом, состоящим из **seu-* «рожать» и **trei-* «создавать, рождать» (ср. др.-англ. *teors* «membrum virile», лат. *industria*, др.-сев. *þroask* «расти» и др.). Можно было бы привести и русск. *торопиться* (типологически ср.: русск. *спешить* — *успех*; нем. *folgen* — *Erfolg* и др.).

Оценивая рецензируемую монографию М. М. Маковского в целом, нельзя не отметить, что, как и две предыдущие книги автора, принадлежащие к тому же циклу, она вносит весомый вклад в развитие общей лингвистической теории и в разработку конкретных этимологических, социолингвистических и лингво-исторических проблем. Особенно интересен фактический материал, подаваемый в нетрадиционном ракурсе. Можно надеяться, что данный труд найдет живой отклик у специалистов и будет способствовать решению философских проблем языковедения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федюнина И. А. Акцентуация синонимических рядов имен существительных в русском языке (К проблеме корреляции звучания и значения в слове): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
2. Бодуэн де Куртене И. А. Очерк истории польского языка // Бодуэн де Куртене И. А. Избр. тр. по общему языковедению. Т. II. М., 1963. С. 304—305.
3. Оглоблин А. К. Малайско-яванские языки, их строй и эволюция: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1988. С. 28—29.
4. Ермакова О. П. Словообразовательная цепь в семантическом аспекте // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
5. Зубкова Л. Г. О соотношении звучания и значения слова в системе языка (К проблеме «произвольности» языкового знака) // ВЯ. 1986. № 5.
6. Зубкова Л. Г. Единство внутреннего и внешнего в звуковой форме слова // ФН. 1988. № 5.
7. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семантические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
8. Майзель С. С. Пути развития корневого фонда семитских языков. М., 1983.
9. Мельничук А. С. Этимологическое гнездо с корнем *vei-* в славянских и других индоевропейских языках. Киев, 1978.
10. Karstien H. Infixe im Indogermanischen. Heidelberg, 1972.
11. Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» // Полн. собр. соч. Т. 29. С. 162.
12. Маковский М. М. Функции и значения глагольного префикса *ga-* в готском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1955.
13. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
14. Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970.

Зубкова Л. Г.

Новая книга В. Н. Телия — известного в нашей стране и за рубежом специалиста по фразеологии и лексической семантике — посвящена много исследованной, но мало исследованной до сих пор проблеме коннотации. Давно занимаясь проблемами семантики фразеологизмов и связанного значения слова [1], а также проблемами косвенной номинации [2], автор не мог обойти проблему экспрессивно окрашенного сознания (коннотации), неизменно сопровождающего семантику идиом, тропов — дериватов слов и устойчивых выражений различных типов.

Многочисленные специальные работы, содержащие попытки разобраться в феномене коннотации [3], и еще более многочисленные работы, в которых эта проблема рассматривалась попутно, не дали пока сколько-нибудь удовлетворительных ответов на многие вопросы, которые встают при разработке теории коннотации. С выходом книги В. Н. Телия ситуация в этой сфере лингвистики меняется. Автору удалось сделать очень многое в изучении онтологии, формирования и функционирования коннотации в процессах коммуникации и шире — в прояснении места и роли субъективно-модального «наслоения» в семантике языковых сущностей. Не останавливаясь на структуре монографии В. Н. Телия, рассмотрим главное — суть предлагаемой концепции.

В. Н. Телия аргументированно возвращает внимание лингвистической мысли к незаслуженно забытой, хотя далеко еще не исчерпавшей себя проблеме внутренней формы в связи с динамическим аспектом описания коннотации (с. 12, 13, 20, 51, 112, гл. III). Много места уделено в книге и проблеме экспрессивности. Это тоже не случайно: по концепции В. Н. Телия, коннотация всегда экспрессивна (с. 3); другими словами, она и есть выражение экспрессивности (с. 101). Среди вопросов, так или иначе рассматриваемых в данной монографии, можно назвать следующие: типология модальностей, характерных для языковых сущностей, содержащих коннотацию (с. 24—29); специфика оценочного, мотивационного, эмотивного и стилистического «макрокомпонентов» значения, вместе создающих экспрессивный эффект (с. 48 и сл., 56, 63—65, 122); роль этих макрокомпонентов в прагматическом содержании высказываний и текстов (с. 30—31); типология национально-культурных стереотипов, квазистереотипов и символов как мотивирующих коннотацию оснований

(с. 45—47); особенности техники лингвокреативного мышления и его ассоциативных механизмов, рассматриваемых в связи с формированием и функционированием коннотации (с. 90 и др.); типология метафор (с. 80—81); проблемы лексикографического описания коннотации (с. 126 и сл.). По всем этим проблемам, актуальным для современной семантики, В. Н. Телия предлагает оригинальные теоретические решения и практические рекомендации, что делает ее книгу заметным событием в теоретической лингвистике.

Коннотация определяется как семантическая сущность, особый макрокомпонент значения языковых единиц, выражающий эмотивно-оценочное и стилистически маркированное отношение говорящего (т. е. субъекта речи) к действительности, на основании чего это значение получает экспрессивную окраску (экспрессивный эффект) (с. 5, 20 и др.); коннотация является продуктом эмоционально-оценочного восприятия и эмотивного отображения действительности в процессах номинации (с. 21, 56); она всегда оценочна и вместе с тем — эмотивна (с. 36); она содержит в своем составе средства для идентификации субъекта коннотации и субъекта речи (говорящего), поэтому она всегда субъективно ориентирована (с. 34, 39). В этом В. Н. Телия усматривает антропологический аспект коннотации, т. е. соизмеримость картине мира говорящего. Коннотация квалифицирует то, что описано в семантике языковой единицы как класс объектов (денотация) вместе с рациональной оценкой обозначаемого (с. 120), поэтому денотация и оценка всегда предваряют коннотацию (с. 24—25, 37). Фундаментом (мотивирующим основанием) коннотации является внутренняя форма — экспонент тропа или символа, выступающих в качестве стереотипов; на это мотивирующее основание и «наслаивается» эмотивная модальность (согласно концепции В. Н. Телия, она — обязательный компонент коннотации); к последней подключаются и модальности стилистического регистра (с. 48). Именно внутренняя форма является, по мнению автора, связующим звеном между объективным содержанием и его рациональной оценкой — с одной стороны, и субъективной модальностью эмотивного типа — с другой (с. 74—79, 109). Коннотация ассоциативна по природе и пресуппозитивна по источникам (с. 92—97). Коннотативная «добавка» не является в экспрессивно окрашенных значениях механистическим приращением: она пе-

реводит эти значения в класс характеризующих (с. 120).

Надстроечная структура коннотации, по мнению автора рецензируемой монографии, включает следующие компоненты: 1) мотивирующее основание (внутренняя форма — ассоциативно-образное представление или форма «внешняя» — некоторая необычность звукоряда), 2) эмоционально-оценочная модальность, занимающая вершинную позицию в структуре коннотации, 3) стилистическая маркированность. Среди формальных примет коннотации В. Н. Телия называет вторичность номинации, переосмысление, осознаваемое по внутренней форме и по нестандартному для «прямого» значения сочетанию, а также необычность для данного языка звукового облика единицы (с. 95).

Предлагаемая концепция коннотации суммативно сформулирована автором следующим образом: «...коннотация — это довольно сложное семантическое построение. Оно состоит из гетерогенных компонентов, подготавливающих экспрессивный эффект посредством отсылки к внутренней форме, интерпретируемой в данной лингвокультурной общности как квазистерейтип, посредством личностно-прагматической интерпретации обозначаемого — его одобрения или неодобрения (во всей гамме мотивных оттенков), образующих содержание иллюкутивной модальности, которую мы и считаем смысловой вершинной экспрессивной окраски, а также посредством стилистической маркировки наименования, поскольку оно предстает как не-нейтральное...» (с. 134). Такую модель коннотации можно считать достаточно достоверной. Она является результатом комплексно-целевого подхода с учетом множества данных смежных с лингвистикой наук и точек зрения советских и зарубежных лингвистов, так или иначе связанных с анализом этого сложнейшего объекта лингвистики (см. обширный список литературы на с. 136—142).

Однако вряд ли все моменты данной концепции могут истолковываться однозначно. Так, например, автор приравнивает коннотацию к экспрессивной окрашенности значения. Эта мысль неоднократно повторяется на протяжении всей книги, равно как и мысль о том, что основной функцией коннотации является «...функция воздействия, непосредственно и неразрывно связанная с прагматикой речи» (с. 21). Наши многолетние штудии этой проблемы показывают, что эмоционально окрашенная лексика (эмотивы) сигнализирует прежде всего о социальном, т. е. кодированном, эмоциональном отношении говорящего к миру. Естественно, что оно выражается в экспрессивной форме, но при этом вовсе не обяза-

тельно преследует цель вызвать определенную поведенческую реакцию реципиента (см. подробнее [3]). Выражение такого отношения может быть просто «выпуском эмоционального пара» говорящего субъекта. В случаях так называемых аффективов типа *Кошмар! Застрепаться и не встать!* и т. п. речь, по нашему мнению, должна идти не о коннотации, а об особом эмотивном значении, которое выражает только сильные эмоции без каких-либо иллюкутивных намерений. В этой связи уместно заметить, что коннотация является лишь одним из средств экспрессивизации слова, высказывания, текста. Прагматический эффект, как показывает анализ многообразных речевых актов, достигим не только с помощью коннотации. Видимо, жесткой детерминации между коннотацией и прагматикой нет.

Определяя экспрессивность слова или выражения как выделенность в нем субъективного отношения говорящего к миру в результате наложения эмотивной модальности на оценочную, т. е. признавая экспрессивность фактом языка (с. 110), В. Н. Телия пишет: «...нет экспрессивности вообще вне речи (экспрессивно окрашенные значения как «банк данных», характерные для определенного словаря, никого не впечатляют и ни к чему не призывают)...» (с. 135). Но если коннотация — это экспрессивная окраска, и если экспрессивности нет вне речи, то как же получается, что «...коннотация, являющаяся принадлежностью лексического значения и напоминающая „свернутый“ по смыслу подтекст, имеет определенную, обычно узувально зафиксированную структуру и правила комбинации элементов?» (с. 135). Ср. собственные примеры автора: *безмозглый* (с. 33), *головорез* (с. 32), *сборище* (с. 60), *горлан*, *документик*, *грянуля*, *мамуля* (с. 70—71) и мн. др. В книге следовало бы более точно описать механизмы актуализации компонентов коннотации, особенно такого «шифтера», как *говорящий считает, что...*, чтобы пояснить коннотацию «в действии» как актуализацию ее системной организации.

Автор пишет, что сложность построения коннотации «...компенсируется той логической простотой, которая позволяет считать предлагаемую модель коннотации достоверной...» (с. 134). Однако эта простота описывается в целом ряде случаев довольно сложно. Несколько орнаментально выглядят и такие термины, как «экстериоризация» (с. 47), «параметрипостаси» (с. 80) и некот. др. 1

Эти, равно как и возможные другие критические замечания, никак не влияют на общую научную ценность монографии В. Н. Телия. Впервые в области лексической и фразеологической семантики

осуществлен анализ сложного семантического феномена, в результате которого с учетом данных психологии, психолингвистики, философии, семасиологии, стилистики и прагмалингвистики вскрыт механизм формирования коннотации, показана ее онтология, семантическая структура, формальные сигналы, механизмы ее работы и эффект ее применения. Огромный и безупречный иллюстративный материал книги повышает убедительность аргументации выдвигаемых автором идей.

Книга В. Н. Телия ценна также четко выделенной и сформулированной проблематикой дальнейших исследований. В частности, В. Н. Телия обращает внимание на необходимость возвратиться к изучению внутренней формы на материале разных типов лексического значения; исследовать взаимодействие эмотивно-оценочной модальности и стилистической маркированности; описать стилистический статус и стилистическую функцию экспрессивно окрашенной лексики и ее коннотативности; с позиции новых данных о коннотации проанализировать и классифицировать средства и способы формирования и функционирования кон-

нотации в тексте и подтексте. Данным перечнем актуальной проблематики В. Н. Телия как бы направляет интересы лингвистов по руслу не познанного еще в тематике коннотации.

По своей концептуальной значимости монография явно превышает свой объем, и поэтому читатели вправе ожидать от В. Н. Телия специальных книг о метафоре, об экспрессивности и модальности, о которых автором высказано попутно с рассматриваемой проблемой много интересных соображений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Телия В. Н.* Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1980.
2. *Телия В. Н.* Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.
3. *Шаховский В. И.* Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

Шаховский В. И.

Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi. Rīga: Zinātne, 1986. 435 lpp.

Бергмане А., Блинкена А. Развитие латышской письменности. Исследования в области истории латышского литературного языка. Рига: Зинатне, 1986. 435 с.

Коллектив Отдела литературного языка Института языка и литературы им. А. Упита АН ЛатвССР под руководством чл.-корр. АН ЛатвССР А. Я. Блинкены в течение более чем двух десятилетий занимается изучением истории латышского литературного языка. В коллективной работе, в отличие от многих других исследований истории литературных языков, рассматриваются явления латышского языка системно по их уровням; она планируется в нескольких книгах. Вышла в свет первая из них — «Развитие латышской письменности», в печати находится вторая — «Развитие морфологической структуры латышского литературного языка».

История латышского литературного языка как самостоятельная отрасль балтийского языкознания сложилась в послевоенные годы. Всесторонне поэтапно изучать историю латышского литературного языка начал А. Озол¹. В 1961 г. вышла его монография «Язык латышских

народных песен», а в 1965 г. — «Старолатышский письменный язык» (обе книги на латышском языке).

На необходимость разработки истории латышского литературного языка и латышской письменности указывал еще в 1933 г. Я. Эндзелин. Говоря о задачах латышских языковедов, он писал: «И на конец снова надо издать некоторые из старых письменных памятников... и основательно изучать наши первые тексты. В связи с этим необходимо создать и историю латышского письменного языка и орфографии» [1].

В названных монографиях А. Озол охарактеризовал истоки латышского литературного языка в двух его проявлениях: язык латышских народных песен и так называемый старолатышский письменный язык, создателями которого были главным образом немецкие священники (XVI в. — до середины XIX в.). Развитие элементов языка и письменности в работах А. Озола прослеживается по хронологическим периодам. Исследование же истории латышского литературного языка языковедами АН ЛатвССР ведется по уровням. История письменности выделена отдельно. При таком подходе конкретные

¹ До него уже было немало исследований в этой области, например, работы А. Биленштейна, К. Мюленбаха, Я. Эндзелина, П. Шмита, Л. Берзиньша, А. Аугсткалнса и др.

изменения в фонетике, морфологии, синтаксисе прослеживаются более рельефно. Сказанное можно отнести и к развитию графетики², орфографии, пунктуации и т. д.

Поскольку построение истории латышского литературного языка начинается с изучения старинных источников, возникает необходимость адекватно идентифицировать графические знаки и знать их фонетические соответствия, которые в течение четырех столетий сильно изменились.

А. Бергмане и А. Блинкаена проследили в своей книге развитие латышской письменности, начиная с первых известных памятников XVI в. до печатных текстов наших дней, проанализировав одновременно принципы нормирования письменного языка в историческом аспекте.

Содержание книги шире, чем об этом говорит заглавие, так как кроме графики, орфографии и пунктуации в ней рассматриваются также становление норм орфоэпии, история интонации слога, ударения, состав и развитие фонем, т. е. показано не только развитие письма, но частично и самого языка.

Работа А. Бергмане и А. Блинкаены представляет интерес с методической и методологической точек зрения при решении общетеоретических проблем письма. Она имеет и несомненное практическое значение, так как проведенное исследование дает возможность по-новому взглянуть на некоторые спорные проблемы истории латышского литературного языка и с большей объективностью решить ряд практических вопросов нормирования латышского языка.

Во введении авторы касаются проблемы истоков латышского литературного языка, ставшей в последнее десятилетие предметом острых языковедческих дискуссий. Так, согласно одной из двух противоборствующих точек зрения, текстам, написанным нелатышами (XVI—XIX вв.), отказывается в статусе памятников литературного языка. Авторы книги (и не только они) придерживаются иного мнения: письменный язык предшествующих столетий они рассматривают как неотъемлемую ступень в истории латышского литературного языка, считая, что без ее учета и определения ее места в процессе развития литературного языка не может быть адекватного представления о современном литературном языке как продукте четырехвекового исторического развития.

² Под графетикой авторы понимают набор письменных знаков, отражающих только фонемный состав языка, в отличие от графики, включающей в себя всю совокупность письменных знаков данного языка (буквы, знаки препинания и др.).

Далее авторы пишут: «В отличие от многих других языков, даже, например, от близкородственного литовского языка, начало латышского литературного языка более сложно. Современный литературный язык складывается из слияния двух разнородных потоков — один из них живой язык народа, особенно язык устного творчества, преимущественно язык народных песен, второй — старолатышский письменный язык, который постепенно создавали и шлифовали нелатыши. Когда в середине XIX в. поднялась волна национального движения, образованная часть латышского народа стала проявлять заботу о развитии национального литературного языка, опираясь как на традиции письменного языка, созданного нелатышами, так и на лучшие образцы живого языка народа. Со слиянием обоих потоков и начался новый этап латышского литературного языка — латышский национальный литературный язык как объединяющее начало формирующейся латышской нации, язык которой был призван отражать общность национальной культуры...» (с. 13).

Чтобы оценить данную концепцию, необходимо обратиться к общей теории литературных языков, с одной стороны, и проанализировать конкретную ситуацию развития литературного языка — с другой. Общим методологическим положением, применимым к трактовке истории латышского литературного языка, А. Блинкаена считает мнение В. В. Виноградова о необходимости проследить литературные языки «на всем протяжении их истории, а не только на ее новом и тем более только на ее новейшем этапе; необходимо преодолеть широко наблюдающуюся тенденцию ограничивать изучение литературного языка одним XIX—XX вв. Лишь изучение этого языка в движении на протяжении всей доступной нам истории отдельных языков дает возможность определить масштаб проблемы литературного языка» [2].

Итак, основными истоками современного латышского языка авторы признают: а) народный разговорный язык, б) язык фольклора, особенно язык народных песен, в) письменные памятники, начиная с XVI в. Однако не все эти компоненты действовали одновременно и в равной мере отражают процесс развития литературного языка в различные хронологические периоды. Так, народная разговорная речь представляет надежные данные для истории литературного языка, но она удовлетворительно зафиксирована лишь на небольшом отрезке развития языка. Фольклор отражает, к сожалению, преимущественно древние времена, хотя сам его язык может быть образованием и более позднего времени.

Самые надежные памятники — письменные, они к тому же закреплены и хронологически. Поскольку в XIV—XIX вв. они писались главным образом латышскими, их научная ценность нередко ставилась под сомнение. Однако исследования последних годов доказывают, что эти письменные памятники не только можно, но и должно использовать для построения истории литературного языка. По этому поводу в свое время Я. Эндзелин писал: «Эти тексты нам чужды не своим языком, а написанием» [3]. В старолатышских текстах можно распознать разговорный язык того времени и зачатки различных стилей. Начиная с XVII в. эти тексты сознательно обрабатывались в стремлении создать единый литературный вариант языка, ограниченный от говоров. Исследование А. Бергмане и А. Блинкены подтверждает приведенную оценку текстов старолатышской письменности.

На фоне современной летонистики рецензируемая работа представляет более основательно и детально разработанную концепцию многих актуальных вопросов современной языковой практики. В ряде случаев диахронические наблюдения над узусом письменности обосновывают статус современных норм. Так, например, оказывается, что написание слов *bibele* «библия», *dievs* «бог» со строчной буквы отнюдь не является отражением современной установки, а имеет столетнюю давность.

В книге показано, как латышская письменность отражает освоение новых фонем [f], [h], [o], [õ] и исчезновение отмирающих [r]. Так, буква и соответствующая ей смягченная фонема [r] многие десятилетия является объектом спора — включать или не включать ее в состав фонем современного латышского литературного языка и, следовательно, в алфавит. Из описания истории r и [r] явствует, что в текстах XVI в., где для многих фонем нет еще установившегося графического обозначения, трудно сказать что-либо определенное об употреблении и распространении [r] в этот период (с. 126). В XVII в. уже появляются знаки для обозначения смягченного [r] в текстах Г. Манцелиуса (1638), Х. Адольфи (1685), в первом издании Библии (1685—1694), во втором издании Библии (1739) и др. Г. Ф. Стендер букву r помещает рядом с буквой r как в своей грамматике (1783), так и в азбуке (1787). В грамматике О. Розенбергера (1830) также говорится об употреблении согласного [r] вместо [r].

Но все же в употреблении буквы r с XVIII в. до первых десятилетий XX в. нет последовательности даже в одном и том же тексте. Такой разницей, по мнению А. Бергмане, говорит о том, что «непоследовательность в употреблении буквы r

в это время отражает не только иногда не улавливаемую нелатышскими палатализациями согласного r, но и свидетельствует о том, что в латышском языке палатализованный звук [r] уже начинает заменяться твердым [r]» (с. 127). Г. Баар, будучи хорошим знатоком фонетики (он первым предложил вариант новой латышской орфографии, близкой к современной), в 1847 г. заметил, что звук r в латышском языке обнаруживает тенденцию к исчезновению или заменяется твердым r [4].

В конце XIX — начале XX в. с целью сохранить исчезающий звук делается попытка установить принципы употребления [r] и [r]. Их в виде четко сформулированных правил находим в грамматике Я. Эндзелина и К. Мюленбаха (1907). Однако уже в это время появляются высказывания в пользу изъятия из алфавита смягченного r. Возражая этому, Я. Эндзелин в 1908 г. пишет: «Несмотря на то, что звук r во многих местностях уже исчез, его следы ощущаются во всех говорах, поэтому латышская грамматика без него никак не может обойтись» [5]. Несколько десятилетий спустя он признает, что «реанимированный в письменном языке r сохранился [в произношении. — Р. Я.] только в западных говорах» [6].

В конце 30-х — начале 40-х годов было принято несколько орфографических решений, касающихся «судьбы» [r] в литературном языке. Так, в 1938 г. Комиссия правописания запрещает смягчать r, в 1939 г. допускает факультативность его употребления, а в 1940 г. признает, что смягченный r следует употреблять согласно системе грамматики, однако в тех случаях, где система языка смягчения не требует, допустить факультативное употребление [r], например: *jūra/jūra* «море», *barot/barot* «кормить».

Правило] употребления на письме [r] оставалось в силе до 1945 г., хотя во многих говорах [r] уже не было и его не употребляло большинство говорящих на литературном языке. Поэтому в 1946 г. употребление на письме r было отменено. Такое решение является закономерным следствием естественного развития языка.

В работе А. Бергмане и А. Блинкены тщательно прослеживается развитие латышской графетики, орфографии, употребления прописных букв и пунктуации. Много внимания уделено описанию развития графики.

Первые тексты латышской письменности, как известно, печатались готическими буквами, обычно фразатурой, а начиная с XVII в. появляется антиква. И только с 40-х годов XX в. фразатура полностью заменяется антиквой, оптимально отражающей звуковую систему латышского языка. Разработан также алфавит,

который почти в совершенстве удовлетворяет всем требованиям рациональной графики: каждая фонема соответствует одна буква; каждая буква обозначает одну фонему. Исключения единичны. К таким нарушениям принципа можно отнести передачу буквой *o* заимствованных фонем [o], [õ] (*foto* [fotõ]) и дифтонга [ua]; кроме того, фонемы [z] и [ž] обозначаются диграфами *dz* и *dž*.

Во второй половине XIX в. спорадически появляются попытки употребления кириллицы. Еще в 1830 г. О. Розенбергер рекомендует некоторые буквы, например, *sch*, *sch*, *tsch*, заменить русскими буквами *ж*, *ш*, *ч*. Это предложение тогда не было принято, но в 60-х и 70-х годах XIX в. вышли отдельные книги, в которых был использован русский алфавит, например, сборники латышских народных песен, составленные Я. Спрогисом (1857) и Ф. Бривземниексом (1873).

В 80-х годах в губерниях Прибалтики проводилась политика русификации, русский язык был объявлен официальным языком, в том числе в школе как язык обучения; в русских газетах появились статьи, предлагающие использовать для латышского языка русский алфавит. Но эти идеи не нашли поддержки на практике, поскольку кириллица недостаточно адекватно отражает латышскую фонетическую систему.

Анализ развития латышской пунктуации дается в культурно-историческом плане в сравнении с системами пунктуации тех языков, с которыми латышский язык имел контакты;

Показывая развитие употребления знаков препинания, формирование нормы и ее колебания, автор раздела А. Блинке не навязывает свою точку зрения, а дает возможность читателю самому делать сравнение и выводы. Исследование показывает, что пунктуация, как и письменность в целом, в начале развивается стихийно, основываясь главным образом на интуиции пишущего или подражая образцам других языков. В начале развития письма знаков препинания было немного, со временем их число увеличилось; более разнообразным стало их употребление. До середины XVIII в. отсутствовали указания или рекомендации по употреблению знаков препинания. Это было главным образом делом мастера типографии.

История латышской письменности показывает, что развитие системы пунктуации идет параллельно с изучением грамматической структуры языка. Поэтому в латышской пунктуации изначально доминирует грамматический принцип пунктуации, внедрению которого способствуют и ближайшие контактные языки — русский и немецкий, в которых также основ-

ным является грамматический принцип пунктуации.

Описание истории пунктуации затрагивает всю актуальную проблематику этой области; решение спорных вопросов автор доверяет самим фактам языка, не навязывая читателю своего мнения, что создает ощущение большой достоверности. С другой же стороны, при таком подходе нередко остается невыраженной точка зрения автора и рекомендуемая им норма.

В заключение хочется напомнить одно обстоятельство, отмеченное Д. Нитиной [7]. Д. Нитина в рецензии на данную работу пишет: «...задача А. Бергмане затрудняет тот факт, что фономорфологическая система латышского языка недостаточно исследована, как это, например, сделано в литовском языкознании (в работе А. Гирджаниса „Фонология“ и др. исследований)» [7]. Остановившись на недостатках рецензируемой работы, следует заметить, что в отдельных случаях недостаточно акцентирован нормативный аспект рассмотренных явлений. Слишком скупо дан обзор истории развития графетики, что впрочем, компенсируется богатым иллюстративным материалом — копиями текстов различных периодов. В рецензируемой работе сохранено традиционное написание фонем [ie] и [uo], хотя последний компонент обеих фонем (или, как их называет Я. Лоя, — сложных гласных) ближе к звуку *a*. Поэтому в их транскрибировании более целесообразно было бы использовать знаки *ia* и *ua*, как это рекомендовали еще Г. Баар (1847), М. Вилломсон (1860) и К. Биезбардас (1874). Такое отражение названных фонем, на наш взгляд, целесообразно методически и при составлении учебников латышского языка для тех, для кого латышский язык не является родным.

В целом монография заслуживает самой положительной оценки. Она показывает, как в течение многих столетий развивалась и совершенствовалась латышская письменность и как постепенно сложилась современная литературная письменная норма. Теоретический аспект работы А. Бергмане и А.¹ Блинкены послужит стимулом к дальнейшему изучению истории письменности балтийских языков, а также решению практических вопросов латышской письменности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Endzelins J.* Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi // Darbu izlase. III sēj. 2 daļa. Rīga, 1980. Lpp. 108.
2. *Виноградов В. В.* Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967. С. 37—38.

3. *Endzelins J.* Latviešu valoda // Darbu izlase. III sēj. 2. daļa. Lpp. 248.
4. *Baar G.* Über die in der lettischen Sprache vorkommenden Leute und deren einfache Bezeichnung durch die Schrift // Magazin der Lettisch-Literarischen Gesellschaft. 1847. Bd 9. St. I. S. 31.
5. *Endzelins J.* Arī drusku par ortogrā-

fiju // Darbu izlase. II sēj. Rīga, 1974. Lpp. 34.

6. *Endzelins J.* Latviešu valodas skaņas un formas. Rīga, 1938. Lpp. 54.
7. *Nitiņa D.* Nozīmīgs pētījums latviešu literārās valodas jomā // Latvijas PSR ZA Vestis. 1987. № 10. Lpp. 134.

Розенберг Я. Я.

Милославский И. Г. Краткая практическая грамматика русского языка. М.: Русский язык, 1987. 286 с.

Книга И. Г. Милославского называется «Краткая практическая грамматика русского языка». Определители «практическая» и «краткая» автором обосновываются так: практическая грамматика, так как в ней дана «постановка только... вполне конкретных задач» (с. 15); краткая грамматика, так как в ней по обсуждаемым задачам «часто называется лишь ограниченный перечень возможных решений» (с. 15). Название данной грамматики можно было бы дополнить еще и определителем «функциональная» (грамматика), так как она построена именно как функциональная в двух ее основных разновидностях или аспектах — активном и пассивном: «Грамматика „от формы — к значению“» (ч. II, пассивный аспект) и «Грамматика „от значения — к форме“» (ч. III, активный аспект). Так же соотносятся между собой части IV и V, но только применительно к письму: часть IV — «Как правильно произнести написанное» (пассивный аспект письма), часть V — «Как правильно записать услышанное» (активный аспект письма). Первую часть книги — «Русские слова. Их разряды и грамматические характеристики» — можно признать вводной. Есть также собственно Введение и Заключение.

По своему построению и содержанию это совершенно новый тип описания грамматики и письма русского языка. Активная и пассивная грамматики в их противопоставленности и взаимной дополнительности известны главным образом лишь в теоретическом осмыслении, их практическая реализация представлена впервые. Состав и конкретные формы этих грамматик могут, видимо, варьироваться, но и первый опыт их представления заслуживает внимания и высокой оценки.

Адресат, возможный читатель, на которого рассчитана грамматика и для которого она предназначена, формально не обозначен, но автор определил его весьма свободно и широко: «Представленная в данной книге грамматика адресована всем изучающим русский язык, независимо от того, каков их родной язык и какими другими языками они

владеют» (с. 13). При этом имеются в виду, хотя прямо и не сказано, изучающие русский язык как неродной, прежде всего — иностранцы (с. 284). Если это надо как-то конкретизировать, то следует в первую очередь назвать иностранных учащихся на продвинутых этапах изучения ими русского языка. Впрочем, автором это предусмотрено: «Единственное условие использования этой грамматики изучающими русский язык — это способность понимать текст этой книги» (с. 13). Но адресата книги можно определить все-таки более конкретно: это иностранные студенты-филологи и журналисты, учащиеся в условиях краткосрочных форм обучения, стажеры и, конечно, преподаватели русского языка как неродного, русские и нерусские. Книга будет очень полезной и для русских, изучающих или преподающих свой родной язык. В этом случае она приобретет и теоретический статус: система явлений, их соотношение и типология. В целом — широкий и разнообразный круг читателей может «постоянно заглядывать в грамматику, часто решая многоходовые задачи», практические или теоретические (с. 16—17).

Автор дает такой совет своим возможным читателям: «Практическая грамматика, как и словарь, предполагает не сплошное чтение, но обращение к соответствующим разделам в связи с возникающими конкретными вопросами» (с. 17). «...читатель, имея в виду как те цели, которые он ставит перед собой, изучая русский язык, так и уровень своих знаний, может обращаться к одним разделам книги и игнорировать другие» (с. 17). Соглашаясь в общем с этими рекомендациями автора, можно посоветовать, чтобы каждый читатель ознакомился с грамматикой по возможности полностью, путем сплошного чтения: это будет залогом более успешной работы с ней как справочным пособием. Можно не следовать совету автора и относительно первой части книги: «Если читатель знаком с основными грамматическими понятиями русского языка, он может полностью опустить часть I» (с. 16),—

так как, на наш взгляд, чтение первой части будет полезным для всех категорий основных читателей — учащихся и учащихся.

Поскольку грамматика «краткая», то в ней сказано не все о грамматике и письме русского языка, но сказано достаточно много и весьма своеобразно.

Примечательной и сильной стороной, а также и особенностью данной грамматики является то, что в ней описывается и характеризуется с определенной (грамматической) стороны русский язык, и только язык. Это резко и выгодно отличает эту грамматику от многочисленных имеющихся учебных пособий по русскому языку как иностранному, переполненных разного рода отвлекающими от языка замечаниями, деталями, подробностями по страноведению, по сферам общения, по речевым ситуациям и т. д. В условиях преподавания русского языка как неродного это, конечно, необходимо и полезно, но не в ущерб собственно языку. Грамматика И. Г. Милославского напоминает преподавателям и учащимся, что дело идет об изучении именно русского языка, показывает, как сложно устроен языковой механизм, как многообразны отношения его частей, сколь причудливы переходы от формы к значению и от значения к форме.

Теперь некоторые замечания и пожелания.

1. В книге пять частей, — это как-то разрушает ее единство и дезориентирует читателя, так как по идее должно быть лишь две части — активный и пассивный аспекты функциональной грамматики; все остальное может быть распределено по этим двум частям, особенно то, что сказано о письме. При этом, правда, будут «смешаны» собственно грамматика и письмо. Чтобы избежать такого смешения, можно было бы дать другое членение книги: 1) грамматика, 2) письмо — с активным и пассивным аспектами в каждой части. Есть, наконец, и еще одна возможность выдержать единство и последовательность: выделить письмо в своеобразное приложение, опять-таки с четким обозначением двух аспектов — активного и пассивного. То, что сказано в первой части, лучше отнести к Введению. Все это способствовало бы, на наш взгляд, созданию более четкого представления об активном и пассивном направлениях функциональной грамматики.

2. Предложенные в книге названия двух основных ее частей: «Грамматика „от формы к значению“» и «Грамматика „от значения к форме“» — в общем хорошо выражают суть пассивной и активной грамматики, но выражают ее не полностью, не полностью соответствуют и фактическому содержанию этих частей: в них описывается не только движение

«от формы к значению» и «от значения к форме», но также и движение «от формы к форме», при сохранении общего, активного или пассивного, характера самого движения. А именно: «Образование словарной формы слова» от какой-либо косвенной, текстовой формы (с. 110—136). Пассивный аспект: от текста к словарю); «Образование всех грамматических форм от словарной формы» (с. 155—197). Активный аспект: от словаря к тексту). Строго говоря, принятые названия частей: «от формы к значению» и «от значения к форме» — соответствуют только некоторым разделам этих частей: 1) Определение грамматической характеристики слов — а) по абсолютному концу слова (с. 44—87), б) по наличию других слов в предложении (с. 87—98), в) по концу основ (с. 98—109); 2) Как охарактеризовать предмет или лицо, действие или состояние... (с. 197—205), Как обозначить... (с. 205—252), Какими формальными правилами следует руководствоваться, строя предложение? (с. 253—258), Как задать вопрос? (258—259). А между тем активный и пассивный аспекты являются сквозными для данных частей. Это и следовало бы отразить в их названиях. Можно было бы воспользоваться и формулировками автора: «грамматика для читающего (слушающего)» и «грамматика для пишущего (говорящего)» (с. 14).

3. Практическое направление и краткость изложения в целом выдерживаются, но можно пожелать автору полностью освободиться от остаточных элементов метаязыка или даже простой фразеологии исследователя: рецептивный, феномен и т. п.

Надо искать пути и способы более экономного изложения, снижения громоздкости ряда таблиц: таблица на с. 127—131 имеет 23 строки и 4 колонки; таблица на с. 186—190 — более 50 строк и 5 колонок, при этом показатель *-сту/ /-сть* повторяется 8 раз. Более экономно (и более наглядно) это можно представить примерно так (имеется в виду переход от инфинитива к личным формам настоящего времени):

-с- ми ть	→	-с-у:	нес-ти	—	нес-у
	→	-т-у:	плет-ти	—	плет-у
	→		учес-ть	—	учт-у
	→	-ст-у:	рас-ти	—	раст-у
	→	-д-у:	вес-ти	—	вед-у
	→		прас-ть	—	пряд-у
→	-б-у:	грес-ти	—	греб-у	
→		-н-у:	кляс-ть	—	клян-у

В заключение можно отметить, что автор проделал огромную работу, непостоянную, казалось бы, для одного человека. Хочется думать, что результаты ее будут максимально использованы.

Моисеев А. И.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 10 по 14 ноября 1988 г. в Звенигороде (Московская область) проведена Методическая школа-семинар «Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов для Машинного фонда русского языка», организованная Научным советом по лексикологии и лексикографии АН СССР (председатель совета — чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов) и Комиссией по фразеологии и фразеографии этого совета (председатель — В. Н. Телия). В работе школы-семинара приняло участие около 80 специалистов различных профилей — фразеологи, лексикологи и лексикографы, лингвисты, занимающиеся искусственным интеллектом и созданием Машинных фондов языков. В числе участников были представители крупнейших научных центров страны — Института языкознания АН СССР, Института русского языка АН СССР, Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, Сибирского отделения АН СССР, республиканских АН, высших учебных заведений.

В последние десятилетия проблематика фразеологии развивалась в основном в рамках отраслевой — вузовской науки: по инициативе вузов проводились конференции по проблемам русской и общей фразеологии, издавались монографические труды и сборники. Это обусловило внимание к классификационно-методическому аспекту разработки фразеологии как особой лингвистической дисциплины, исследование которой входит в программу высших учебных заведений филологического профиля. Вместе с этим наметилось отставание фразеологии от современного уровня разработки содержательных сторон языка, что сказывается и на фразеологической практике (особенно в области фразеологических словарей русского языка), и это стало особенно заметно при разработке фразеологического «подфонда» Машинного фонда русского языка.

Обращение к ЭВМ ставит определенные задачи перед фразеографами, в частности — задачи, связанные с полной

описания закономерностей употребления фразеологизмов. Решение этих задач, в свою очередь, обогащает фундаментальные основания фразеологии и ее теоретический аппарат. Именно поэтому разработка фразеологического материала для словарей различных типов, и прежде всего — составляемых или хранимых с использованием компьютеров, нуждается во всестороннем обсуждении существующих свойств фразеологизмов как в плане их анализа, так и последующего синтеза (что важно для словарей активного типа).

Фразеологизмы, как известно, — одно из наиболее ярких по экспрессивности, стилистической значимости и богатых по культурно-национальной «окраске» языковых средств выражения всевозможного рода прагматических интенций. Осложненная семантика фразеологизмов, синтезирующая в себе в готовом к речевой реализации виде «пучок» когнитивных состояний потенциального говорящего, нуждается в фундаментальном исследовании с учетом всех тех сведений, которые накопила современная лингвистика в последние десятилетия, переходя от структурно-семантического описания языковых единиц к моделированию закономерностей их употребления в текстах различной природы. Именно этот современный уровень разработки объекта, отраженный в специально подготовленной к школе-семинару коллективной монографии «Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для Машинного фонда русского языка» (М., 1988), выпущенной в качестве материалов Рабочей группы по компьютерной фразеографии, созданной при Машинном фонде русского языка Института русского языка АН СССР (научный руководитель — В. Н. Телия), и стал основной темой обсуждения на школе-семинаре.

Первые попытки обработки фразеологизмов при помощи ЭВМ показали, что обращение к компьютерной технологии описания фразеологического материала ставит перед фразеологией (помимо проблем программного обеспечения) новые теоретические задачи, ранее даже не обсуждавшиеся, такие, как параметриче-

ское представление всех без исключения признаков фразеологизмов (по предварительным данным Рабочей группы, каждому фразеологизму может быть приписано порядка 100—120 параметров), распределение фразеологизмов по коммуникативно-функциональным типам (как основание их классификации), возможность «безостановочного» разбиения фразеологизмов от коммуникативно-функционального до поверхностно-синтаксического их представления (со всеми вариациями содержания и формы), разработка макрокомпонентной модели значения фразеологизмов, содержащей процедурно-грамматический, дескриптивный, оценочный, мотивационный, экспрессивный и стилистический модули, а также выявление новых «промежуточных» типов фразеологизмов, ранее вообще не выделяемых или же описанных фрагментарно, разработка оснований идеографического описания фразеологического состава языка и самих концептуальных оснований компьютерного фразеографирования с учетом человеческого фактора, что позволяет выявить закономерности предпочтительного выбора фразеологизмов в том или ином типе речевых актов, в определенном жанре текстов и т. п.

В процессе обсуждения всех этих проблем в центре внимания оставались и такие базовые для фразеологии проблемы, как знаковая природа фразеологизмов различных типов и ее «первичные» механизмы, прагматическая нагруженность значения фразеологизмов, проблема разграничения фразеологизмов-синонимов и вариантов, их отличие от парадигматических форм, выявление самих форм парадигматических отношений в фразеологизмах и др.

Особое внимание участников школы-семинара было обращено на архитектуру создания фразеологического подфонда Машинного фонда и на содержание самих фразеографических параметров, составляющих реляционную базу этого подфонда. При этом такие традиционные для фразеологии проблемы, как объем и границы фразеологии, рассматривались уже с позиций разграничения «пакетов» информации, что позволяет более конструктивно проводить разграничение типов фразеологических единиц, хотя было бы преждевременным утверждать, что данная проблема уже решена: требуется разработка «пакетов», содержащих информацию, несомную паремиями, штампами, клише и крылатыми выражениями. Наибольший разброс мнений обнаружился по поводу того, где более целесообразно хранить информацию об устойчивых сочетаниях слов фразеологического типа («фразеологических сочетаниях», по В. В. Виноградову) — в ге-

неральном словнике при соответствующем номинативном опорном слове или в фразеологическом подфонде.

Участники школы-семинара указывали на необходимость дальнейших исследований в области семантики фразеологизмов, особенно — таких ее звеньев, как внутренняя форма, ее национально-культурное своеобразие и роль в функционировании фразеологизмов, а также в области установления соотношения между типом семантической структуры фразеологизма и типом дефиниции, отмечалась необходимость создания специального иллюстративного фонда, обеспечивающего адекватное выделение и описание фразеографических параметров и возможности их речевой вариации.

В процессе работы школы-семинара перед слушателями выступили с лекциями члены Научного совета по лексикологии и лексикографии АН СССР — ведущие специалисты в области семантики, поэтики, лексикографии (Ю. Д. Апресян, В. П. Григорьев, П. Н. Денисов, В. В. Морковкин), наметившие целый ряд актуальных для компьютерной фразеографии проблем.

Главный итог работы Методической школы-семинара был отражен в резолюции, принятой ее участниками, в которой одобрена как сама идея создания Машинного фонда фразеологии, так и основные положения концепции, разработанной Рабочей группой по созданию этого фонда, было высказано также желание подключить к разработке Машинного фонда творческие коллективы и других городов страны, а с целью координации этой работы по созданию фразеологического подфонда Машинного фонда русского языка и языков народов СССР регулярно (каждые 2—3 года) проводить Методические школы-семинары по указанной проблеме в рамках Научного совета по лексикологии и лексикографии АН СССР, что будет способствовать повышению общего теоретического уровня развития фразеологии в нашей стране.

Закрывая школу-семинар, Ю. Н. Караулов отметил атмосферу творческой активности и заинтересованности уже известных фразеологов и молодых специалистов в этой области (чему способствовала и сама форма ее проведения — обсуждение проблематики за «круглым столом»), конструктивность большинства высказанных замечаний и предложений, плодотворность работы школы-семинара не только с точки зрения ее практических результатов, связанных с созданием Машинного фонда фразеологического состава, но и с точки зрения развития теории фразеологии.

Борисова Е. Г., Телия В. Н. (Москва)



Академик Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

В ночь на 28 февраля с. г. на 74-м году жизни скончался замечательный ученый, член Редакционного совета нашего журнала академик Академии наук СССР Борис Александрович Серебренников.

Выпускник Московского университета и его аспирант, Борис Александрович уже в молодые годы твердо определил свое научное кредо: только от фактов к теории, никогда не наоборот. Борис Александрович обладал чутьем к факту, если так можно сказать, «вкусом к факту», он жил в мире языковых фактов, как другие живут в мире вещей. Он знал огромное количество самых разных языков, мог без подготовки произнести речь на английском, немецком, французском, финском, турецком и т. д. В ночь его смерти на его рабочем столе лежали газеты и книги на литовском, афганском, новогреческом, бирманском языках. Его очки остались на литовской газете «Тiesa» на статье о перестройке в Литве.

По университетскому образованию «классик» и индоевропеист, ученик проф. М. Н. Петерсона, Борис Александрович создал серию работ по латинскому и древнегреческому языкам; его кандидатская диссертация посвящена одной из труднейших тем в этой области — семантике древнегреческого артикля, а после падения «нового учения о языке академика Н. Я. Марра» (чему Борис Александрович безбоязненно содействовал) он одним из первых стал возрождать сравнительно-историческое языковедение, издав, совместно с И. М. Тронским, в переводе «Историческую морфологию латинского языка» А. Эрну (1950).

Но свой исследовательский талант Борис Александрович отдал преимущественно двум языковым семьям — финно-угорской и тюркской. Возможно, что и здесь на его выбор повлияла его основная исследовательская установка — стремление непосредственно знать факты: обе языковые семьи обильно представлены на территории СССР, и Борис Александрович практически овладел почти всеми языками этих семей (в отношении финно-угорских — вплоть до диалектов).

Финно-угорские (уральские) языки все распространены на территории Советского Союза (за исключением венгерского, финского и саамского — только на этой территории), тем не менее по издавна сложившейся традиции ими занимались больше венгерские и финские ученые, чем языковеды России. Борис Александрович Серебренников осознал свою задачу не только как лингвистическую, но и как культурно-историческую. Как указывает проф. К. Е. Майтинская (в статье, посвященной юбилею Б. А. Серебренникова, ИАН СЛЯ, 1985, т. 44, № 2), нет такого аспекта финно-угорского языкознания, которым Борис Александрович не занимался бы: историческая фонетика, морфология, лексикология и этимология. Но главной сферой научных интересов

Бориса Александровича стала здесь историческая морфология, а главным ареалом — мордовский, марийский и пермские языки. В результате этих исследований возникли книги Б. А. Серебренникова: «Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжских групп» (1960), «Историческая морфология пермских языков» (1963), «Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках» (1964) — книга, играющая столь важную роль в настоящее время в разработке теории падежей, «Историческая морфология мордовских языков» (1967). В последние годы Б. А. Серебренников занимался проблемой общности финно-волжских языков. Все эти труды носили новаторский характер: по поднятым в них вопросам обобщающих работ до книг Б. А. Серебренникова не существовало, а многие темы вообще были подняты им впервые.

Для разработки многих из поставленных проблем Б. А. Серебренников стремился сплотить научные коллективы, в частности в руководимом им в течение ряда лет секторе финно-угорских языков Институте языковедения АН СССР. Итогом коллективной работы стала книга «Историко-типологические исследования по финно-угорским языкам» (1978). Б. А. Серебренников положил начало серийным изданиям по разным финно-угорским ареалам.

В области тюркологии Б. А. Серебренников занимался тремя главными для него темами: чувашским языком в его историческом и ареальном аспектах; описательной и исторической грамматикой тюркских языков; сравнительно-исторической фонетикой тюркских языков. По каждой из этих тем Борис Александрович выдвинул немало оригинальных положений, оказавших заметное влияние на развитие тюркологии.

Как отмечал И. В. Кормушин в юбилейной статье (ИАН СЛЯ, 1985, т. 44, № 2), интерес к чувашскому языку (еще в 1953 г.) был вызван первоначально желанием Б. А. Серебренникова уяснить взаимоотношения этого языка с марийским, роль марийского субстрата в чувашском, а в дальнейшем исследование переросло в создание знаменитой гипотезы о волжско-камском языковом союзе.

В области тюркской грамматики Б. А. Серебренников уделил главное внимание таким ключевым проблемам, как категория вида, категория залога, происхождение морфологических показателей. На дискуссии в Алма-Ате (1956) Борис Александрович провозгласил новаторское положение — принципиальное отличие тюркской категории вида от русского глагольного вида — положение, весьма важное для теории глагольного вида вообще. Ряд положений был закреплен Б. А. Серебренниковым в обобщающих работах (таких, как «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» совместно с Н. З. Гаджиевой, 1979; «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Синтаксис» совместно с Н. З. Гаджиевой, 1986 г.).

В последние годы Б. А. Серебренников обратился к фундаментальной проблеме — родства тюркских языков с другими языковыми семьями. Здесь исследователь, как обычно для него, предельно четко и полемически заостренно сформулировал следующее положение: в родственных языках материально родственные слова не могут находиться на одном уровне сохранности; поскольку же в тюркско-монгольских лексических параллелях сохранность гомогенна, это является свидетельством того, что тюркские слова были всего лишь заимствованы монгольскими языками (по мнению Б. А. Серебренникова, не более 2000 лет назад).

Быть может, ни в одной другой сфере кредо Б. А. Серебренникова «от фактов к теории, никогда не наоборот» не проявилось так последовательно, как в его общетеоретических работах. В области теории языка не было ни одной современной гипотезы или общетеоретического подхода, которые не остались бы непоколебленными, и иногда очень значительно, под натиском фактических аргументов Бориса Александровича, настроенного по отношению к слишком общим теориям всегда очень критически. Можно сказать, что Б. А. Серебренников был замечательным мастером «теоретической критики». Главным объектом его разящей критики был искаженный под пером некоторых языковедов и философов марксизм, «лжемарксизм» 1930—1970-х гг. «Может ли быть „марксистская теория суффиксов?“» — часто, смеясь, говаривал Борис Александрович. Но положение дел столь же часто приобретало далеко не смешной характер.

В дискуссии по языковедению 1950 г. Борис Александрович как верный воспитанник Московского университета занял резко антимарровскую позицию. Ему угрожало увольнение из Университета.

Борис Александрович всегда отстаивал лишь свои собственные убеждения, не взвирая ни на какую конъюнктуру. Его критика, подчас очень резкая, никогда не была направлена на уничтожение человека — носителя идеи, всегда только против идеи, которую Борис Александрович считал ложной.

Дух борьбы Б. А. Серебренников сохранил до последних лет. В этом ключе написана его книга «О материалистическом подходе к явлениям языка» (1983). По-види-

тому, не случайно он выбрал для заголовка термин «материалистический подход». «Даже в работах лингвистов и философов, открыто заявляющих о своей принадлежности к марксизму и претендующих на марксистское изложение поставленных ими вопросов,— писал он в предисловии к этой книге,— можно встретить противоречия и несоответствия с реальной действительностью» (с. 3). Опять характерная, главная для Бориса Александровича мысль: соответствие не «тезисам», сколь бы общепринятыми они ни были или ни казались, а соответствие действительности; фактам,— вот критерий истинности.

Вместе с тем, при всей полемической окраске этой книги, Б. А. Серебренников поставил в ней серьезные вопросы, дал сводку, быть может, самую полную на сегодняшний день, так называемых философских проблем, составляющих комплекс «материалистического подхода к явлениям языка»: социальная природа языка; проблема языкового знака и значения; проблема типов мышления; проблема идиоэтнического и универсального в языке; проблема стадий в развитии языков мира; связь явлений языка с историей общества; особенности развития мышления и языковых структур; было ли мышление древнего человека диффузным?; категории — вещь, свойство и отношение и их проявления в языке; проблема праязыка; типические явления в языках мира.

Но, быть может, наивысших успехов Б. А. Серебренников как теоретик языка достиг в формулировании общих закономерностей развития языка на основе индуктивного обобщения колоссального количества установленных фактов. В этой области Б. А. Серебренников не имеет себе равных, его книга «Вероятностные обоснования в компаративистике» (1974), так же, как и введенное в ней понятие «языковая фреквенталия», противопоставленное «языковой универсалии», — приобрели европейскую известность.

Как и в области исследования финно-угорских языков, Б. А. Серебренников и в области общего языкознания выступал организатором науки. До последнего дня он руководил им же созданным сектором (позднее: лабораторией) теоретического языкознания в Институте языкознания АН СССР, и здесь под его руководством был создан капитальный трехтомный коллективный труд «Общее языкознание» (100 авт. л. 1970), изданный в переводах в ГДР (дважды), Венгрии, Болгарии. Значительная часть общетеоретических разделов, как всегда, написана здесь самим Б. А. Серебренниковым.

Вплоть до последнего дня Борис Александрович был увлечен новым коллективным трудом, созданным по его идее и под его руководством, — многотомным изданием «Роль человеческого фактора в языке» (вышли из печати: коллективная «Язык и картина мира», 1988; Б. А. Серебренников «Язык и мышление», — 1988).

Научная деятельность Б. А. Серебренникова создала ему огромный авторитет как среди ученых в нашей стране, так и за рубежом. Он был избран членом-корреспондентом Финно-угорского общества (Хельсинки), членом Академии Наук Финляндии и Венгрии, членом Урало-Алтайского общества, состоял постоянным членом Международного оргкомитета финно-угроведов, заместителем председателя Советского комитета финно-угроведов, членом редколлегии журнала «Études finno-ougriennes».

Б. А. Серебренникову было присвоено звание заслуженного деятеля науки Чувашской АССР и Марийской АССР, он был награжден орденами и медалями Советского Союза.

Светлая память о Борисе Александровиче Серебренникове навсегда останется у всех его многочисленных коллег, друзей и учеников.

Редсовет, Редколлегия

Технический редактор *Н. Н. Беллева*

Сдано в набор 03.05.89	Подписано к печати 15.06.89	Формат бумаги 70×100 ^{1/4}		
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,3	Усл. кр.-отг. 79,8 тыс.	Уч.-изд. л. 16,4	Бум. л. 5,5
Тираж 5517 экз.	Зак. 2926	Цена 1 р. 60 к.		

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка.

Тел. 203-00-78

2-я типография-издательства «Наука», Москва, Г-99, Шубинский пер., 6